

Лицом к лицу



**Беседу с Никасом САФРОНОВЫМ
читайте на стр. 10**

ЮНОСТЬ · 2018 ИЮЛЬ



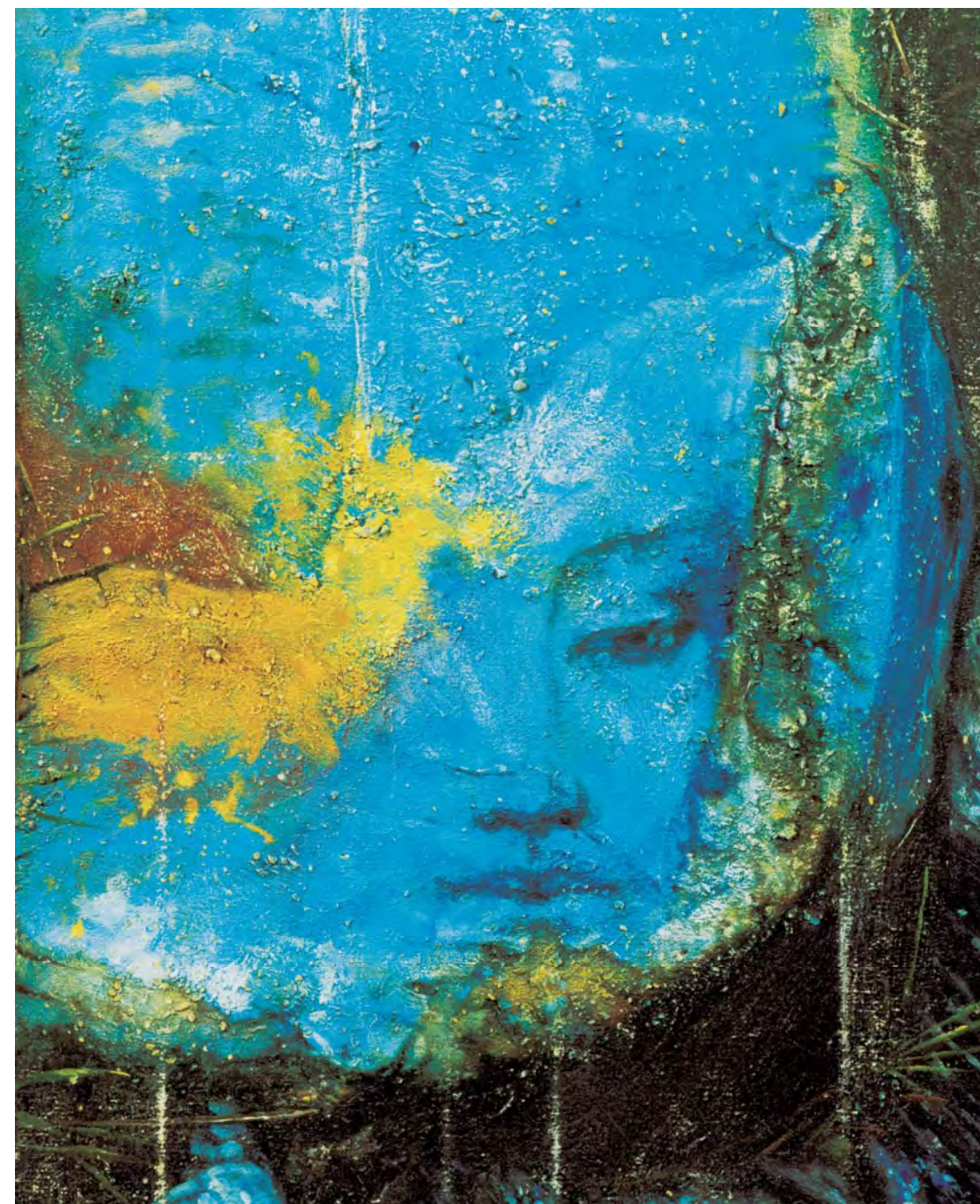
ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Выходит с июня 1955 г.



12+

№7 (750) 2018



На стендах «Юности»



На фоне радуги

Никас САФРОНОВ

На стендах «Юности»



Спокойствие в горах

Никас САФРОНОВ

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Выходит с июня 1955 г.

№ 7 (750) 2018

«ЮНОСТЬ» © С. Красаускас. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

Наша почта: **unost-contact@mail.ru**

Наш сайт: **<http://unost.org>**

Страница на «Фейсбуке»:

<https://www.facebook.com/unost>

На первой странице обложки работа
Никаса САФРОНОВА «Рождение»

Главный редактор
Валерий ДУДАРЕВ

Редакционный совет:

Ильдар АБУЗЯРОВ
Лев АННИНСКИЙ
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
Анна ГЕДЫМИН
Сергей ГЛОВЮК
Борис ЕВСЕЕВ
Тамара ЖИРМУНСКАЯ
Елена ИСАЕВА
Валерий КОЗЛОВ
Владимир КОСТРОВ
Нина КРАСНОВА
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Евгений ЛЕСИН
Георгий ПРЯХИН
Владимир РАДЧЕНКО
Ольга РЫЧКОВА
Елена САЗАНОВИЧ
Александр СОКОЛОВ
Борис ТАРАСОВ
Елена ТАХО-ГОДИ
Олег ТОЛКАЧЕВ
Игорь ШАЙТАНОВ
Андрей ШАЦКОВ

Редакционная коллегия:

заведующая отделом литератур народов России и СНГ
Марианна ДУДАРЕВА
заведующая отделом критики
Елена МАКСИМОВА
главный художник
Ольга МАЛЬЦЕВА
заведующая отделом культуры
Татьяна МАХОВА
заместитель главного редактора, заведующий отделами прозы и поэзии
Игорь МИХАЙЛОВ
заведующий отделом зарубежной литературы
Евгений НИКИТИН
заведующая отделом молодежи
Анастасия ПОПОВА
заместитель главного редактора, заведующий отделом публицистики
Евгений САФРОНОВ
заместитель главного редактора, ответственный секретарь
Светлана ШИПИЦИНА

В НОМЕРЕ:

Поэзия

Дана КУРСКАЯ 4

Проза

Владимир КРУПИН

РАССКАЗЫ Продолжение 15

Альберт ЛИХАНОВ

**ОГЛЯНИСЬ НА ПОВОРОТЕ, ИЛИ ХРОНИКА ЗАБЫТОГО
ВРЕМЕНИ** Роман в повестях. Продолжение 37

Макс СЫСОЕВ

РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ ВОСПОМИНАНИЙ
Повесть. Продолжение 64

Владимир КАЧАН

НА КОСТЫЛЯХ ЛЮБВИ
Рассказ 87

Страницы Льва Аннинского

ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА

ОБЖИГАЕТ... 13

Лицом к лицу

БЕСЕДЫ С НИКАСОМ САФРОНОВЫМ

**БЕСЕДА ПЕРВАЯ. НАШ ЖУРНАЛ, ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ,
СЛАВЯНСКИЙ ТИП ЖЕНЩИНЫ, МИКЕЛАНДЖЕЛО, ДОРЕ
И ТЕРНЕР...** 10

Национальные образы мира

ЧЕКАН ДУШИ

Флюр ГАЛИМОВ

ПОКАЯНИЕ НАД ПРОПАСТЬЮ Трилогия. Продолжение 76

Уноземный сюжет

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

Мик Стернер СЕНТ-ПОЛ

УЖАС МОРЕЙ Продолжение 105

Заведующий редакцией

Игорь РУТКОВСКИЙ

Отдел юмора

Генрих ПАЛОЯН

Редактор-корректор

Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление

Ольга МАЛЬЦЕВА

Фотокорреспондент

Антон ШИПИЦИН

Главный бухгалтер

Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа

Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей

Ирина УШАКОВА

Интернет-версия

Борис ДАНИЛОВ

Дежурные по редакции

Людмила ЛОГАЧЕВА

Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Администратор

Зинаида ПОТАПОВА

20-я комната (от пятнадцати и старше)

ШМЕЛЕВСКИЙ КОНКУРС 49

Дарья МАЛЕЙКОВИЧ **50**

Михаил СОРОКИН **53**

Мария СЕЛИНА **55**

Даниил ОВЧАРЕНКО **57**

Петр МИХАЙЛОВ **61**

Разнообразие слога

Алла МАРЧЕНКО

ПРОПУСТИМ МНИМЫЕ ПАРАДОКСЫ 32

ГЕРОЙ «ПОЭМЫ БЕЗ ГЕРОЯ» 32

Одним словом

Татьяна МЕДИЕВСКАЯ

ТАЙНА ПРИКОСНОВЕНИЯ 108

Творческий конкурс

Надежда ЛЕБЕДЕВА Псков — Санкт-Петербург **111**

Вита ЛИХТ Петропавловск-Камчатский — Франкфурт-на-Майне **112**

София АГАЧЕР США **117**

В конце концов

ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ

Владимир КЛЮЧНИКОВ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ТОГО СВЕТА Повесть. Продолжение 122

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Игорь УСАНОВ

РАССКАЗЫ 129

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Галка ГАЛКИНА

«НЕ СМЕЙТЕ ЗАБЫВАТЬ»... ПОЭТОВ! 132

ОКОЛОЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Проказник ГЕО

...НА ПУТИ К ВСЕМОГУЩЕМУ МАЛУМУ 134

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8.

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: +7 (499) 250-40-60

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Авторы несут ответственность

за достоверность представленных

материалов. Мнения автора

и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка

на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в ООО «Типография
«Миттель пресс»

Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс: +7 (495) 619-08-30,

+7 (495) 647-01-89

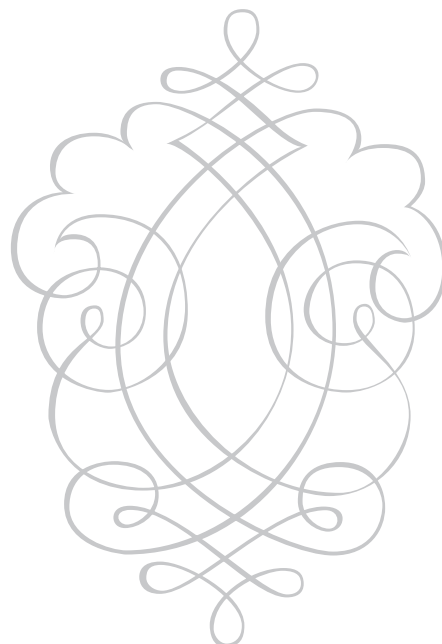
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3 500 экз. Формат: 60x84/8

Заказ №



Дана КУРСКАЯ



Дана Курская (девичья фамилия Галиева) родилась в 1986 году в Челябинске. Проживает в Москве с 2005 года. Автор книги стихов «Ничего личного» (2016). Член Союза Писателей Москвы. Организатор Российского ежегодного фестиваля современной поэзии MyFest. Основатель и главный редактор издательства «Стеклограф». Лауреат Всероссийской поэтической премии «Лицей» (второе место). Победитель международной поэтической телепрограммы «Вечерние стихи» (2014), победитель поэтической премии «Живая вода» (2015), лонг-лист международной премии «Белла» (2015, 2017), лонг-лист поэтической премии «Дебют» (2015), шорт-лист Григорьевской премии (2016), шорт-лист премии «Писатели XXI века» (2017). Публикации в журналах «Знамя», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Волга», «Юность», «Дети Ра», «Москва», «Кольцо А», «Бизнес и культура», «Автограф», а также в газетах «Литературная газета», «Литературная Россия» и т. д. Публикации на интернет-порталах «45-я параллель», «Полутона», «Сетевая словесность», «Этажи», «Интерлит» и т. д.

Про бабу

Баба давится вечером углеводами.
Что ли платье, думает, мне подшить.
И крадется дальними огородами.
Баба идет грешить.

А наутро шатко обратно тащится,
Зацелована, выпита и страшна.
И сжигает порванное платье,
И стенает: «Боже! Грешна!»

Этот визг долетает до дальний пристани,
Где стоят моряцкие кабаки.
Где под водку втирают простые истины
И не плавают за буйки.

Там дрожит стопарик в руке сигнальщика,
в огород приходившего на постой.
Он глотает, закусывает одуванчиком.
Называет бабу святой.

Праздник

маяк рассвета виден в окно с кровати
вдоль горизонта тянутся гаражи
когда ты держал тело мое в объятьях
оно на секунду стало почти живым

пока мы спали, город сходил за водкой
стоят у дома, веткой не шелохнут
но ты меня обнимал до утра и вот как
так получилось, что я задержалась тут

мое дыхание в губы твои дрожало
твое дыхание в губы мои дрожит
меня убили в мае за гаражами
цвела сирень и очень хотелось жить

* * *

Наташе

Ходила возле дачного участка
спасала заблудившихся лягушек
взрослела хуже, становилась лучше
пила на трубах спирт за чье-то счастье

сдала экзамен, получила двойку
сдала экзамен, получив «отлично»
впитала новый говор как привычный
хребет истерся под любые койки

холодной выходила из горнила
блестящей не спаслась из револьвера
отчаянно живое хоронила
и хоронила мертвое не веря

ее вплетали в страшные легенды
примкнула к банде блудных рэкетиров
чужих мужей снимала как квартиры
и вовремя платила за аренду

под парусом ходила за портвейном
придумывала верные поверья
сдавала план борьбы еженедельно
летала в космос, возвратясь с похмельем

открыла десять тайн и пять издательств
но вдруг застыла словно часовая
«я существую видишь я живая
каких еще ты просишь доказательств»

Пифия

у церкви мальчик белобрысый
стоит — смешной и босоногий
из города уходят крысы
и это повод для тревоги

из темноты звучит не шум, но
оркестра отходного ноты
пока трамвай плывет бесшумно
слегка звеня на поворотах

по кладбищу гуляют пары
и кормят с рук морскую птицу
весна спустилась на бульвары
как паутина на гробницы

многоэтажек окна-соты
каркасы гнезд, растущих прочно
и голос твой «Родная, что ты?» —
тревожно спрашивает ночью

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Я помню — мы лежали на полу
икона скрылась в сумрачном углу
и не было ни Рая и ни Ада
и я твердила: «Бабушка, не надо,
постой, не умирай!»
И это был — январь.

Я помню — он ни слова не сказал
все бросил и уехал на вокзал
и я кричала как кричит солома
на крыше догорающего дома
как тонущий корабль
И это был — сентябрь.

Я помню — ты гуляла на Тверском
в чужом пальто невнятно щегольском
и не было ни боли, ни утраты
и город лил свой свет зеленоватый

на голову твою
И это был — июнь.

Я помню — все смотрели в облака
и я была любима и легка
и женщина с мужчиной обнимались
и я им из коляски улыбалась
как в небе акварель
И это был — апрель.

Девять

Даниле Давыдову

А когда мы с тобой все-таки ссоримся,
Я как-то сразу понимаю,
Что девять лет разницы —
Это огромная пропасть.
И она в одну секунду разверзается
Прямо у меня под ногами,
И в нее летит все,
Что было нам дорого
И не очень уж дорого,
Но было,
Было нашим.
«У нас совсем разные интересы!» —
Кричу я в унисон с ширящейся бездной.
«У нас разнонаправленные векторы!» —
Ору я в такт шатающейся под ногами почве.
«Когда мне было пять,
Тебе было уже четырнадцать!
Ты уже читал под партой “Эммануэль”!
Ты уже смотрел “Девять с половиной недель”!
Ты уже покупал кроссовки у фарцовщиков!»
В воронку бездны летят злые,
Неумолимые мои слова.
Вот уже в жерло пропасти мчится
Главный мой аргумент:
«Ты ведь даже не помнишь,
кто пел песню “Люси”
В девяносто первом!
Потому что тебе
уже было четырнадцать,
И у тебя наблюдались совсем,
Совсем
Другие интересы!»
Потом ты хватаешь мои плечи
Своими пальцами,
Которые девять лет
Смели жить
Без меня.
И говоришь голосом,

Звучавшим в этом мире
 Все те долгие девять лет,
 Пока это глупое пространство
 Позволило себе существовать
 Без меня.
 Ты говоришь: «Прости.
 Прости, что я
 Мог дышать девять лет.
 Девять лет мог ходить
 Без тебя».
 Бездна издает удивленный чавкающий звук
 И мгновенно схлопывается.
 ...А потом, когда мы лежим, обнявшись,
 И моя голова — на твоей груди,
 В тишине произносишь:
 «Газманов».
 И еще, помолчав:
 «Родион».
 И тогда засыпаю спокойно.

* * *

Когда ты, будучи пьян,
 Кричишь на меня,
 Что никому не нужен,
 Что все над тобою смеются,
 И что-то там про боль, —
 Так вот, если в этот момент
 Подвести меня к зеркалу,
 То можно заметить,
 Что мои глаза
 Удивительно похожи
 На глаза плюшевых зверей,
 Оставленных на могилах.
 Эти звери призваны
 Поддерживать и ободрять
 Детей
 На пути к миру смерти.
 Но ведь они никого никогда
 Не просили об этом.
 Не выбирали
 Такой судьбы.

* * *

Льву Колбачеву

На речном стекле теплый матовый просвет я
 Растопила своими губами, весенним ртом
 Белой раной в полночь светится полынья
 Но она затянется утренним льдом-бинтом

Ты старался в легких хранить теплый пар пока
Эту зимнюю воду телом не осознал
Но уже застывает в жилах Москва-река
Но уже проступает льдом Обводной канал

Накрывает крошечным снегом волна волну
Обрастают хрустальным илом речные сны
Я стою и всматриваюсь в глубину
Ты стоишь и смотришь из глубины.

* * *

Антону Веселовскому

Сколько воды слышно
вам еще
нам еще
всяк ее пивший
на кладбище
кладбище

Дождь не кончается
падает
падает
мы убеждаемся
ада нет
ада нет

Не унывай
твоя чаша наполнится
будет нам рай
будет звонница
звонница

верь мне я старица
с космами рыжими
что с нами станется
выживем
выживем



БЕСЕДЫ С НИКАСОМ САФРОНОВЫМ



Никас САФРОНОВ

Nota bene

Никас Сафронов родился в 1956 году в Ульяновске в небогатой семье отставного военного. Учась в общеобразовательной школе, самостоятельно увлекся рисованием, но о том, чтобы делать изобразительное искусство делом своей жизни, в то время не задумывался и по окончании школы поступил в Одесское мореходное училище. Но вскоре оставил учебу, отслужил срочную службу в ракетных войсках и переехал на родину матери в литовский Паневежис, где работал театральным оформителем, а позже — в Вильнюс, где начал обучение и карьеру живописца.

ОТ РЕДАКЦИИ

Интервью с художником Никасом Сафроновым вышло за рамки простого интервью. Никас Степанович оказался очень общительным, разговор получился дружеским и большим по объему. Беседа вышла умная и целостная.

Не хочется резать по живому, решили мы. С умным собеседником расставаться не хочется, и

мы надеемся, что наша дружба с замечательным художником, добрым и общительным человеком — надолго. Навсегда!

Не так давно в «Юности» завершился литературный конкурс «Добро побеждает зло». И наши беседы начались с разговора о добре и зле.

БЕСЕДА ПЕРВАЯ. НАШ ЖУРНАЛ, ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ, СЛАВЯНСКИЙ ТИП ЖЕНЩИНЫ, МИКЕЛАНДЖЕЛО, ДОРЕ И ТЕРНЕР...

«Юность»: Вы, наверное, слишком добрый человек, а надо быть злым.

Никас Сафронов: Доброта — это признак культуры, истинной христианской морали и мудрости. И это качество в первую очередь заложено моими родителями, которые были духовными, глубоко добродетельными и верующими людьми. Я помню, как мама, работающая медсестрой в детской больнице, вечно помогала всем детям, с которыми она сталкивалась по работе, кормила и давала одежду, ведь многие из них не имели

родителей вообще. В детстве мне даже было немного обидно, что одежду, купленную нам, мама могла отдать другим мальчишкам. Но с возрастом я понял, что это и есть христианская и человеческая добродетель, которая проявлялась в тех бескорыстных родительских поступках. Такое отношение к людям и стало сутью и моей жизни, моей философией.

«Юность»: Никас, с Вашей бесконечно творческой выразительностью Вас должны рвать на куски все книжные издательства. Вы делаете книжные иллюстрации?



Никас Сафронов с Татьяной Васильевой и Валентином Гафтом

Никас Сафронов: Ну, я не могу сказать, что прямо все-все гоняются, но справедливости ради скажу, что мои друзья, особенно писатели, или те, кто пишет свои мемуары, конечно, обращаются ко мне за оформлением своих книг. Что я с удовольствием и делаю. Таких оформленных мною изданий, по моему беглому подсчету, уже более восьмидесяти. Помимо этого, я и сам написал три книги воспоминаний, которые, конечно, сам и оформил. Многие фирмы и разные компании также используют мои работы, например, для подарочных альбомов или новогодних календарей. Как-то в 1991 году я познакомился с Валентином Гафтом и подарил ему при встрече альбом с моими картинами. И он, изучая его в течение года или полутора лет, написал на мои работы около сотни стихов. Позже, где-то в 1994 году, у нас вышел совместный сборник, который тут же, за два-три месяца, разлетелся как горячие пирожки. Прошли годы, и сегодня у нас снова возникла идея создать новый совместный альбом, к которому я подготовился уже более основательно. Я уверен, что он заинтересует и порадует всех поклонников как Валентина Иосифовича, так и моих. А еще совсем скоро выйдет в свет

детская азбука с моими иллюстрациями и коллажированными с моих картин буквами.

На данный момент фабрика «Невская палитра» готовит серию книжек-раскрасок по моим картинам. Она будет служить арт-терапией для всех, кто путешествует, и вообще многих любителей искусства. У меня есть знакомая писательница — Ирада Вовненко, которая постоянно использует для оформления своих книг мои картины. Дизайнеры одежды также часто используют мои картины для создания своих коллекций. Это и компания «ДушеГрей» — автор Наталия Новикова, это и Светлана Лялина со своей коллекцией вечерних платьев, это и молодой, но талантливый дизайнер Геннадий Горбачев, готовящий проект использования моих картин на кожаных изделиях. Выпускается постельное белье, чемоданы, эксклюзивные дорожные сумки, зонты. Императорский Ломоносовский фарфоровый завод выпускает широкую линейку посуды и декоративных предметов по мотивам моего творчества, кондитерская фабрика «Красный Октябрь» готовит к выпуску серию конфет, где на упаковке использованы мои работы, и т. д. и т. п. Так что диапазон использования моего творчества широк и многогранен.

«Юность»: Многие любимые нами писатели вышли из «Юности»...

Никас Сафронов: Ваш журнал ассоциируется с моим детством и моей юностью. Он всегда был интересен в тексте и привлекателен в оформлении обложек. А ваша эмблема — графика «Девушка»: лицо, созданное из веток литовским художником Стасисом Красаускасом, с которым я дружил долгие годы, живя в Литве. Сам образ девушки является настолько стильным, что невольно возникает ассоциация с «Голубкой» Пикассо, ставшей когда-то эмблемой Всемирного фестиваля молодежи 1957 года. Все мое поколение зачитывалось вашим журналом, постоянно открывая для себя новых поэтов и писателей. Это был глоток весеннего воздуха в 70–80-е годы для моего дерзкого, ищущего читающего поколения.

«Юность»: А Вам какой типаж женщины нравится?

Никас Сафронов: Определенно, мне нравится библейский тип лица. Хотя, по большому счету, мне нравится любой типаж, независимо от национальности: будь то корейки, испанки, француженки... Главное, чтобы они были духовно богатые люди. И конечно, мне очень нравится славянский тип, где есть большое смешение кровей.

«Юность»: Вопрос по поводу детского конкурса «Добро побеждает зло». В жизни на самом деле добро побеждает зло?

Никас Сафронов: Это, безусловно, аксиома. Добро всегда должно побеждать зло, иначе человечество не существовало бы. Любой ребенок рождается с чистым, открытым миру сердцем. И зачастую среда, воспитание могут изменить его не всегда в лучшую сторону. Но мы верим в лучшее, и это помогает нам жить.

«Юность»: А Вы часто злитесь?

Никас Сафронов: Я не исключение. Как творческий человек, я бываю импульсивным и не всегда сдержанным. О чем потом сожалею. Но я всегда стараюсь выбирать милосердие и прощение. В конечном счете, любящая религия учит нас быть милосердными.

«Юность»: А бывает злой талант?

Никас Сафронов: Сколько угодно примеров. Возьмем хотя бы Никколо Паганини. Говорят, он был желчным, но когда начинал играть, слушатели забывали обо всех его пороках, видя в нем только гениального музыканта. Такое же мнение есть и о Моцарте. И совсем яркий тому пример — это Наполеон, абсолютно злой гений.

«Юность»: Никас Степанович, возвращаясь к литературе. Вы сказали, что готовите новую совместную книгу с Гафтом. А еще кого из писателей Вы хотели бы проиллюстрировать?

Никас Сафронов: У меня есть давняя мечта проиллюстрировать моих любимых писателей: Николая Гоголя, Ги де Мопассана, Михаила Булгакова. Но вершина любого художника, как у актера, мечтающего сыграть Короля Лира или Гамлета, у меня тоже есть — оформить Библию. Уже похожее предложение я получил: проиллюстрировать Библию для детей.

«Юность»: Какие художники повлияли на Вас?

Никас Сафронов: На этот вопрос нельзя ответить однозначно.

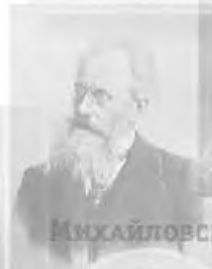
На мое творчество повлияло много великих художников. Одним из первых был Микеланджело. Чуть позже, когда я учился в школе в средних и старших классах, для меня был кумиром гениальный художник и иллюстратор Густав Доре, сыгравший немаловажную роль в моей жизни, так как именно работы в стиле Доре помогли мне поступить в Ростовское художественное училище имени Грекова.

Важное влияние на меня оказало творчество немецких художников Альбрехта Дюрера и Маттиаса Грюневальда и великих голландцев Мемлинга и Брейгеля Старшего. Из испанских художников — Эль Греко и Веласкес. Итальянцы, конечно, тоже не прошли бесследно в моем восприятии: такие как Гварди и Веронезе. Из французов я выделил для себя Коро. И один из самых моих любимых на сегодняшний день художников, конечно, — великий Уильям Тернер, который лил масляные краски как акварель, создавая при этом необыкновенно фантастические пейзажи.

Продолжение следует.



Страницы Льва Аннинского





ОБЖИГАЕТ...

Кажется, что спектаклю этому столько же лет, сколько театру «Сфера». Еще с заветных времен Еланской! Да это и не удивительно: пьеса старого канадца Бернарда Слейда идет по всему миру, обрастая версиями и премиями. И из «Сферы» не исчезала.

Хотя — и исчезала, и возобновлялась — новыми временами исполнителями. Сейчас ее Владимир Аносов поставил как трагифарс в переводе Леонида Трушкина совместно с театром жанровых миниатюр «Листья». Называется зрелище «Почему спешат часы».

И куда спешат?

Действующих лиц четверо. Два Клоуна (сам Аносов и Алексей Голубев) среднепреклонных лет взирают на зал с чувством веселой солидарности. И еще двое героев: влюбленные. У каждого есть еще и своя семейная га-

вань, так что разрываются души между законными чувствами и незаконными страстями. Кавалер — Джордж в исполнении Дмитрия Новикова — крепкий парень, отлично различающий истинную любовь и сексуальную страсть. Что себе позволит — никого не касается. Сам и ответит. Ничего неожиданного. Крепкие нервы, крепкая душа.

Неожиданное приходит со стороны Дорис. В исполнении Елены Еловой эта дама — непредсказуема. И неотразима. Может послать кавалера куда подальше, крикнуть ему: «Заткнись!», а потом кинуться ему в объятия. Совершенно искренне. Может объявить ему (и всем), что собирается рожать, а от кого — не знает. Вот такая степень свободы современной души!

Согревает?

Да. А скорее, обжигает.





Владимир КРУПИН

Продолжение. Начало в № 4, 5, 6 за 2018 год

РАССКАЗЫ

Рисунок Марины Медведевой

«ОЛРАЙТ», — СКАЗАЛ ЕМЕЛЯ

Чем сильнее иностранец изучает Россию, тем сильнее влюбляется в нее. В России есть магнитная притягательность женственности, вековая мудрость, добрый юмор и спокойное терпение. Особенно любят Россию те, кто занимается русским языком, — филологи и переводчики. Мне везло на переводчиков, хотя даже лучшие из них часто ставили меня в тупик своими вопросами.

— А что такое голик? А что такое рига? Разве это не столица Латвии? И почему коса для травы — литовка? И почему у вас написано: ограда до Петрограда ветру рада?

Я терпеливо объяснял:

— Ну, значит, нет никакой ограды. Бедность. Или мужик такой ленивый или пьяница, что даже ограду не может сделать.

Но вообще мы всегда как-то выкарабкивались, находя похожие слова или выражения. Но, конечно, я понимал, что читатели за рубежом так никогда и не поймут, что подберезовик — это обабок, и что есть еще обабок, бабка — суслон, а что суслон — это снопы, составленные особым образом, а снопы — это связанные связлом колосья, а связла — это те же колосья, скрученные для крепости жгутом. Конечно, видимо, и слово «голик» они понимали как бывший веник. Так оно и было, бывший веник, потерявший листья на службе в избе и выселенный на крыльцо для несения героической службы по обметанию валенок от снега. И что еще до работы в избе веник работал в бане, выбивал из хозяев разнообразные хвори. Где уж там было объяснять, что последний ребенок в семье — заскребышек, что это вовсе не от того, что ближе к весне приходится

«по амбарам помести, по сусекам поскрести». И почему в амбаре метут, а в сусеке скребут? И как объяснить, что подполье — это не только большевистское, но и место для хранения картошки?

Это нам, русским, сразу все понятно, до иностранцев все доходит медленнее, а чаще всего не доходит, и они ищут облегченную замену для понимания.

— Вот у вас такая фраза, — спрашивала меня немка-переводчик. — «Этот Витя из всех Витей Витя».

— Ну да, из всех Витей Витя.

— Это у нас не поймут. Надо как-то иначе.

— Ну-у, — вслух думал я. — Давайте: этот Витя еще тот Витя. Да, пожалуй, так даже лучше: еще тот Витя.

— Это тем более не поймут. Подумают, что этот Витя похож на того Витю. То есть их два: этот и тот.

— Вот то-то и оно-то, — говорил я, — что он не тот, хотя он еще тот. Он еще тот Витя.

Мы начинали искать общеупотребительное слово, синоним выражения, перебирали слова: шаромыжник, прохиндей, мошенник... Нет, Витя под эти мерки не подходил, это был еще тот Витя, переводу не поддавался и уходил за границу сильно упрощенным.

— Вот я назову повесть, — сказал я переводчице, — и тебе снова не сумеешь ее перевести. Вот переведи: «Как только, так сразу».

Переводчица тяжело вздохнула, а я ее доколачивал:

— И в эту повесть включу фразу: «Шлялась баба по базару распяным-пьяна-пьянехонька», как переведешь? Да никак. Ни по какому базару у вас не шляются, да и базара нет. И она, заметь, не ходит, не слоняется, не шлендает, она именно шляется. И хотя распяным-пья-

на-пьянехонька, но какую-то цель обязательно имеет. Иначе зачем бы шлялась.

— Может быть, — вспомнила переводчица выражение, — она погоду пинает?

— Это для нее пройденный этап. Вчера пинала, сегодня шляется. Да, товарищи немцы, были мы для вас непонятны, такими и остаемся. Но в утешение тебе скажу, что для англичан мы еще более непонятны. Вот сидит у меня дочь, учит английский, обратный перевод русской сказки с английского. Сказка называется «Приказ щуки».

— У вас есть такая сказка? — заинтересовалась переводчица. — Я очень много занималась фольклором, такой не помню.

— Это сказка «По щучьему веленью».

— О да, есть.

— Вот. У них же, на английском, веленья, видимо, нет. Так вот, читает, переводит: «Жены братьев говорят Емеле: “Организуй доставку воды с реки, иначе наши мужья, твои братья, не зайдут в городе в супермаркет, не привезут тебе презента”. Каково? Нет у них, оказывается, ни гостинчика, ни ярмарки. «Олрайт», — сказал Емеля и пошел организовывать доставку воды.

— Трудно, — вздохнула переводчица. — Я бы ближе перевела, но на гостинчике бы запнулась. Хотя гостинец у нас есть. Подарок.

— Нет, тут именно гостинчик.

Переводчица задала интересный вопрос:

— А вот Витя, о котором мы говорили, он мог бы в свое время быть Емелей?

— Вряд ли, — протянул я, — вряд ли. Емеля бесхитростней, он — как Ванюшка. Кстати, слово «Ванюшка» тоже для вас непереводимо, у вас только Иван да Ваня. А как же Ванек, как же такая фраза: «Сашка-то, ухорез, ухарь, на ходу подметки рвет, а Петька ваньковатый»? Так вот Ванюшка из сказки «Конек-горбунок» у вас, наверное, в переводе: маленький конь с большим горбом, а?

— Я не помню, переводили ли ее у нас? — задумалась переводчица.

— Бесполезно и переводить. Так вот, этот Ванюшка говорит братьям, когда они его обманули: «Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее». И по выводу сказки именно честному Ване достается царство. Для меня в этом Ване одна загадка: когда он достает для царя царь-девицу, то он критически оценивает ее красоту: «А ножонка-то, ножонка, тьфу ты, словно у цыпленка, пусть понравится кому, я и даром не возьму». Вот. А когда превращается в добра молодца, не доброго, хотя добрый молодец, конечно, добрый, так вот когда превращается в добра молодца, то эту царь-девицу берет в жены. Ну, тут уж она его сама не отпустит,

вкогтилаась. Она же вкогтилаась. Сильнее глагол. А у вас спросят: разве у нее когти, а не ногти? Она ж с маникюром.

Переводчица засмеялась.

— Ну-у, — почесал я в затылке, — о женщинах только начни. У вас, наверное, только «фрау» да «вайб», женщина и баба?

— Вайбкляйн — маленькая баба, — добавила переводчица.

— Ростом маленькая, значением? Чем? О, у нас обилие этих баб. Можно сообщить?

— Записываю.

— Записать можно, перевести невозможно. Вот бабенка — это веселая, разбитная. К ней где-то близко бабешка — шальная, может быть, не очень усердная на хозяйство, но на веселье всегда пожалуйста. Бабища — это не обязательно габариты, не полнота, не вес, это, может быть, характер. Не путать с бабехой — это дама бесцеремонная, громогласная. Вот бабочка — это не мадам Баттерфляй, это может быть и аккуратная бабочка, может быть и заводная.

— Заведенная?

— Нет, заводная. Или вот на мужском жаргоне, когда обсуждают достоинства женщин, говорят про иную: «Отличный бабец!» Или: «Бабенция без комплексов». Или ласково: «Веселый бабенчик». Не бубенчик под дугой, а бабенчик. Но почему в мужском роде, не знаю. Может быть, это юношеское про общую подругу: «Наташка — свой парень». Но бабенчик, опять же, не бабеночка, бабеночка постарше. Да, вот, кстати, для улыбки, литературный анекдот. Исаак Бабель написал «Конармию». К командующему Первой Конной Буденному приходят и спрашивают: «Семен Михайлович, вам нравится Бабель?» Он отвечает: «Смотря какая бабель».

Но серьезно хочу сказать, что богатство русского языка — это не так просто, это богатство мышления. Чем у человека больше слов, тем он глубже и разнообразнее мыслит. Так что сочетание «русский ум» — это не пустые слова.

Вот оттого, что переводы русских трудны, Запад переводит не русских писателей, а русскоязычных. Наш пен-клуб, например. Конечно, зная русский, ты понимаешь, что в просторечии он не пен, а пень-клуб.

Всегда мы были богаты, сорили богатством. Вася на Васе, семь в запасе, то есть полно всего, а я вот схватился за полное собрание русских загадок, читаю, а из них три четверти умерли. Не слова умерли, выражения — явления умерли, предметы, только словесная оболочка, идея предметов. Двор, поле, упряжь, сельскохозяйственные, лес, вообще образ жизни, — все изменилось. Страшное нашествие уголовных терминов: вер-

тухай, запретка, пали малину, шлангуешь, замастырить, стибрить, слямзить, свистнуть, стянуть, скоммуниздить... А связанное с пьянством: косорыловка, табуретовка, сучок, бормотуха, гнилуха, стенолаз, вмазать, втереть, жажнуть, остограмиться... неохота перечислять, срам. А еще срамнее всякие консенсусы, саммиты, ваучеры... все это, конечно, проваливается в преисподнюю, но возникают всякие менеджменты. А менеджер, кстати, по-русски это приказчик — прекрасное слово.

И еще нашествие идет, главное нашествие — на язык церкви, церковнославянский. Очень простой, доступный, божественный язык. Называется богослужебный. И на него атаки — заменить на современный. Это же прямая измена всей русской истории: на этом языке молились наши предки. Как менять? Вот это и будет пропасть, в которую нас влекут. Просто ближе к престолу Небесному.

Переводчица, вздохнув, закрывала исписанный блокнот. Утешая ее, я сказал на прощание:

— А в чем разница между молодушкой и молодяшкой? Этот вопрос труден уже и для русских. Молодушка — это недавно вышедшая замуж, а молодяшка — это молодая кобылка. Уже не стригунок, но и не кобылка, еще не жеребилась. А зеленая кобылка — это вообще кузнечик. И это не маленький кузнец, не подручный в кузнице, а насекомое такое, на него хорошо голавль берет.

— Спасибо, — с чувством благодарила замученная мною переводчица.

Я же, войдя во вкус, отвечал:

— Спасибо не булькает. Спасибом не укроешься. Спасибо в карман не положишь. От спасибо не откусишь. Спасибо — много, хватит и рубля. Из спасибо бушу не сошьешь. Спасибом сыт не будешь. Так что — гран мерси.

ЯПОНСКИЙ ЛИФТЕР

В далекой Японии, на берегу озера Бива, нас поселили в старинную, трехэтажную, гостиницу. Вся в зелени, с выгнутой по краям изумрудной и очень блестящей после дождя крышей, она смотрелась в озеро витражами стекол и была очень уютна. Еще, вдобавок, она была знаменита: в ней, будучи еще наследником русского престола, останавливался император Николай II.

По стриженным лужайкам бродили кричащие павлины, вздымая разноцветные фонтаны своих хвостов, меж павлинов перешлепывали свои жирные тела белые и черные кролики, а на берегу совершенно неподвижно сидели терпеливые рыбаки, на дело которых я ходил смотреть ранним утром и уже с ними здоровался.

Возвращался к завтраку, восходил по коврам на резное крыльцо, дверь передо мной кем-то невидимым открывалась, и я входил под звяканье колокольчика на ковры вестибюля. Огромные аквариумы вдоль стен, свисающая с потолка не искусственная зелень, разноцветные бумажные фонарики — все это было очень красиво. А еще в вестибюле был лифт, в который меня каждый раз вежливо и приветливо приглашал мальчик-лифтер. Но я жил всего на втором этаже, и было как-то странно — ехать так близко.

Лифт всегда стоял открытым, и проехаться в нем очень хотелось. Очень он нарядно был разубран. Освещался гирляндами огоньков, зеркала во все стены были расписаны такими цветами, что человек, отражаясь в них, чувствовал себя в райском саду. Тем более в лифте были еще и клетки с разноцветными птичками. Лифт, думал я, сохранился как реликвия, в нем возили всяких важных мандаринов или, вот, нашего цесаревича. Но

вообще, я видел, что лифтом иногда пользовались, и отнюдь не мандарины.

И я решился. Вернувшись после долгой, счастливой утренней прогулки по берегу озера, умывшись его чистой водой и побывав свидетелем поимки двух рыб, я энергично вошел в вестибюль и поздоровался с мальчиком-лифтером. Он звал меня внутрь лифта. И я вошел. И оказался в дивном маленьком шатре. Лифтер приветливо и вопросительно смотрел на меня. Мне по-прежнему казалось, что глупо ехать на второй этаж, и я показал три пальца: на третий. Двери закрылись, как дуновение ветра, птички зачирикали, мы все враз поехали. Поехали так мягко, неслышно, так нежно, даже как-то трепетно, что это был не подъем, а какое-то вознесение на бережных ладонях.

Ну вот — третий этаж. Двери растворились. Растворились в самом прямом смысле, так они воздушно исчезли, и я шагнул на узорные ковры третьего этажа. И что? И конечно, пошел к лестнице на свой второй этаж. Но тут случилось вот что: мальчик-лифтер догнал меня и, схватив за рукав, показал на открытый лифт. Мол, зачем ты пошел пешком, если можно ехать. Ну как ему было объяснить, что я живу на втором этаже? Я вернулся в лифт. Снова запели птички, снова я отразился в зеркалах среди райских цветов. И опять же, не ехать же всего на один этаж, я показал один палец: на первый.

Приехали на первый. И я, естественно, пошел на свой, второй. И опять меня догнал мальчик-лифтер и опять звал в лифт. И опять привез меня на третий этаж. Я вышел, отошел немного и притворился, что

рассматриваю старинную гравюру — битву самураев с кем-то. Скосил глаза — лифт стоял. А время меня подпирало, надо было завтракать и идти на конференцию. Я повернул к лестнице. Лифтер выскочил из лифта и кланялся. Тут уж пришлось показать ему два пальца, выдать этаж, на котором живу.

Он, конечно, решил, что русский бородатый дядя не может считать до трех, ибо зачем же я ехал на третий этаж, если мой номер на втором? Я понял, что мальчика очень насмешило мое поведение. Да ведь и я смеялся над собой. И в последующие дни мы с ним весело раскланивались, и я уже смело ехал с ним до второго, отражаясь в искрящихся разноцветными огоньками зеркалах.

Я попросил профессора Накамото, который превосходно знал русский язык, сказать мальчику-лифтеру, что русский дядя очень неграмотный, он даже не может считать до трех. Профессор, выслушав мой рассказ о поездках на лифте, очень смеялся. И конечно, ради шутки, перевел мою просьбу. Я это понял, когда увидел, что мальчик, завидя меня, даже стащил с головы свою круглую шапочку и прыснул в нее, скрывая улыбку.

А однажды я увидел его, когда он меня не видел. Он сидел как маленький старичок в своем разноцветном

укрытии и был очень печален. Да и то сказать, легко ли — он работал по, самое малое, четырнадцать часов в день, я и не видел, чтоб его подменяли.

Перед отъездом я подарил ему русскую матрешку. Ах, как он обрадовался! Он побежал в лифт, в свой домик, и показал мне, что матрешка будет стоять между клетками двух птичек. И что в его клетке будет теперь повеселее.

А когда мы совсем уезжали и вынесли вещи в вестибюль, он подбежал ко мне и подарил сделанную из легких перышек игрушку-птичку. Подошел автобус. Мальчик вырвал у меня из рук нагруженную книгами и альбомами сумку и потащил к автобусу. Когда я протянул ему деньги, он прямо отпрыгнул от них. Накамото-сан сказал, что он нес сумку не из-за чаевых, а от чувства дружбы. Автобус тронулся. Мальчик-лифтер стоял на крыльце и кланялся, приложив руку к сердцу. Таким я его и запомнил.

Я улетел из Японии и стал жить дальше. И часто вздохну и вспомню озеро Бива, гостиницу, лифт, этого мальчишку и то, что моя матрешка ездит с ним вверх и вниз. Может, и он иногда вспоминает бородатого русского дядю, который не умеет считать до трех.

ЭТИ НЕПОНЯТНЫЕ РУССКИЕ

До меня дозвонился японский профессор-русист и попросил помочь в двух вопросах. Во-первых, помочь навестить одного русского писателя, который был за городом на излечении, а во-вторых, поговорить на одну, как он выразился, совсем не японскую тему. Но и не русскую.

Я этот санаторий, где был писатель, знал и согласился съездить туда с радостью: и с писателем повидаюсь, и за городом побываю, много ли мы на воздухе бываем.

— Давайте прямо с утра пораньше, — сказал я. — Доедем часа за три, много за четыре.

Профессор задал два вопроса:

— Прямо с утра пораньше — это когда? А много за четыре — это как?

— Ну, как выйдет, — отвечал я, — может, и в два с половиной получится. А с утра пораньше надо, с утра электрички лучше ходят.

— Как лучше ходят?

— Ну, особо не капризничают. А после десяти их лихорадит.

Профессор, видимо, решил, что наши электрички одушевленные существа: то они капризничают, то их лихорадит.

— Хорошо, — подвел я итог первой договоренности, — мы вчерне договорились, а конкретно я вам еще позвоню.

Ехать надо было с Белорусского вокзала. До него я никак не смог дозвониться, а в общей справочной давали сведения только на дальние рейсы. Тогда я решил попросить профессора приехать к семи часам, а самому приехать пораньше, разведать. Мы договорились встретиться у памятника Горькому — место заметное.

— С такси не связывайтесь, плюньте, — сказал я, — у вас прямая линия, без пересадок, «Театральная» — «Белорусская», а памятник среди площади, не растеряемся.

— Не растеряемся, будем находчивыми, так? — спросил профессор.

Утром, примчавшись на вокзал, я увидел в расписании, что есть электричка до Можайска (а нам надо было до Кубинки), электричка хорошая, мало остановок, но она уходила около семи. И если мы только в семь увидимся, то придется полчаса ждать, ехать на бородинской почти со всеми остановками. Зная, что японцы — народ аккуратный, что профессор непременно будет ехать с запасом времени, я купил билеты и помчался к метро «Белорусская радиальная».

Измученный профессор увидел меня, сходя с эскалатора.

— Мы сейчас, — спросил он, — пойдем встречаться к памятнику Горькому? Ведь это из-за него Чехов вышел из академии?

— Да, из-за него. Но он давно вышел, а электричка сейчас уходит. И потом, если мы уже встретились, зачем нам Горький? — отвечал я и, так как объяснять было некогда, тащил профессора на пятую платформу. Именно пятая значилась на табло.

Но когда мы прибежали на пятую, то по радио объявили, что электричка до Можайска прибывает на четвертую. Опять же не объясняя, я повлек профессора обратно в тоннель. Профессор, видимо, решил, что я плохо знаю Белорусский вокзал.

В электричке, отдышавшись, мы стали разговаривать на ту тему, что в России большое пространство.

— Сколько земли, — восклицал профессор, когда между станциями мелькали два-три перелеска.

По проходу шла торговка пирожками, и профессор, несмотря на мой ужас, купил у нее штучку и стал откусывать по мелкому кусочку. Меня же угостил чем-то сушеным, рыбным, в плоском пакете.

— Но все-таки спрошу, — сказал он. Видно, он думал над этим. — Если объявили, что поезд уходит с одной платформы, то почему он пришел на другую?

— А это стрелочник виноват, — ответил я, — стрелки перевел с похмелья, вот и все.

— Как с похмелья? — изумился профессор. — Стрелочнику же совершенно нельзя пить, это же очень серьезная профессия, это же связано с жизнью людей.

— Честно скажу: пьют, — отвечал я. — Это очень большой наш недостаток: пьют стрелочники, они, они у нас во всем виноваты.

Профессор доел пирожок, я доел сушеные волокна, кстати, очень вкусные, и мы стали говорить о Чехове. Профессор находил сходство между Чеховым и писателем, к которому мы ехали.

— А как вы думаете, — спросил профессор, — Чехов был антисемитом?

— Я до таких тонкостей в Чехове не доходил, но думаю, что не был.

— Да, но рассказ «Тина»... — заговорил профессор.

Это и был тот неяпонский вопрос, о котором просил поговорить с ним профессор.

— В Японии нет евреев, — объяснил профессор, — поэтому мы решили, что именно японцы разберутся в еврейской проблеме. Я этим стал заниматься, но у меня вопрос: почему нигде в мире ни Чехова, ни Пушкина, ни Гоголя, ни Лескова, ни Гончарова — никого из русских мировых классиков не называют антисемитами, но я прочел их всех внимательно и видел у

них многое по еврейскому вопросу. Даже у такого, как Тургенев.

— У него-то где? — спросил я, стыдясь того, что плохо знаю свою классику. А вот японец знает. О, эти японцы все знают.

— А у него в «Записках охотника» помещик Каратаев хвалит свою собаку, говорит, что даешь собаке кусок хлеба из левой руки и говоришь: жид ел, то собака не ест, а говоришь, что барышня кушала, и даешь из правой руки, то собака возьмет.

— Так, а в чем тогда вопрос?

— Так вот, классиков не называют антисемитами, а я прочел всего Шукшина, Белова, Распутина, у них нет антисемитских высказываний, а их называют антисемитами. Почему?

— Спросите тех, кто называет. Для меня это тоже загадка. Да это еще что, у нас давно ли эти писатели в фашистах ходили, у нас даже слово «патриоты» оплевывалось.

— Это нас возмущало, — сказал профессор. — Японии после войны поднял только патриотизм. Всякое государство можно сохранить и укрепить только патриотизмом.

— Вот спасибо. Вот еще бы это демократам внушить.

— А наши демократы, — сказал профессор, — очень большие патриоты. А у вас патриоты — русские, а демократы — евреи. Может, от этого противоречия.

— Противоречие в вашем суждении. Как же евреи не патриоты, а евреи Израиля? Если б они не были патриотами, разве б туда стремились?

— Тогда вопрос прямой, можно?

— Только так и можно, — отвечал я.

— Есть ли в России антисемитизм?

— Тут я вам плохой помощник, — искренне отвечал я. — Я первого еврея в двадцать лет в армии увидел. Илюха Файбрун — хороший парень. Мы вместе газету выпускали. Я сочинял, он переписывал. Правда, вот на учениях, например, я в противогазе бегу, а он на штабной машине. Но ведь опять же — сочинять-то текст боевого листка можно и на бегу, а ему планшетка нужна, бумага, перо. Почерк у него был хороший. Так что я сам виноват, мог бы и почерк выработать, в писаря бы пошел. Или в институте у нас был еврей, Семен. Тоже парень отличный. А я грузчиком работал на ткацкой фабрике. Он расспросил про заработки, тем более и жил он недалеко, попросил устроить на работу. В грузчики какая проблема, я устроил. Только уже к вечеру первого дня я тюки с пряжей таскаю, а Сенька их считает. Зарплата у него даже и повыше — учетчик. Но мне интереснее было грузить, чем с карандашом сидеть.

— А серьезнее? — прижимал меня профессор. — Есть антисемитизм?

— Видимо, после революции был, — отвечал я. — Иначе зачем бы появился закон об антисемитизме. Слово «жид» нельзя было произнести...

— Но ведь жид и еврей не совсем одно и то же, я изучал этимологию.

— Да мы слово «жид» не чем иным, как обозначением жадности, и не считали. В детстве, если кто жадный, ему говорили: а, жидишь!

— Да, да, — подхватил профессор. — И у Гоголя, когда Чичиков передал Плюшкину деньги, то тот «сразу ожидал». —

— Ну вот тем более, Плюшкин же не еврей, — обрадовался я поддержке Гоголя. — Или у нас была считалка: «Жид, жид, жид, по веревочке бежит, веревка оборвется, жид перевернется». Какой тут антисемитизм? Хотя потом, когда я был в Москве, рассказывали про анекдот тридцатых годов о том, как стоит мужчина на остановке, его спрашивают: ты что делаешь? Он хотел было ответить: трамвай поджидаю, да испугался и ответил не «поджидаю», а «подъевреиваю».

Профессор, посмотрев в книжечку, продолжал допрос:

— А не думаете ли вы, что антисемитизм имеет в основе антииудейство? У Пушкина в «Скупом рыцаре» рыцарь возмущен, что еврей-аптекарь предлагает рыцарю отравить скупого отца. Рыцарь его, еврея, прогоняет, говоря о деньгах, что они будут пахнуть «как сребреники прашура его». Он ведь имеет в виду Иуду и историю с тридцатью сребрениками? Так? Еще у Пушкина, когда пишет про гречанку: «Ко мне постучался презренный еврей». Есть же причина такого отношения.

— Мы почему-то и воробьев называли жидами. — Я, к сожалению, не был столь силен в еврейском вопросе, как японец. — Я больше сужу не по науке, а по жизни. Вот опять же анекдот: «Беги, Абрам, погром!» — «А я по паспорту русский». — «А бьют не по паспорту, а по морде». Но это, я думаю, еврейский анекдот.

— Почему?

— У нас, как началась эта свистопляска с ускорением и перестройкой, как пошел свальный грех демократии, так уж сколько про эти погромы кричали, даты называли — все вранье, в русских нет чувства мести. А евреи, что ж евреи, они как в псалмах Давидовых, как же им петь веселые песни в земле чужой. Они из глубины веков подпитываются чувством богоизбранности, превосходства, а мания величия обязательно вызывает манию преследования.

— Да, да, — поддакнул профессор. — Мы — буддисты — братья христианам, мы знаем, что богоизбранность одного народа кончилась на Голгофе, богоизбран тот, кто идет за Богом, а для него нет ни эллина, ни иудея.

Он погрузился в свою книжечку. Скоро доедем, думал я, глядя в мутное окно. Чем бы еще помочь профессору? Он сам все лучше меня знает. Но вот это надо сказать:

— Я вам рассказал анекдот про городской трамвай. Тут заметно, что человек боится, что за слово «жид», даже в корне слова «под-жид-аю», его могут замести, забрать, привлечь, в общем. А я в селе вырос, там, например, такие частушки пели всюю еще безо всякой гласности: «На бочонке я сижу, а в бочонке кожа. Сталин Троцкому сказал: «Ты жидовска рожа»».

— А почему в бочонке кожа? — спросил профессор.

— Для рифмы. Но тут Сталин и Троцкий по разную сторону баррикад, а вот частушка, опять же открыто пели, в ней они объединены: «Сидит Сталин на берегу, Троцкий выше, на ели. До чего, хриstopродавцы, вы Россию довели». Или народная частушка: «Ты Иван, и я Иван, голубые очи. Мы с тобой идем в забой, а евреи в Сочи». Одним словом, плохой я вам помощник. Вы меня лучше по русскому вопросу спрашивайте. А то кто послушает со стороны, и решит, что мы с вами антисемиты. А мы просто занимаемся научными изысканиями.

— Но разве в электричке есть подслушивающие устройства? — забеспокоился профессор.

— Да если бы и были, она так гремит. Не растрясло вас? Подъезжаем.

Профессор захлопнул книжечку.

Выходя, я вспомнил, что и в «Капитанской дочке» есть одно место, там Зурин, обучая Гринева, говорит: «...придешь в местечко, чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов». Но я не стал напоминать профессору, уже ясно, что и эта цитата есть у него. Да и что это добавляет?

Профессор уже в тамбуре спросил:

— Значит, бывает так, что закон говорит одно, а люди другое?

— Но, господин профессор, вы же занимаетесь Россией, как же иначе?

Профессор сверился с записной книжечкой, вздохнул:

— Даже у Толстого в «Анне Карениной»: «Дело было до жида, дожидался у жида».

— Язык такой русский, — оправдал я Толстого. — А знаете, на Украине Льва Толстого предлагали называть Левко Пузатый. Они против русификации.

Профессор стал торопливо записывать сообщенный мною факт. Но мы уже приехали в Кубинку. Боже мой, вечность назад я служил тут в ракетных войсках. Но, оставив воспоминания, стал расспрашивать, на каком автобусе ехать до санатория. Отвечали: на двадцать

восьмом. Вот и указатель: к двадцать восьмому. Мы пришли с профессором на привокзальную площадь и сели в двадцать восьмой. На всякий случай, и как будто кто меня подтолкнул, я спросил:

— Это двадцать восьмой?

— Нет, это сорок четвертый. А двадцать восьмой теперь ходит с другой стороны.

— Как же так? Написано же двадцать восьмой. И на указателе, и на остановке, и на автобусе.

— Все же знают, — хладнокровно отвечали нам.

— Хорошо еще, не успели заплатить, — сказал я профессору, когда мы снова поднялись на мост через железную дорогу.

На площади с другой стороны мы увидели битком набитый двадцать восьмой. Еле влезли. Тут уж я, конечно, спросил:

— Это двадцать восьмой?

На меня посмотрели как на дурака:

— Вы же сажались, видели, в какой садитесь.

— Но вот мы так же сели в двадцать восьмой на той стороне, а оказался сорок четвертый.

— Так зачем вы на ту сторону пошли?

— На указателе написано.

— Мало ли что на указателе.

У меня хватило ума спросить:

— Мы до санатория доедем?

— Нет, — отвечали нам, — до санатория в другую сторону.

— Как же так, — спросил я, — говорили же, что тут конечная.

— Ну да, в ту сторону конечная, а от санатория в эту не конечная. Да вон он стоит.

Мы снова вылезли и пошли к двадцать восьмому автобусу, но закрытому, без водителя и кондуктора, хотя рядом стояли люди.

Они сказали, что автобус сейчас поедет.

Профессор спросил:

— А что это значит, когда нам ответили: «Мало ли что на указателе»?

— Значит то, что не надо верить указателям.

— Почему?

Я пожал плечами. Профессор стал изучать расписание движения и соображать, глядя на свои японские часы, когда же мы отправимся.

— Бесполезно смотреть, — сказал ему пожилой мужчина. — Когда захотят, тогда и поедут.

— Но для чего расписание?

— Для модели.

— Для какой модели?

Мужчина тоже, как и я недавно, пожал плечами.

— Для какой модели? — спросил меня профессор, когда мы отошли. — Для модели движения?

— Скорее, для всяких комиссий. Придут, посмотрят — расписание есть, все в порядке.

— Комиссия движения? — стал уточнять профессор.

— Всякие бывают, — отвечал я.

Из того, переполненного, двадцать восьмого автобуса вышла кондукторша с сумкой. Автобус немедленно поехал. Видно, из-за нее и стоял. Кондукторша зашла в диспетчерскую, вышла из нее с другой женщиной, и они, открыв автобус, который мы ждали, вошли в него. Сели там завтракать. Хотя двери остались открытыми, нас туда не позвали, мы продолжали ждать. Подошли и водители, сразу трое. Они обсуждали вчерашние события: «А чего Колька сказал?» — «А Колька сказал: я с вами пить не буду». Это его точные слова. Так и сказал».

— А почему Колька не будет с ними пить? — спросил профессор.

— Разногласия какие-то.

— Но он же из их коллектива? Да? Значит, должен пить с ними.

Наша очередь росла и начала роптать. Но для водителей мы были как пустое место. Кондукторши окончили завтрак, вылезли, мы самочинно заняли сиденья. И стали ожидать отправления уже в сидячем виде. Кондукторша пошла было к нам, но тут ее кто-то окликнул, и она стала говорить о раскаде. Пожилой мужчина осмелился спросить, когда же мы тронемся.

— А будете орать, вообще не поеду, — отвечал водитель, который уже занял свое место.

— Разве мы орем? — спросил я.

— А все равно, — ответил водитель. — Меня из гаража без техосмотра выпустили, я могу вообще не ехать. Или остановлюсь среди дороги и буду стоять. Имею право.

— Неужели он так поступит? — спросил меня профессор.

— Довезет, — ответил я.

Пришла кондукторша, стала билечивать. Автобус завелся и тронулся. Кондукторша собирала плату, отрывая от катушки билетов на полцены, а то и вовсе не давала билетов. Тот, кто вовсе отказывался от билетов, тот платил полцены. Объяснить профессору такую сложную механику было невозможно. Он, бедный, уже и не спрашивал.

В санатории, у писателя, профессор пытался разобрататься в увиденном. Профессор искренне решил, что я тоже ничего не понимаю. Если написано на автобусе двадцать восьмой, то почему он сорок четвертый? Если объявлено отправление с пятой платформы, то почему отправляют не с пятой? И так далее. И было ли такое во времена Чехова? И если было, то почему нигде у Чехова не отражено?

— Если и было, так он этого просто не замечал. Вы ко мне ехали? Давайте чай пить.

Во время чая мы решили, что классики закрыли тему антисемитизма, но что это не нравится современным критикам-стрелочникам, вот они и заставляют русских писателей продолжать эту тему.

А что касается автобусов и электричек, то ничего не было подстроено, что все нормально и что если из-

учаешь Россию, то надо быть ко всему готовым, даже к постоянной смене платформ, номеров, расписаний, критики, законов.

Одно только у нас неизменно — Россия.

Профессор поблагодарил, но все-таки вычитал из своей книжечки самый важный вопрос:

— Русские уйдут из мировой истории?

— Только вместе с ней, — отвечали мы.

НЕ ВЕРЬ, НЕ ВЕРЬ ПОЭТУ, ДЕВА

Мне решительно неинтересны прозаики. Только поэты могут расцветить серую прозу жизни. Вот давайте проведем опыт: напоим для сравнения поэта и прозаика и выпустим их на трибуну. Прозаик будет возбужденно или пришибленно нести какую-то ахиною, а поэт блистательно рванет краткую речь, талантливо лягнет соперников, искрометно прочтет стихи, сорвет аплодисменты, улыбки и вздохи поклонниц.

Перед нами Александр. Известный поэт, но фамилии не скажу, ибо женат, ибо жена умеет читать. Прочтет, да еще бросит его на старости лет. Кстати, он ее, и только ее, любит. Но не может не влюбляться. И это естественно. Вспомним любой пример из мировой литературы. Да вот и наш современник — Расул Гамзатов: «Дорогая, — пишет он жене (это подстрочник), — ты лучше всех. Но как же я узнаю, что ты лучше всех?»

Итак, Александр в командировке. А в командировке, как сказал кто-то из мужчин, мы все холостые. Позади ночь в поезде, разговоры, махания руками. Утром цветы на перроне, хлеб-соль и красавицы в кокошниках... Вот и прием в администрации прошел, вот и, по программе, посещение краеведческого музея. Когда к бригаде писателей подходит красавица-экскурсовод, Александр влюбляется.

— Можно называть просто: Ляля, — говорит она, смущается и сообщает Александру, что поклонница его таланта.

В гостинице он возбужденно рассказывает соседу:

— Старик, ты б видел! Нервная, не понятая провинцией. Я думал, врет, что меня знает, нет, гениально вплела в текст экскурсии вот это, мое (читает), каково? Не могла же специально выучить.

— Могла, — хладнокровно говорит товарищ. — Знали же, что именно ты приедешь. Ой, старик, сколько же у тебя было этих Ляль.

— Было. Стрелай — было. Но Ляля! Ты что! Все под откос! Я уж думал, никогда не смогу завибрировать, а тут!

— На сегодня договорился?

— Естественно. Но чего это стоило! Краснеет. Где еще в мире остались краснеющие женщины? Только в провинции. Не могу. Договорился. Ух, жарко, не выпил, а в жар бросает. В глазах стоит — подошла, ведет экскурсию. Меня прямо трясет. Они ж чувствуют! Старик, мы — мужики, мы же бревна, мы же «здравствуй, дерево», а тут! М-м!

Как у него проходит встреча с Лялей, зная Александра, легко можно представить.

Он вооружен до зубов, то есть у него набор питья и еды. Конечно, шоколадный набор, конечно, кофе. И конечно, непрерывные атаки на эту Лялю. Поэт любит повторять из Фолкнера, «что человек все может, только нельзя останавливаться».

— Коньяк? Чуть-чуть. Тиши кропли, как гуторят поляки.

— Нет, нет, что вы!

— Тогда вина! Белый аист! Летит! Над Беловежской Пущей летит. Но из Молдавии. Тончайший букет. Брызги империи.

— Нет, нет, я не пью вина. — Ляля держит оборону.

— Тогда грузинского! Киндзмараули! Любимое, так сказать, товарища отца народов. А кто, дети, товарищ отца народов? Товарищ Сталин? Тогда кто отец народов?

— Не надо, даже не открывайте. Вы же, Александр (отчество), сказали: просто поговорим. Вот кофе. Я могу приготовить.

— Во-первых, если я Александр (отчество), то и вы Ляля Батковна. Во-вторых, про кофе рано и очень телевизионно. Такая светлая головка, как у вас, не может быть замутнена голубоватым пойлом телекоробки. И притом кофе — это разврат, это не по-русски. С кофе и с бритья бород началась гибель России. Вы хотите в ней участвовать?

— Уже поздно, — говорит Ляля, — я уже не успела, все погибло без меня.

— Отлично! — радуется поэт. — Отличный уровень разговора. Выходим на виражи. Ложимся на курс. Ло-



жимся на курс, Ляlecka? И вообще, какая дикость, что мы на «вы». Я такой старый?

— Нет, что вы!

— Не утешайте, старый. Если бы вы не считали старым, давно бы было: Сашенька, Саня, Санек! Тебе пора меня гонять, как сапожник гонял Ваньку Жукова. Ляля! Если я не старый, то будем на «ты», так?

— Я не могу так сразу.

— И я не могу сразу. Есть же ритуал, надо же бродершафт.

— Можно без него?

— А протокол? А этикет? А традиция? О, — как бы вспоминает поэт, — у меня ж «Советское шампанское», я же человек из той еще жизни, я же, назло всей демократии, пью только «Советское шампанское» — лучшее в мире. Уже охлаждено, уже несу. Выпьем, это сближает.

В ванной, где холодитсЯ бутылка, поэт осматривает себя в зеркало, корит за медленные темпы ухаживания и возвращается. Опытным взглядом видит, что Ляля поправила прическу.

— Открывать как: по-гусарски или как подпольщик?

— Я громко боюсь.

Поэт все-таки хлопает. Ляля вздрагивает.

— Испуг освежает, — комментирует поэт. — Ну вот, вошел — и пробка в потолок. Выпьем. Это сближает.

— Не наливайте, — сердито говорит Ляля, — я обижусь. Если вам от меня только одно надо, я сейчас же уйду.

— Мне от вас надо все, — заявляет поэт. — И это, и то, и третье, и десятое. Вы что, думаете, что сейчас я брошусь рвать на вас эту прекрасную одежду (Ляля в сиреновом)? Я увидел вас, тебя! Сердце отпало. На разрыв аорты, как сказал Пастернак, хоть я его и не люблю.

— Почему?

— Дачность, литература из литературы, раздутый политикой. Ты возьми Заболоцкого — космос! Тут начинанность. Ладно, не пей ничего. Но минеральную воду ты пьешь?

— Минеральную пью.

— Тогда выпьем минеральной. Это тоже сближает.

Назавтра поэт неотступно душит товарища рассказами о своей любви к Ляле.

— Как она шептала: «Я берегла себя для тебя». Старик, я безумец, я полюбил ее навсегда. Здесь! Такое тонкое понимание! Над ней еще немножко работы, и это русский Сократ в юбке по вопросам поэзии. Я из нее

вышибал дурь эмигрантскую, говорю: «Лялечка, Георгий Иванов — хорошо, немного Ходасевича — и хватит! Беглецов, — ей говорю, — не воспринимаю». — «Ах, как вы можете!» Это еще с вечера на «вы». «Дорогая, — говорю, — разлука обостряет чувства. Вот я уеду от тебя, и чувства запыхают с новой силой. О, это любовь, лишенная примеси выгод, тут удар солнечный, тут как из-за угла с ножом выскочили и зарезали». Она: «Ах, вы это из Олеси, ах!» Я тут режу: «Какой ужас эта начитанность. Тебе б детей, было б не до Алеши. Начитанность ведет к глупости. Всюду, на любую ситуацию, клише и штампы. Как у актеров. Они давно расстригли себя на лоскутки ролей». Но я, старик, шел дальше и дальше, нельзя останавливаться. «Рядом с тобой я исчезаю как поэт, зачем? Я хочу нравиться тебе только как мужчина. Я же не могу вслед за Евтушонкой кричать, кричать, что поэт в России больше, чем поэт. Сейчас он сочиняет, что поэт в Америке ничтожней, чем поэт». Она: «Ты это от зависти». Я: «К кому?» Она: «Ты с ним знаком?» Я: «Это он со мной знаком». И тут же: «Ляля! Я шел к тебе всю жизнь, а мы о профессии. Я тебе ни одной строки не прочту»...

— Все равно читал, — хладнокровно говорит товарищ.

— Просила! Потом, когда я, как политрук, позвал себя в атаку и бросился на нее, она защищается: «Ты приехал случайно, ты охмуряешь провинциальную дурочку». Я кричал: ничего случайного! Читай Канта, а лучше наших, Ильина! И только Ильина, даже Солоневичем не разбавляй. Все случайное обусловлено причинностью. Детерминизация казуальности! Вся жизнь моя была залоговой стоимостью, так-то вот и так-то, без такта, эх, старик! Она опять мне: «Пастернак, Пастернак!» Я ей: «Мандельштам на три этажа выше: рыбий жир ленинградских речных фонарей — это пережито». Ляля, Ляля! — Поэт садится в кресло, потягивается, зевает и сообщает: — Так-то она Альбина.

Пора отправляться в поездку по области. «Как я переживу», — говорит поэт, все названивая про Лялю-Альбину.

А в поездке, хоть стой, хоть падай, у поэта еще приключение. Теперь уже Лиля. Она, хохотушка под сорок, сопровождает от управления культуры бригаду писателей, помогает собирать зрителей, продавать книги. Вообще незаменима. С ней проблем у поэта нет. Ему лафа — не надо ничего покупать, заботиться о ночлеге, все готовое, надо только понравиться. Ну, это Александр умеет. Он каждый раз влюбляется искренне, вот чем он берет.

После первого вечера, выйдя в коридор, он обнаружил, что, оказывается, Лиля не слушала его выступление. Утешая его, оправдываясь, она ответила, что

ему больше всех хлопали. Разве это не растопит сердце пишущего мужчины? И Лиля ему понравилась. После вечера, как водится у добрых людей, — банкет. Лиля не чинилась. Когда поэт хлопнул пробкой, сел рядышком, она сразу приняла его ухаживания. Все хохотала, все повторяла:

— Шампанское после водки? Это ра-азврат. Водку заедать шоколадом? Это разврат-ат.

Одно огорчало — не дали поэту отдельный номер. Но соседом его был поэт из местных, который так много пил, так мертвецки спал, что его не могли разбудить даже собственные дикие крики во сне, так что ночи Александра и Лили были спокойны.

И о Лиле взахлеб рассказывал товарищу помолодевший поэт. Он сопоставлял Лялю и Лилю. Любил обеих.

— Лилька проще, та тоньше. Но с той пока навозишься, надо говорить, нести какую-то хреноту о поэзии, здесь все ясно. Земное и вместе с тем не только физическое. Понимаешь? Осязаемое, естественное, проще, но возбудимее. Там полутона, темная вуаль, руки под ней сжимает, читалась, дура, всего. Ах, не выдерживаю, хочу написать сопоставление, например, так...

— Не ври. Не например, а уже написал. Читай.

— Нет, старик, пока слабо, абрис, набросок, мычание, килька воображения... М-м... Рукой онемевшей не двину! На ней ты лежала всю ночь...

— Заросла веревка у колодца вьюнком, воды у соседа возьму.

— Время решит, время, кто мне дороже. Время. Люблю, старик, обеих.

Вскоре он прочно забыл и ту и другую. И когда через год товарищ спросил, звонит ли, пишет ли он Ляле и Лиле, поэт был в недоумении:

— Что это за Ляля и Лиля, что это: Штепсель и Тапапунька?

— Я не обязан лучше тебя помнить твои подвиги. Лиля, Ляля. Поездка в такую-то область.

— А! — хлопнул себя по лбу поэт. — Вот эти два стихотворения? Да, да, да! Хорошо бы, кстати, туда наведаться. Не забыли же! Но как? Сам не поедешь, дорого. Бюро пропаганды зачало, Союз писателей нищий, командировки не дает. Какой журнал попросить, газету? Так опять, очерк им давай. А я уж не мальчик жизнь узнавать. Да и кто теперь читает эти журналы и эти газеты? Ах, Ляля, Ляля, Лиля-Ляля. Смотри, старик, как смешно сошлось. Может, еще и объединю их. Спасибо, старик, я все вспомнил, все прожил заново.

Так что можно сказать только, что здесь рассказана история создания двух стихотворений.

ДВА СНАЙПЕРА

В поезде Москва — Одесса я ехал в Приднестровье, в Тирасполь. Со мною в купе, тоже до Тирасполя, ехал снайпер-доброволец, а мужчина с молодой девушкой ехали в Одессу.

Снайпер был немного выпивши, возбужден, выпоил мужчине, который назвался новым русским, девушке и себе бутылку с чем-то и ушел добавлять. Я залез на верхнюю полку и то дремал, то пытался чего-то читать. Мужчина внизу непрерывно и сердито шептался с девушкой. О чем, я и не прислушивался.

Девушка вдруг вскочила, оттолкнула мужчину, громко сказала: «На первой же остановке!» — и вышла из купе. Я зашевелился, обнаруживая свое желание спуститься.

Совершенно неожиданно мужчина, новый русский, стал говорить, что вот эту девушку он нанял, он даже сказал, что купил, ехать с ним в заграничный круиз.

— Греция, понимаете, Кипр, Израиль. А она — видели? — заявляет, что хочет обратно, мамы боится. Мамы! Мы так не договаривались.

— А как договаривались?

— Чтоб без проблем. Путевка, потом еще особая плата и — до свиданья. Мама! Лучше б я ее маму взял. Мне не трудно ее обратно отправить, женщину я и в Одессе куплю, но опасно. Почему? У меня дружок купил, а домой, жене, сразу привез. Это ж Одесса, там любую со СПИДом подхватишь, а справку принесет, что здоровая.

Девушка вернулась в купе, достала огромный специальный ящичек для косметики и принялась демонстративно наводить красоту на свое и без того хорошенькое личико. Мужчина опять стал ее уговаривать. Чтоб им не шептаться, я вышел в коридор. Сосед-снайпер всю дымил еще с одним мужчиной, который оказался... тоже снайпером. Это мне мой сосед объяснил. Они курили и говорили, что это не дело, когда девчонки идут в снайперы. Вон в Бендерах были «стрелочницы» из Прибалтики, это не их дело, это дело мужское. Видно было, мужчинам не терпелось пострелять.

Из нашего купе вышли мужчина с девушкой. Проходя мимо, новый русский мне, как посвященному в его дела, доложил торопливо и вполголоса: «В ресторан уговорил!»

Я вернулся в купе, завалился на полку и не просыпался до утра, до самой украинской таможни. В вагон вошли такие гарные хлопцы, такие дуже здоровые парубки, что если бы они не паспорта проверяли, а землю пахали, Украина завалила бы всех пшеницей. В Канаду бы продавала. Хлопцы были в форме, похожей на за-

порожскую, были все с усами, говорили подчеркнуто на украинском. Нам было предложено «гэть из купе», чтоб они обыскали и купе, и вещи. Мужчина успел радостно сообщить, что девушка обещала подумать, что он увеличил ей плату. «Мне ж это дешевле, но даже и не деньги, но чтоб с другой не вязаться, к этой все ж таки привык».

Таможенники «прикопались» только ко мне. Зачем я еду?

— Мне же интересно видеть самостийную, незалежню, незаможню Украину.

— Шутковать нэ трэба, — сказал мне усатый таможенник. — Вы письменник?

— Да, радяньский письменник. Царапаю на ридной русской мове.

— Нэ шутковать.

— Какие шутки. Можете записать, что я украинский письменник, пишуций на русском диалекте.

— На яком диалекте?

— На русском. Это следствие, рецидив, так сказать, имперского мышления.

Слово «имперское» могло погубить, но, на мое счастье, таможенника отозвал офицер.

Потом была молдавская таможня, потом приднестровская. Я уж решил лучше молчать. Снайпер тяжело приходил в себя. Он встряхивал головой, поводил мутными, плохо прицеливающимися глазами, наконец попросил меня выйти и посмотреть, есть ли в коридоре тот снайпер. Я посмотрел — никого. Тогда он соскочил с полки, сбегал умылся, сел напротив и сказал:

— Все очень серьезно. — Он закрыл купе изнутри. Соседи наши уже ушли в ресторан завтракать.

— Что серьезно?

— Того снайпера видел вчера?

— Ну.

— Он не к нам едет. Он к румынам едет, понял? К молдаванам. Он с той стороны будет стрелять. Он, гад, за деньги нанялся, я-то из патриотизма, ну, гад! А мы вчера разговорились, а он-то думал, что я тоже нанятый. Ты, говорит, за сколько и на сколько контракт подписал. Тут-то и открылось. Ну, брат, дела. Он дальше поедет, до Кишинева, я до Тирасполя. — Снайпер покрутил головой. — Чего делать?

— А чего ты сделаешь? Вы как договорились — друг в друга не стрелять? Или ты его свалишь, вот и деньги некому получать.

— Семье заплатят, он сказал, семья у него в Москве. Да он, гад, и отсюда бы стал стрелять, но тут не платят. Он говорит: ему все равно, лишь бы бабки. Этим девкам из Прибалтики много платили. Но они, сучки, даже

по детям стреляли. Это-то он не одобряет. — Снайпер опять покрутил головой. — Достань чего-нибудь, не дай помереть.

Тут с завтрака вернулись соседи. И наудачу новый русский прихватил какого-то заморского пойла и щедро стал угощать. Девушка снова углубилась в работу над своей мордашкой. Она решила в Тирасполе выйти, подышать, погулять по перрону. Мужчина ткнул меня сзади в спину и подмигнул, мол, все в порядке, больше, мол, не капризист.

ДУНАЙСКОЕ ПОХМЕЛЬЕ

Север Болгарии, Силистра, набережная Дуная, осень. Я сижу у стоящего на постаменте танка Т-34 и погибаю с похмелья. Накануне был торжественный вечер, перешедший в еще более торжественную ночь. Здравия пять или больше я сказал о русско-болгарской дружбе, мне отвечали тем же. Мои сопровождающие переводчики Ваня и Петя курили и хлопали кофе, делать им было нечего, в Болгарии все, по крайней мере тогда (это было лет десять назад), понимали по-русски. Конечно, пели: «Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок», конечно, клялись в любви до гроба. Под утро я упал в своем номере, но вскоре вскочил. Меня подняла мысль: я еще не умылся из Дуная.

До чего же я любил Болгарию! Все в ней незабываемо, все такое прекрасное, женственное: и юг, и побережье, и горы. В ушах стояло птичье разногласие Среберны, в памяти зрения навсегда запечатлелись скальные монастыри, Купрившиц, Сливен, Пловдив, Русе, Жеравна. Теперь вот Силистра, Дунай. Но до Дуная еще надо было пройти метров сто. Я решил посидеть у танка, все-таки свой, уральский, может, он даст сил. Дал. Я немножко заправился из посуды под названием «Каберне», вздохнул и огляделся. Осень. Ну, осень, она везде осень. Листья падают под ноги деревьям, шуршат. Хорошо, тихо.

Ощущение счастья охватило меня. Никого не обидел, никому не должен, ни перед кем не виноват. Все проблемы потом, в России, а пока счастье: дружба, братство, любовь и взаимопонимание. Тем более до обеда свобода, беспривязное содержание. Искать не будут, я оставил записку Ване и Пете. Да, ведь Ваня и Петя — это не мужчины Иван и Петр, это женщины, это имена такие женские в Болгарии — Ваня и Петя. Переводчицы мне достались непьющие, но зато непрерывно курящие. Едем с ними — курят без передышки, я погибаю. Вот остановили машину, вышли. «Ваня, кури, пока стоим, Петя». — «На воздухе неинтересно, — отвечают Ваня и Петя, — надо же иногда и подышать». Садим-

И еще раз пришли какие-то пограничники, а может быть, еще какие таможенники, я уж в них запутался. Нас снова, но теперь на русском языке, попросили выйти. Вышли и из других купе. Мы теснились в проходе. Вышел и тот, едущий до Кишинева снайпер. Тоже явно с головной болью. Снайперы обменялись взглядами. Наш, уже опохмелившийся, глядел побойчей.

Поезд стал тормозить. Я думал, нам еще долго ехать, а оказывается, мы уже приехали.

ся в машину, они начинают смолить. Да еще обе пьют страшное количество чашек кофе. А так как я кофе совсем не пью, то это для Вани и Пети очень подходит. Они на меня заказывают сразу четыре чашки, а потом эти чашки у меня утаскивают. А заказать чай, по которому тоскую, вроде уже неудобно, поневоле хлещу прекрасные сухие болгарские вина.

Увы, вчера были не только они. Но сегодня, решаю я, только сухое. Только. Хотя бы до обеда. На обеде, а тем более вечером, все равно пить. Все равно говорить здравия о дружбе. Не тосты, именно здравия. Тосты — слово, нам навязанное. Тем более болгары, поднимая бокалы, говорят: «Наздрав!»

Ну, наздрав, говорил я себе, все более оживляясь от солнечной виноградной лозы. Наздрав! Наздрав-то наздрав, а одному становилось тоскливо. Да, умыться же из Дуная. Я быстро пришагал к берегу, спустился к воде. Недалеко рыбак возился у лодки.

— Доброе утро, брат! — крикнул я.

— Доброе утро! — откликнулся он.

Вот с кем я выпью. А пока умоюсь. Есть же славянская примета: умыться за год из двенадцати рек — и помолодеешь. А Дунай надо считать за три реки, не меньше: по всему же славянскому миру течет.

— Эй, эй! — услышал я крик. — Не можно, не можно! Химия, химия!

— Что делать, везде экология, — сказал я, подходя к рыбаку.

Мы поздоровались. Рука у него была могучая. Но я вроде тоже крепко тиснул.

— Нож у тебя есть? А то я первую открывал, палец чуть не сломал.

У него были и нож, и штопор, и стаканы. Правда, не граненые, пластмасса. Звуку от чоканья не было, но выпили от души. И допили от души.

— Слушай, — сказал я, — у меня еще одна есть. Но знаешь чего, давай ее выпьем в Румынии. Я везде был, а в Румынии не был. Или пристрелят? А?

— То можно, — сказал рыбак.

Мы столкнули лодку на воду, сели. Мотор взревел, мы понеслись к румынскому берегу.

— Вот тут, — кричал я, — наш Святослав, киевский князь — слышал? — сказал: скорее камни со дна Дуная всплывут, скорее хмель утонет, нежели прервется русско-болгарская дружба! Вот тут, именно тут.

— То так! — кричал и кивал головой рыбак.

Обдуваемый ветром, обдаваемый брызгами, я чувствовал себя превосходно. И продолжал просвещать рыбака:

— Отсюда — именно отсюда, понял? — от Суворова ушла депеша, донесение Екатерине, императрице, — слышал? Депеша: «Слава Богу, слава нам, Туртукай взят, и я там». Турок гнал отсюда. А Святослав печенегов изгонял. Его предали, Святослава.

— Предал кто?

Кто! Свои, кто! Славяне. А в эту войну наши гнали отсюда фашистов, вот! А теперь мы с тобой тут собрались.

Лодка ощутимо ткнулась в отмель, я даже со скамьи слетел. Вытащили лодку на берег. Не успели изъять пробку, как подошли трое румын. Но не пограничники, тоже, может быть, рыбаки. Они по-русски не говорили, рыбак им объяснил, что я из Москвы. Восторг был превосходительный. Но что такое бутылка сухого на пятерых, это несерьезно.

— Гагарин, — кричали румыны, — спутник, дружба! — И все примеряли на меня свои цыганские меховые шапки.

Дружба, оказывается, была не румыно-советская, а нефтепровод «Дружба», спасающий страны Варшавского договора.

Дружба дружбой, а одними словами ее не укрепишь. Мужики смотрели на меня как на старшего брата в социалистическом содружестве, как на представителя сверхдержавы, защищавшей их от нападок империализма, да и просто как на человека, экономически способного оплатить продолжение радости.

— Выдержит твоя лодка пятерых? — спросил я рыбака. — У меня только болгарские левы.

— Хо! — отвечал рыбак. — Левы они любят. Лишнего не давай.

Самый молодой румын умчался и примчался мгновенно. Принес какое-то «Романешти». Оно было хуже болгарского, но крепче. Очень интернационально мы выпили. И еще этот румын сбегал. И еще.

— Парни, — сказал я, — меня эта песня про Дунай колебала. Давайте споем, а то она из меня не выветрится. Диктую: «Вышла мадьярка на берег Дуная, бросила в воду венок. Утренней Венгрии дар принимая, дальше помчался цветок. Этот цветок увидели словаки...»

Я, правда, не понимаю, как мадьярка бросила венок, а дальше поплыл цветок, но неважно. Давайте разом. Три-четыре!

— Мадьяры — тьфу! — сказал один румын.

— Тьфу мадьяры, тьфу, — поддержали его два других.

— И словаки — тьфу! — сказал румын.

— Хватит тьфу, — сказал я как старший брат. — Давай еще беги.

Вскоре мы дружно ругали и Николае Чаушеску, и Тодора Живкова, и особенно крепко Брежнева. Оказалось, что все мы монархисты. Это сблизило окончательно. Правда, румын время от времени плевался и сообщал, что и поляки — тьфу, и чехи — тем более тьфу, а уж немцы — это очень большое тьфу, такая мать. Румын ругался по-русски.

— И сербы, и албанцы...

— Сербы не, — возразил мой рыбак. — Албанцы — то да, сербы — не.

Время летело. Начали обниматься, прощаться, меняться часами и адресами. В знак признательности румыны забежали в воду, провожая нашу лодку. С меня содрали оброк за то, что уезжаю.

Лодка наша петляла по межгосударственному водному пространству, будто мы сдавали экзамен на фигурное вождение. Румыны нам махали своими шапками.

На берегу... на берегу меня ждали Ваня и Петя. Конечно, меня легко было вычислить — русских тянет к воде. Я закричал им по-болгарски:

— На дружбата на вечната на времената! Ура, товарищи! Каждой по пять чашек кофе, и немедленно. Я был в Румынии, чего и вам желаю. Там я вам нашел по кандидату в мужья. Мне же вас надо отучить от сигарет и кофе и выдать замуж к концу визита. Милко, жаль, ты женат, пошли с нами. Или грузим Ваню и Петю — и в Румынию.

— Румыны — тьфу, — сказали Ваня и Петя.

— Тьфу румыны, — подтвердил мой рыбак.

— Да что вы, японский бог, — сказал я. — Варшавский же договор. Так на кого же тогда не тьфу? Чур, на Россию не смей. СССР — одно, Россия, Россия... тоже одно. Вот! — воздел я руки к небу в подтверждение своих слов — по небу проносился сверхзвуковой самолет-перехватчик МиГ.

— О, только без самолетов, — сказала Ваня или Петя, я их путал.

— Хорошо. Допустим. А допустить турок, вас истребляющих? А пляски печенегов и питье из черепа славян, а? Было же. Так само и буде, так?

— Вы, русские, сильно всех учите, вот в чем наша претензия, — сказали переводчицы.

— То так, — поддакнул им мой рыбак.

— Теленка, — отвечал я, — тоже тащат насильно к вымени, а не подтащишь — умрет. Да, диктуем, тащим,

значит, спасаем. Значит, перестрадали больше всех, испытывали больше. Но и у вас учимся. Я ваши скальные монастыри навсегда запомню. Только почему они у вас уже не монастыри, а музеи?

— Вопрос из области диктата.

— Какой диктат — пожелание воскрешения церковной жизни. У меня диктат один — чтоб вы не курили, вы же черные уже внутри.

Петя и Ваня молча и оскорбленно пили кофе и курили.

— Хорошо, — нарушил я молчание, — все плохи, одни болгары да русские хороши. Но ведь это тоже гадательно. Мы для вас диктаторы. А мы, между прочим, вас любим, что доказывали. Вот тут Святослав, древнерусский князь...

— Ой, не повторяй, — сказали Ваня и Петя, — ты вчера это произносил. И про Суворова произносил. И про танк...

Она дернула плечом в сторону Т-34.

— И мне произносил, — настучал на меня пьяный рыбак.

— Тогда немного филологии, — повернул я тему. — Вы — русистики, слушайте. И следите за ходом рас-

суждения. Вот я, вы же помните, во всех монастырях, церквях, куда мы заезжали и заходили, я же там читал все надписи совершенно свободно, особенно домонгольские. Да даже и ближе. Так же и в Чехословакии, и у чехов, и у словаков. Но современный болгарский для меня непонятен. То есть? То есть я к тому, что мы раньше были едины и по языку, и по судьбе. А судьба — это суд Божий. Потом, может быть, со времен Святослава, может, позже или раньше, мы стали отдаляться. То есть своеобразное славянское вавилонское столпотворение. Мы стали расходиться, перестали понимать друг друга. Так?

— То так, — подтвердил пьяный рыбак.

— И что же должно произойти, чтобы мы стали вновь сближаться, что? — спросил я. — Какое потрясение, какой, так сказать, катаклизм? Неужели дойдет до такого сраму, что кого-то будут из славян убивать, а остальные будут на это взирать? А?

Ваня и Петя докурили, утопили окурки в чашках изпод допитого кофе и объявили, что мне пора на званный обед.

Так что было пора идти пить за дружбу. Между славянами.

ТИХИЙ ВОЗ НА ГОРЕ БУДЕТ

Пилить дрова — это наказание. Но колоть дрова — это радость. Колоть дрова — награда судьбы, продление жизни и полезное ликование плоти. Да, устаешь, хнычет наутро спина, но какое же древнее, мужское дело — колка дров. Сколько удали в этом взметывании топора над головою, сколько силы в ударе. А расчет, а глазомер. Точность удара. Опытному работнику много чего говорит еле заметная трещинка на поверхности тюльки. Ставишь ее как на плаху, осматриваешь со всех сторон. Где сучок, где извилина, все надо учесть, чтобы, ахнув, развалить ее с одного, много с двух ударов надвое, а затем покрошить на поленья.

Вот привезли мне дров, свалили. И среди всех их — сосновых, еловых, березовых, уже напиленных на чурбаки, — выкатили и скинули такой чурбанище. Такой пнище, что земля вздрогнула, когда это чудовище поселилось у меня на дворе.

С утра, по морозцу, звонко разлетаются березовые поленья; крихтя, раздираются еловые; сосновые всяко сопротивляются, но все равно рассаживаются и поддаются. И вот я колот дрова, колот, а сам понимал, что все это у меня репетиции, все это у меня учения перед боем, перед сражением с этим чудовищем, с этим смоляным, перевитым окаменевшими сухожилиями неохватным комлем. Доставало это дерево, наверное, до облаков,

облетали его стороной самолеты, отдыхали на нем стаи перелетных птиц. Как его свалили, какой артелью, не знаю. Но мне предстояло порубить его на дрова и превратить скрытую в нем энергию в тепло для жизни.

И вот наступил день, когда я вышел к этому единственному оставшемуся пню в одной рубашке, вооруженный до зубов колуном, клиньями, топорами, и сказал:

— Ты понимаешь, что нам двоим не жить. Или ты — или я. Или ты умрешь — или я умру.

Потом я подумал, что надо с ним по-хорошему, и сказал:

— У меня на дрова больше денег нет.

Пень молчал. Так как за эти дни я всегда на него поглядывал и мысленно примерялся, то стал колуном легонько потюкивать от трещины к трещине. Но это пню было легче щекотки. Я будто по наковальне стучал. Ударил с размаху. Колун отскочил. Хорошо, не в лоб.

У меня были клинья — и дубовые, и два стальных. Я принес из сарая кувалду и вогнал ею клинья по намеченной линии. Но я как будто гвозди вбил, а не клинья. Стальные вошли целиком, дубовые расщелились и погибли.

Так прошло полдня. Обедая, я все время помнил о пне, о его булыжниковом спокойствии. Я лежал. В глазах стоял пень. Надо идти. Пень показался

мне еще огромнее. Уже и компромиссы стали мне обращаться: ведь какой хороший — можно устроить из него журнальный столик. Или на нем дрова колоть. Такой монолит, он меня переживет. Но нет, отогнал я капитулянтские настроения, этот монолит должен сдаться, иначе я перестану себя уважать.

— А тебя не перестану, — сказал я пню. — Ты должен погибнуть, как боец. Но погибнуть. Иначе как мне жить? Ты чувствуешь, что ты делаешь меня первобытным охотником, я с тобой говорю как с медведем, которого надо убить для продления жизни племени.

Пень молчал. У меня были топоры, которые я вогнал по новой намеченной линии. Пень и не крикнул. Я два раза ходил менять мокрые рубахи, пил чай и угрюмо чего-то жевал, восстанавливал силы. Солнце пошло на закат.

Спал я плохо. Утром все начало повторяться. И был момент, когда бы я мог отступить, но вспомнил уроки детства. Я всегда был торопыгой, и мама всегда меня осаживала, говоря пословицу: «Тихий воз на горе будет», — то есть надо все делать помаленьку-полегоньку. Вот я нацелился на выступ сбоку пня

и отколол его. Потом другой, третий. Напряжение стиснутости пня ослабевало. Обошел один круг, другой. Уже гора скорченных, перекрученных смоляных поленьев лежала вокруг, а пень все еще был громаден. Но, уже вогнав рядом с прежними еще клин, помассивнее, я достал первые клинья и с их помощью пробил новую линию по нетронутому месту. Стал бить кувалдой, с наворотом, как мы выражались. И пень треснул. Вначале тихо, потом с утробными звуками раздиранья телесной плоти. Я загонял в щель все новые клинья и топоры, все бил и бил, не заметил, когда и как порвал рубаху, но наконец пень раздвоился. И потом еще почти весь день я трудился над гигантскими половинами. Потом сложил разделанные в поленья останки пня и поразился величине поленицы.

Великая эта мудрость — помаленьку-полегоньку. С бока, с краешка, по щепочке, по лучиночке. Топлю печь, смолой пахнет, и с какой же благодарностью я вспоминаю те дни, когда шла битва с пнем.

Так бы нам во всем — помаленьку, потихоньку. Куда торопиться, ведь не под гору катимся — в гору идем. Тихий воз на горе будет.

О языке Богослужения

Переход Богослужения на современный язык — это измена Богу, предательство России, позор перед Святыми.

Именно так. Сказано нам, что Церковь Христова всегда будет гонима, и это постоянно сбывается. Атеизм сменился сатанизмом, мир не просто во зле лежит, в нем купается, безумствует и, как всякий заразный, пытается заразить и здоровых, в данном случае то последнее, что осталось в этом мире для спасения души — Веру Православную.

Кровь мучеников раннего христианства, кровь страдалцев нового времени вопиет к нам: за что они умирали, шли на Крест? За то, чтобы потомки отказались от главной иконы Богослужения, от языка, на котором свершается Богослужение? Переделывать язык Церкви в угоду современности? Да это позор, кощунство и надругательство.

Какая современность? Ее нет. У Бога нет времени, у Него все враз, а у нас только летящие мгновения жизни от рождения к смерти. И истории никакой нет, есть одно в мире: мир или приближается ко Христу, или удаляется от Него. Несомненно, реформа языка — это угождение сатане, удаление от Света.

Как можно испачкать икону, как можно исказить, изуродовать язык? Это все равно, что зама-

зать грязью ограненный алмаз и этим погасить его сияние.

«Господь воцарися, в лепоту облечесе». И как вы, очередные реформаторы (о, сколько вас было), как это переведете? Мало вам примера латинян, протестантов, несчастных поляков, пошедших на сделки с духом века сего.

Реформа оправдывается тем, что якобы церковнославянский язык непонятен. Кому? Только новичкам да лентяям. Новичкам, если они верят в Бога, «со страхом» Божиим приступают к Христовым тайнам, через год-полтора все будет ясно и понятно в Божественной Литургии. Да даже и раньше. Есть теперь, не советское же время, много хорошей литературы, толкований. Ходи в храм и читай Священное Писание, труды святых отцов, которые, вот уж точно, были бы возмущены новыми нападками на тексты молитв. А подстриваться под лентяев, которые резво, для успехов в бизнесах, бегают на курсы английского, а свое родное встречают в штывы, зачем нам? Нет, переделки Богослужения — это тонко рассчитанное нападение на душу православную.

Молчанием Бог предается. И хорош был бы я, первый лауреат Патриаршей премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, если бы стыдливо прикрылся фразами, что священноначалию лучше

знать, что мирянам полезно, а что вредно. Больше тысячи лет молились на языке, приближающем нас к Богу, а теперь вот, видите ли, надо к жизни приближаться. Жизнь ментальна. А Бог вечен. И Россия живет не во времени, а в вечности. Нельзя молчать, когда уже в первых шагах, то есть в первых разговорах по осовремениванию Богослужения, слышатся отдаленные раскаты

нового раскола. Именно к этому ведут нас теперь уже не просто необновленцы, а уже нео-нео. И как прикажете тогда называть Церковь? Истинно современная кочетковствующая, католиковствующая?

Наша надежда — на мудрость наших пастырей и архипастырей. Ну как будет возглашать батюшка: «Вон-мем!»? «Премудрость прости!»

Продолжение следует.





Алла МАРЧЕНКО



О себе

Родилась на окраине Ленинграда — в Лесном. Сюда весной 1915 года к критику Льву Клейнборту приезжал Есенин, в феврале 1840-го Лермонтов выяснял отношения с де Барантом. В Лесном же по инициативе С. Витте и Д. Менделеева выстроен знаменитый Политехнический, где в начале 30-х учился мой отец. После убийства Кирова старшекурсных «механиков» забрали в Высшее военно-инженерное морское училище. По окончании распределили в Севастополь, а в 1939-м переместили в Москву. Севастополь остался в памяти сердца самым прекрасным городом мира, а любовные отношения с Москвой так и не сложились. Учиться всерьез начала в 44-м, по возвращении из эвакуации. В нашей украинной 153-й работали учителя, не прижившиеся в элитных (анкетных) школах. По причине умственной независимости. В университет (русское отделение филфака) поступила до смерти Сталина, диплом по Есенину защитила в лето Двадцатого съезда. В 1961-м вышла замуж за художника Владимира Муравьева. Печататься начала в 1956-м. В «ЛГ» — рецензия на подборку стихов Н. Заболоцкого в «Литературной Москве». Первая большая статья о поэзии — в «Вопросах литературы» (1959). Первая настоящая книга — «Поэтический мир Есенина» (1972). В 1984 году — «Подорожная по казенной надобности». В перестройку вместе с прозаиком В. В. Михальским издавала толстый журнал «Согласие». В 2009—2014 годах вышла биографическая трилогия «Поэты»: «Ахматова: жизнь», «Есенин: путь и беспутье», «Лермонтов: под гибельной звездой». В 2013-м — сборник стихов для детей «Дом со скворцом». «Ахматова» угодила в финал «Большой книги» за 2009 год, премии, разумеется, не получила.



ПРОПУСТИМ МНИМЫЕ ПАРАДОКСЫ

Эта работа написана давно, в самом начале 2007 года. Как заключение задуманного триптиха. Первая часть: Ахматова и Блок («Новый мир», 1998, «С ней уходил я в море...»). Вторая: Ахматова и Модильяни («Дружба народов», 2006, «В черноватом Париж тумане»). Статью в принципе одобрили, правда, решили с публикацией повременить в связи со скандалом, вызванным появлением вздорной и наглой «Анти-Ахматовой», сочиненной «таинственной незнакомкой» Тамарой Катаевой. Месяца два-три, не больше. Антиахматовский ажиотаж однако не затихал, и я по предложению Льва Аннинского ее все-таки опубликовала. Не в России, конечно. В Болгарии, в юбилейном двуязычном издании, посвященном 60-летию литературоведа Ивайло Петрова. Открывалось оно, кстати, его же, Аннинского, статьей «Из наблюдений над молодой русской прозой», которую, помнится, Л. А. включил и в очередной сборник собственных журнальных публикаций. Я этого не сделала. В наивной уверенности, что теперь, когда Николай Гумилев литературно реабилитирован, усилия Ахматовой, а следственно, и мои, не интересны, как «цветы запоздалые». Всем и так все ясно. Оказалось, что это не так. Оказалось, что Гумилев просто-напросто исключен не только из героев, но и из персонажей главной ПОЭМЫ Анны Всея Руси.

Дмитрий Быков, к примеру, утверждает, что Поэма вообще безгеройна, «хотя версий было много, и в том числе экзотических». А в подтверждение своего «сюр-экзотического» истолкования ссылается на авторитет покойного Льва Лосева. Дескать, «этот не только первоклассный поэт, но и отличный филолог видел в названии аббревиатуру ПБГ, то есть Петербург. Однако, думаю, всё еще проще: общество, в котором нет героя и упразднено само понятие героического, обречено на великие потрясения, во время которых герою еще только предстоит родиться. В этом смысле поэма Ахматовой сейчас, в наше принципиально негероическое время, актуальна донельзя». Мнимые парадоксы Быкова можно и пропустить мимо ушей. Но они, к сожалению, популярны, а в силу популярности влиятельны. И не только в читательской среде. Даже дельный и умный критик Юрий Беляков биографию Льва Гумилева умудрился выстроить так, как если бы в его метрике вместо имени матери стоял прочерк. Этакая зияющая пустота. На это намекает и название книги: «Гумилев — сын Гумилева». Чтобы помочь молодым читателям «Юности» пробиться сквозь вольную и невольную кривду, я и решила опубликовать и в любимом журнале не неизвестный в России «стародавний» текст.

Алла Марченко

ГЕРОЙ «ПОЭМЫ БЕЗ ГЕРОЯ»

В предисловии к «Поэме без героя» Ахматова уверяет: «Никаких третьих, седьмых и двадцать девярых смыслов поэма не содержит». На самом же деле, конечно, содержит, а процитированная фраза не что иное, как приглашение к поискам «потаенных», по целому ряду причин утаенных смыслов. И тех, что записаны симпатическими чернилами, и тех, что либо загнаны в подтекст, либо вынесены в контекст, а то и вроде как бы «засунуты», якобы впопыхах, в дамскую домашнюю шкатулку.

Со шкатулкой А. А. сравнивала «Поэму без героя» неоднократно.

И устно, и письменно, но чаще тогда, когда требовался относительно простой, то есть и на-

глядный образ (имаж, вещьца), посредством которого сподручнее обратить внимание читателя на атипичность поэзного устройства, которое, разумеется, намного сложнее. Уподобление композиционного плана «Поэмы...» «укладке», «музыкальному ящику» и даже «шкатулке резного дуба» с «тайным замком»¹ сильно его упрощает.

Каждая из частей «Поэмы без героя» (произведения, не имеющего в русской поэзии ана-

¹ Я имею в виду не упоминаемую в «Поэме без героя», но явно существующую в памяти автора реалию из раннего (1911) стихотворения «...Мертвый муж мой приходит / Любовные письма читать. / В шкатулке резного дуба / Он знает тайный замок. / Стучат по паркету грубо / Следы закованных ног».

логов) и скроена на особый манер, и сшита стежками разной длины, целое не равно сумме слагаемых, а грузоподъемность всей конструкции — величина переменная. Количество и качество получаемой реципиентом информации зависит от его проницательности, от умения, «читая между строчек», понимать, что «сложнейшие и глубочайшие вещи изложены» здесь «не на десятках страниц», «а в двух-трех стихах». И наверняка не случайно в «Прозе о поэме», перебрав несколько образных ее характеристик, Ахматова в итоге выбирает как наиболее похожую другую, более сложную фигуральность: «Волшебный напиток, лиясь в сосуд, вдруг густеет и превращается в мою биографию, как бы увиденную кем-то во сне или в ряде зеркал... Иногда я вижу ее всю сквозную, излучающую непонятный свет... распахиваются неожиданные галереи, ведущие в никуда... Тени притворяются теми, кто их отбросил...»

Леонид Леонов как-то признался, что «вывел композицию своего “Скутаревского”» из картины Брейгеля «Охотники на снегу». Применительно к Ахматовой можно, думаю, предположить, в порядке рабочей гипотезы, что на композиционное устройство «Поэмы без героя» в числе прочего повлияло устройство картины Диего Веласкеса «Менины». Точнее, модные в начале века споры о ней. Не исключаю, что девочка-инфанта, киевский портрет которой А. А. разглядывала в гимназические годы, возможно, и есть еще один из двойников героини. Иначе непонятно, почему, рассказывая о «Коломбине десятых годов» (Ольге Судейкиной), Ахматова произносит загадочную фразу: «Ты — один из моих двойников». Загадочную уже по одному тому, что ни в тексте поэмы, ни в примыкающих к ней стихотворениях о другом двойнике или двойниках не упоминается. В формате данной заметки это предположение, к сожалению, недоказуемо.

Для обоснования столь беззаконной гипотезы пришлось бы недопустимо сильно расширить контекст. А он весьма выразителен. Во-первых, долгая работа над переводом писем Рубенса той поры, когда художник жил в Мадриде и общался с Веласкесом. Во-вторых, интерес к испанской живописи (упоминание Эль Греко и Гойи в поэме). И наконец, увлечение Гумилева личностью Теофила Готье. Того самого Готье, который, как известно, приехав в Мадрид, чтобы своими глазами увидеть холсты забытого гения, простояв

чуть ли не час перед «Менинами»¹, изрек знаменитую фразу: «Где же картина?» (Дескать, troppo vero! — слишком правдиво.)

Но эта тема, повторяю, требует иного количества печатных знаков. Так что вернемся к более важным для нашего сюжета смыслам. Тем, что даже не запрятаны в подвал памяти, а, как уже упоминалось, положены в шкатулку с тройным дном.

Заперта сия вещица, как и следует, на тайный замок, однако ключи к нему, как и сама шкатулка-укладка, оставлены все-таки на виду. На удивление внятно, в первых же фрагментах «Прозы о поэме», и тоже почти открытым текстом, хотя и зеркальным письмом, изложила Ахматова и суть наиважнейшей для первой части «Поэмы...» коллизии: «Нет только того, кто непременно должен был быть (на новогоднем маскараде в канун 1914 года. — А. М.). И не только быть, но и стоять на площадке и встречать гостей...», «того, кто упомянут в ее заглавии и кого так жадно искала... сталинская охранка».

Казалось бы, при столь явных и ясных подсказках истолкователи, прежде чем расшифровывать двадцать девятые смыслы, для разъяснения смыслов наипервейших воспользуются подсунутыми

¹ Чтобы высказанные соображения не показались слишком уж экстравагантными, процитирую классическое описание портрета инфанты Маргариты из Киевского музея, на мой взгляд, оно явно перекликается с приведенным выше отрывком из «Прозы о поэме»: «В музеях Советского Союза есть несколько работ Веласкеса, все они не абсолютно достоверны... Но трудно поверить, что не самому Веласкесу принадлежит портрет маленькой инфанты Маргариты, хранящийся в Киевском музее... У инфанты анемичное безбровое лицо, нежное, бледное до проступающей голубизны... темные невеселые глаза... Она жалка и прелестна в своем пепельно-розово-алом наряде. Инфанту Маргариту Веласкес писал очень часто и однажды сделал ее центром большой композиции “Менины”... Там эта бедняжка стоит также оцепенело, скованная своим кринолином, посреди большой комнаты; вокруг нее услужливо вьются фрейлины, тут же карлики и большая собака. Композиция построена своеобразно. В глубине, на задней стене — просвет: открытая дверь на лестницу, там стоит какой-то придворный. Свет проникает и из этой двери, и справа из окна. Рядом с дверью висит зеркало, и в нем видны отражения короля и королевы — подразумевается, что они стоят за пределами картины, то есть там, где находятся ее зрители. И наконец, в картине Веласкес изобразил самого себя за мольбертом — пишущим, очевидно, портрет короля и королевы. Сложная пространственная структура с двойным источником света, отражением в зеркале, взаимоотношениями первопланного и удаленного, видимого и подразумеваемого увлекала Веласкеса как живописная задача исключительной трудности и заманчивости» (Н. А. Дмитриева. Краткая история искусств. Очерки. Выпуск второй. М., 1975).

им ключами. А если воспользуются, непременно сообразят, что Гумилев — единственный из замаскированных персонажей «Петербургской повести», кого всерьез искала «сталинская охранка». А сообразив, воздадут должное феноменальной изобретательности, позволившей автору, обманув бдительность охранников, возвести Гумилева в ранг Героя «Поэмы без героя». И тем не менее: узнавания — почему-то не произошло. Не найдя имени мертвого мужа в заглавии поэмы, шифровальщики поэмы посчитали подсказку А. А. мнимой, не наводящей на след, а сбивающей со следа, уводящей от него. Между тем Ахматова стопроцентно точна: «“Поэма...” действительно названа цитатой из стихотворения Гумилева “Современность”». Из того же текста В. С. Тютюпанова, подруга детства А. А., позаимствовала название («Дафнис и Хлоя») своих воспоминаний об их царскосельской юности. Эти воспоминания, напоминая, Валерия Сергеевна неоднократно уточняла. Причем в то самое время, конец 50-х — начало 60-х годов, когда Ахматова вернулась к доработке «Поэмы без героя». Поскольку я не уверена, что у потенциальных читателей стихотворение Гумилева «на памяти», процитирую из него две строфы:

Я закрыл «Илиаду» и сел у окна.
На губах трепетало последнее слово.
Что-то ярко светило — фонарь или луна.
И медлительно двигалась тень часового.
Я печален от книги, томлюсь от луны.
Может быть, мне совсем и не надо героя...
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

Существо это странного нрава.
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску.
По пустыням свое торжество.
И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и не в третьем...
Поэтам
Вообще не пристали грехи.
Проплясать пред Ковчегом Завета
Или сгинуть...
Да что там!
Про это
Лучше их рассказали стихи.

Через двадцать три года, в мае 1963-го, именно на этом портрете «мертвого мужа» А. А. сделает надпись, которая, если, разумеется, принять к сведению предложенную расшифровку названия, воспринимается как записанный симпатическими чернилами эпилог к «Петербургской повести» (то есть к первой части триптиха):

Я гашу те заветные свечи,
Мой окончен волшебный вечер, —
Палачи, самозванцы, предтечи,
И, увы, прокурорские речи,
Все уходит — мне снишься ты.
Доплясавший свое пред Ковчегом,
За дождем, за ветром, за снегом,
Тень твоя над бессмертным брегком,
Голос твой из недр темноты.
И по имени! Как неустанно
Вслух зовешь меня снова... «Анна!»
Говоришь мне, как прежде, — «Ты».

Не помогло узнаванию даже то, что Ахматова называет Героя поэмы своей жизни «собеседником луны», хотя общеизвестно, что А. А. настаивала: все стихи ее первого мужа, где упоминается или луна, или дева луны, или вообще все, что относится к «лунности», посвящены ей. Следовательно, даже легкокасательный намек на «лунную зависимость» — указание не вообще на какого-то поэта, а конкретно на «томящегося от луны» Гумилева. Больше того, находясь под прицелом всевидящего ока НКВД, Ахматова еще и рискнула вставить в первую же главку поэмы его молодой, довоенный, победительный портрет. Практически это единственный портрет Н. С. Г., запечатлевший его таким, каким он вернулся из последней экспедиции в Африку осенью 13-го года:

«Поэма без героя», как известно, пришла, по словам А. А., вся целиком («я сразу увидела ее всю») в самом конце года сорокового. Однако первые бродячие поэтические строчки, из которых родилась идея книги «Маленьких поэм», стали появляться на полях ее черновиков уже весной 1940-го. Одну из этих маленьких поэм — «Китежанку», в которой Ахматова переиначивает на свой лад сюжет гумилевского «Заблудившегося трамвая», она прочла Лидии Корнеевне Чуковской 11 мая 1940 года. И тем не менее в числе кандидатов на роль Главного Героя фигурируют самые разные персонажи. Чаше других — Николай Пунин и Артур Лурье. Лурье на том основании, что родился в мае, а Пунин — на основании того, что строки «за дождем, за ветром, за снегом» можно-де истолковать как указание на

смерть Николая Николаевича в северном лагере. И это при том, что Ахматова точно указала не только дату и место рождения своего шедевра (днем, 13 мая 1963-го, Комарово), но и погодные условия, не совсем обычные для середины мая (холодно, серо, мелкий дождь).

По возможности не то чтобы правильное, но по возможности точно соотнесенное с тонкостями авторского замысла, истолкование поэмы позволяет прояснить коллизию и еще одного эпизода, смысл которого также остается темным, если не ввести в уравнение со сплошными неизвестными имя Гумилева. Среди маскарадной болтовни — беспечной, прямой и бесстыдной — вдруг кто-то неосторожно выкрикивает: «Героя на авансцену!» Героиня, она же автор, успокаивает публику: не волнуйтесь, дескать, сейчас выйдет... Но тут-то и происходит неизбежное. Беспечная и полупьяная толпа в ужасе разбегается, а героиня бросает вслед убегающим реплику, значение которой не объяснено ни одним из толкователей «Поэмы...»:

Что ж вы все убегаете вместе,
Словно каждый нашел по невесте,
Оставляя с глазу на глаз
Меня в сумраке с черной рамой,
Из которой глядит тот самый,
Ставший наигорчайшей драмой
И еще не оплаканный час?

Не правда ли, сплошная невнятица? Но это для нас смысл иносказания темен. Люди ахматовского возраста и круга догадывались, о какой черной раме идет речь. Потому сразу и сообразили, чей портрет (опасный в ситуации года сорокового) грозит показать им героиня. В особую черную раму баронесса Иксуль, та самая красавица в красной гарибальдийке со знаменитого репинского портрета, приглашая столичную элиту на открытие бально-танцевального сезона, вставляла изображение человека года. Баронесса, кстати, родная дочь княгини Марии Алексеевны Щербатовой, которой посвящено стихотворение Лермонтова «На светские цепи...», была легендой Петербурга. Зинаида Гиппиус, обожавшая хозяйку легендарного салона, вспоминала, уже на закате жизни, в оккупированном немцами Париже: «В Петербурге жила когда-то очаровательная женщина. Такая очаровательная, что я не знаю ни одного живого существа, не отдавшего ей дань влюбленно-

сти, краткой или длительной. В этой прелестной светской женщине кипела особая сила жизни, деятельная и пытливая. Все, что так или иначе выделялось, всплывало на поверхность общего — мгновенно заинтересовывало ее, будь то явление или человек. Не успокоится, пока не увидит собственными глазами, не прикоснется, как-то по-своему не разберется. Не было представителя искусства, литературы, адвокатуры, публицистики — чего угодно — который не побывал бы в ее салоне в свое время... На моих глазах там прошли Репин, Ге, Стасов, Чехов... Мог ли в нем не появиться Распутин? Он и появился... Очаровательница не стала распутиной, она обладала исключительной уравновешенностью и громадным запасом здравого смысла... Чутье к значительности — даже не человека, а его успеха — было у нее изумительное».

Больше того.

Не в пример нам, нынешним, непрощенные гости, заявившиеся в ночь под Новый, 1941 год в Фонтанный дом, без разъяснений догадываются, почему в черной раме не портрет дорогого хозяйки человека, а «еще не оплаканный час». Они ведь еще не забыли, что по христианскому обычаю совершить горестную тризну можно лишь на могиле усопшего или убиенного, а в какой яме и даже в каком из пригородов Петрограда засыпан сырой землею Николай Степанович Гумилев, Анне Андреевне не удалось выяснить. Ни в 1921-м, ни в 1941-м, ни в 1965-м. Не знаем мы этого и по сей день. История Кронштадтского мятежа, как и история связанной с ним Петроградской боевой организации, за участие в которой был арестован и расстрелян Гумилев, до сих пор остается темной.

Что же касается баронессы Варвары Ивановны Лутковской-Иксуль, то мы, к счастью, успели узнать о ней поболее, чем запомнила мадам Гиппиус. Соперничая с Львом Толстым, баронесса издавала книги для народа, прятала в своем роскошном особняке социалистов, прятельствовала с императрицей, дружила с Горьким, во время войны организовала курсы медсестер, вместе со своими девочками отправилась на фронт, вместе с ними перевязывала раненых на поле боя, за что и получила Георгия. В 1921-м, после того как был расстрелян ее пасынок, по тому же, кстати, делу, что и Гумилев, она, не получив обещанного Горьким разрешения на выезд, ушла из России. Ушла буквально: пешком, по льду Финского залива, сопровождаемая

лишь мальчиком-проводником. А было Варваре Ивановне в ту пору уже за семьдесят. Знаменитый особняк моментально разграбили, портреты и письма сожгли, и мы в результате не знаем, как же выглядела ее матушка — женщина, из-за которой Лермонтов стрелялся с мальчишкой де Барантом и на которой чуть было не женился. Публикуемый в нынешних изданиях поэта портрет М. А. Щербатовой, как потихоньку, на ушко поговаривают лермонтоведы, к Машеньке Штерич-Щербатовой-Лутковской никакого отношения не имеет.

Но если дочь унаследовала от матери свою легендарную красоту, то мнимый портрет лже-свидетельствует, а правду говорит Аким Шан-Гирей, утверждая, что слышал от Мишеля: юная княгиня хороша так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А если бы Илья Репин, увлекшись, как и все, удивительной хозяйкой удивительного салона, не вложил в снятый с нее портрет не только все свое мастерство, но и свою влюбленность, мы бы и не подозревали, какие гибельные пожары бушевали некогда, в иной жизни «за бледным заревом искусства».





Альберт ЛИХАНОВ



Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5, 6 за 2018 год

ОГЛЯНИСЬ НА ПОВОРОТЕ, ИЛИ ХРОНИКА ЗАБЫТОГО ВРЕМЕНИ

Рисунок Марины Медведевой

РОМАН В ПОВЕСТЯХ

Зато утро! То утро!

Едва тетя Дуся вошла в университет и уселась в своей кассе, молва о ее возвращении мигом облетела аудитории.

Шла лекция, запомнювал какая, — да разве это имело значение! — как дверь распахнулась, и, нарушая все культурные обычаи, в проеме нарисовалась скобоченная фигурка нашей вечной вахтерши по кличке Старуха Изергиль — никак не меньше! — и старуха, бывшая партизанка, воскликнула:

— Дуся вернулась!

Лекция была повержена! Мы дружно зааплодировали, громче всех, конечно, наша произвольно сплоченная команда, и до перерыва лектору пришлось смириться с гомоном неутихавшей толпы. В перерыв мы покатились к столовке, первой шла Люсетта с почтовым конвертом, зажатым в кулаке.

Но тетя Дуся нас даже разочаровала. Нет, увидев нас, конечно, заулыбалась — однако от какого-то студента, пробивавшего чеки, не отвлеклась, просто помахала нам ладошкой, и уж после того повернулась к нам. Губки ее были слегка подкрашены, как всегда, она улыбалась, кутаясь в кофточку, а я-то все искал взглядом на кофточке орден Красной Звезды. Надеть его было самое время — ведь одержана такая победа!

Мы что-то квакали хором и врозь, Люсетта протягивала конверт, а тетя Дуся махала рукой и восклицала:

— Да вы что! Да ребята!

А потом тарахнула неожиданно:

— Я просто приболела на денек, да и все!

— И все? — поразился Скок.

— Ну, если вы про ревизию, так я ведь каждый день всю выручку сдаю. Согласно кассе. И никаких недостат у меня быть не может.

Мы стояли ошарашенные. А она вздохнула и добавила, чтобы до конца утешить:

— Ну да, я свои каждый раз добавляла. Ведь я одна, тратить не на кого. А вы потом возвращали!

И она засмеялась.

— Ни один из вас меня не подвел! Ни один!

Труднее всего досталось Люсетте. Пришлось возвращать по принадлежности все эти рубли и трешки, даже мелочь. Но, собирая деньги для тети Дуси, записей не вели, и эта раздача затянулась.

А в тот раз мы уселись за стол, меню все то же — щи, котлета, чай — и минут пять, вопреки всем антирелигиозным учениям, повторяли наперебой разным интонациями: «Слава богу! Слава богу!» Потом подумолкли. И тут Вовка Потников проговорил:

— Выходит, мы переусердствовали?

— Ты что-о-о! — округлила глаза Люсетта.

— Нет, нет, — опроверг сомнение Скок. — С какими людьми познакомились!

— Да ведь это еще и партийно-советская печать в действии, — сострил Минибай.

— Печать-то тут при чем? — не согласился Потников.

— А может, просто, — подумал я вслух, — и надо было, чтобы все это случилось! И травля, и несогласие, и шум, и разговоры все эти...

— Кому это надо? — удивилась Люсетта.

— А может, и самим нам? — задумался Вовка.

— Бросаться на помощь надо всегда, — сказал Минибай. — Вот нам! Придется разбираться в разных склоках, а потом расписывать в газетах, а? Ну и как это делать, если в жизни заступиться не умеешь!

— Будешь большим начальником! — хихикнула наша единственная дама. — Редактором, секретарем райкома. Обкома.

— С какого угару! — фыркнул Минибай. — Нам бы здесь-то разобраться!

Это был маленький такой треп, наивная и юная болтовня после несложного испытания. И я все думал о тете Дусе. Кто же она на самом деле? Ну, фронтовичка. Но почему всего-то-навсего кассирша в студенческой столовке? И почему кормит нас за свою ведь крохотную же зарплату. Что за службу она себе избрала?

Так и не нашел я тогда ответа этому. И все, что происходило в ту пору, находилось еще очень далеко от благостных времен. Но совсем близко от времен испытаний — тяжелой и горькой войны. От которой хотелось убежать как можно дальше. Да поскорей. Поскорей!

Но не всякие побеги совершаются скоро. Порой требуется время, да и немалое, чтобы понять, куда и зачем бежать, с какой целью, да если и бежать — то надо бы всем народом?

8

Рано ли, поздно ли, но я получил место в общаге на улице героя Октября Щорса. Это было двухэтажное сооружение, склепанное, наверное, в 30-е годы неведомо под кого. Нам же достались сравнительно большие комнаты, вдоль стен которых стояли железные койки с ватными, образца тех же лет, матрасами, а посередине — сравнительно длинный простой стол, где могли сесть сразу все жильцы, и кроватей было семь! Таких комнат, как помню, насчитывалось немало, да между ними еще несколько — поменьше, а домов с холодными подъездами — штуки три. Топились общаги дровами, и печи имелись в каждой большой комнате, одним боком выходя в соседнее помещение — типовое решение обогрева старых лет.

Полубарак, полухибара, вода — только холодная да скворечник во дворе. Девчонок сюда не селили.

Общага на Щорса считалась если не местом ссылки, то добровольного изгнания, камчатка в большой стране, и еще не каждый желал ехать на этот край города даже в целях, важнейших для студийцев, — экономия своих жалких средств: ведь филологи, как и всякие там историки и несчастные журналюги, все, кто назывался гуманитариями, получали стипендию самую малую даже в пределах одной альма-матер. Математикам, к примеру, рублей на тридцать давали больше — то ли за особые умственные возможности, на которые рассчитывало в последующем народное хозяйство, то ли понимая саму даже ценность их предстоящих познаний. Наши познания ценились дешевле.

И меня наша конура на Щорса угнетала как только могла: то ли дело в тепле у Анапы, где тесновато, но дружно и удобно, да и гораздо ближе. Но 200 рэ на жилье! Это было тяжело по сравнению с всего-то пятнадцатью рублями здесь.

Жизнь на университетской камчатке была глухой, безрадостной, особенно холодной зимой и бесконечно грязной весной, да и летом, когда часть пути приходилось одолевать по жидкому месиву. Однако бытие требовало терпения, да и у экономии свои законы: мама перестала посылать мне 200 за койку у Анапы, но прибавила до 400 расходы на еду. Но ведь еще и стипендия появилась. Всего 620! Однако и без стипендии я бы уже не пропал. Но моя французская контрреволюция продолжалась.

Однажды после звонка, когда группа французского языка неспешно собирала свои сумочки, а Сара Христовна отчего-то задержалась, я с тайным умыслом задал ей совершенно необязательный вопрос — как, мол, она относится к Жан-Полью Сартру и его новомодному учению. Спросил очень мягко, голосом не всезнающего бойца, а вкрадчиво, как мало чего понимающий и недообразованный интеллигент в первом поколении, разумеется, не владеющий французским языком, желающий сам докопаться до истины.

Боже! Да Сара Христовна просто испугалась. Она сложила ярко накрашенные губки сердечком, широко распахнула вишневые глаза и слегка побледнела — впрочем, ее лицо всегда было очень бледным, будто чрезмерно напудренным. Зато всегда добрым.

Настала неловкая пауза, и одна из историчек — то ли Марианна, то ли просто Марина — из местных, уходящих после занятий домой — большая, черноволосая, с горбинкой на носу, ловко оценив положение, спокойно и с достоинством разрядила его.

— Экзистенциализм, — заметила она, — одно из левых, во многом буржуазных течений. Жан-Поль

Сартр по-разному оценивается нашим обществоведением.

Она произносила эти слова неторопливо и солидно — вовсе не как смущенная студентка, а хотя бы как младший ассистент исторической кафедры. И Сара Христофоровна ей согласно кивала.

Я же испытывал внятное ощущение, что меня хотят облапошить! И мне это нравилось, представляете! Я, конечно, не понимал толком, что такое экзистенциализм. Но, по крайней мере, читал «Только правду», а они, похоже, нет. А мне не следовало лезть на рожон! Не требовалось признаваться, что читал Жан-Поля Сартра, наверное, симпатичного мужика, проживающего где-то в Париже. Я явно выигрывал, скромно затеяв разговор на сложную тему, при этом прикидываясь простаком. Да так ведь и было. Требовалось сыграть роль в задуманных интересах.

Я выдохнул, будто хоть что-то понял, кивнув, Сара Христофоровна распрямила ярко-красные губки и довольно улыбнулась, Марианна-Марина заслонила своей китовьей массой меня от французенки, а когда пространство освободилось, я вновь увидел лицо Сары Христофоровны, обращенное ко мне.

Она смотрела внимательно, сосредоточенно и, казалось, снова спрашивала себя обо мне! Кто он? Глупый студентка, которому она не дала послабления на вступительном, или, может, не дай бог, какой-нибудь, в лучшем случае, правдоискатель, лезущий в материю, которые не только этому недопеску, но и ей, простой преподавательнице — но французского же, а значит, иностранного языка, — не по чину?

Ожидавшее меня далее превзошло все возможные чудеса.

Когда началась сессия и подступил мой несчастный французский, Сара Христофоровна передала через общих соучениц, чтобы я не торопился, пришел на экзамен последним, далеко не отходил, потому что все ее ученицы, а мои соученицы по французскому ей известны, и долго спрашивать она никого не будет. А я — все это хорошо понимали — случай особый. Эти сикилявки, соседки по французскому, оглядывали меня сочувственно, а иные — снисходительно. Мне же не оставалось иного, как крепко сжимать зубы и молить судьбу об удаче — я ведь честно занимался, всю подтягивал себя и старался изо всех моих нефранцузских сил.

Экзамен проскочил стремительно. Девчонки заскивали и выскакивали, трясая зачетками. Вышла Лидия Павловна, лаборантка кафедры иностранных языков, которая иногда принимала внеаудиторное чтение, улыбнулась мне:

— Вы подождите, пока последняя выйдет. Сара Христофоровна хочет с вами побыть наедине.

Вот так да! У меня глаза на лоб полезли. И в то же время я должен был улыбаться. Дурацкий, пожалуй, получался образ.

И вот я зашел. Сара Христофоровна торопливо поздоровалась, указала на стул перед собой, и я задрбезжал: этот стул мог оказаться электрическим. Далее мне полагалось взять билет и, вроде, без подготовки отвечать по нему, как тогда, при вступлении, у историка.

Но Сара Христофоровна не предложила мне повысить балл, даже если я что-то намекаю ей. Она совершила подвиг. Как-то неторопливо, но твердо взяла мою зачетку, полистала, открыв ее на нужном листке, и обратилась ко мне, вглядываясь своими огромными коричневыми вишнями в мой, явно сбледнувший, лик:

— Вы сможете...

Она затормозила, подбирая слово, а, подобрав, начала снова:

— Вы сумеете не проговориться товарищам? А то... А то будет плохо!

Она улыбалась, но при этом крепко волновалась. И только в следующий миг я понял, на что она решилась. Я кивнул, она взяла ручку и поставила мне «хор».

Не думаю, что в моих глазах появились слезы. Они появляются у меня сейчас, когда я об этом рассказываю. Многие десятилетия спустя.

9

Общага на Щорса оказалась местом общественно захлтым. Едва мы выключали свет, где-нибудь за полночь, как жизнь в нашей комнатенке оживала. На стол, покрытый клеенкой — особенно зимой, в холода, видно, и им жилось несладко, — вспрыгивали через стул отвратные огромные, с хорошую кошку, крысы. И если кто оставлял там корку, начинался визг и декеж, сопровождаемый поначалу и нашим визгом.

Многие жалобы комендантше ничего не меняли — она отнекивалась тем, что сильный крысиный яд опасен для человека и один случай, правда, в другом общежитии иного института, уже произошел, когда вместо крысы отравился студент, едва откачали. Бороться, в общем, с крысами власть не желала, и мы эмпирически пришли к выводу, что следует относиться к ним если не как к друзьям, то, по крайней мере, снисходительно, как к неизбежности. Во-первых, требовалось предупредить их нападения и крошки, если таковые останутся, сбрасывать в жестяное ведро. Клеенку на ночь протирать водой с нашатырным спиртом, и в подтверждение истины кто-то из нас этот спирт купил в аптеке — он стоил дешево.

Однако запах от нашатыря давал о себе крепко знать, и самый нравный из нас, филолог Арнольд Якуповский, устроил поутру вселенскую истерику, что от запаха у него трещит голова и он вынужден отказаться от посещения лекций по уважительной причине. Тогда придумали иное.

Я уже поминал добрым словом боты «прощай, молодость!», которые носило большинство из нас. На ботинки натягивали эту суконную, с резиновой подошвой, обутку, и полный порядок. В университетской раздевалке сдаешь ее, как сдавал бы калоши. В общем, кроме этого Арнольда, все пользовались ботами, и, залезая в очередной раз под свои тонкие солдатские одеяльца, которые справедливо можно назвать и студенческими, мы выставили боты, как и ботинки, возле своих коек.

Был назначен вечер, обозванный экспериментальным, мы даже улеглись в одиннадцать, чтобы потом еще разобрать результат операции, погасили свет, а на стол выложили пару кусков черного хлеба, при этом покрыв их для удобства потребителей.

Но не зря говорят, что крысы — самые умные из всех тварей и самые приспособленные к любым испытаниям: могут запросто перенести ядерную войну, потому что на них не действует даже радиация. Да еще и живут до ста лет! А мы по молодости и слабости естественно-биологических знаний всего этого не ведали и избрали способ войны самый что ни на есть пехотный.

Сперва умные крысы обьегорили нас тактически. Несмотря на то, что мы погасили свет раньше, взяли в руки по своему боту «прощай, молодость» и напряглись в предвкушении атаки, в комнате стояла тишина. Крысы затаились.

Один Арнольд Якуповский издевался над всеми остальными, осмеивая наши неумные расчеты. Не затаивая, он выдавал свои шутки, порой вполне себе остроумные, но нас это лишь раздражало, и каждый из остальных уж по разу-то крикнул ему, чтоб остряк заткнулся. Наконец он устал. А крысы не выходили. Стали расслабляться и невидимые во тьме бойцы. Слышались глубокие вздохи. Кто-то предложил плюнуть на все и засыпать, а то завтра ранний подъем. Начались сдержанные и бестолковые дебаты. Я лежал напротив стола, может, в метре от него.

Тьма стояла полная, но я учуял шуршанье. Сжав бот, до того прижатый к груди, я размахнулся и кинул его, метя в поверхность стола. Послышались сразу — крысиный визг и человеческий вопль. Похоже, одним ботом я зацепил крысу, но оружие, срикошетив, достало и Арнольда, что ли?

Остальные боты бабахали в стол, по столу, по тумбочкам и кроватям. Чтобы узнать результат сражения, кому-то требовалось вскочить и босиком подбежать к

общему выключателю. Это действие исполнил Минибай, но каким бы и кто бы ни был сверхрасторопным, эффект оказался нулевым.

Стол пуст, куски хлеба разлетелись, некоторые на пол, всклокоченная братва восседала на койках, а Арнольд даже стоял, покачиваясь на пружинной сетке, как прыгающий на батуте акробат. Он закатывался в хохоте, мы, в общем, тоже не унывали. Хлебные остатки Минибай подмел, ссыпал в железное ведро для мусора, мы угомонились. А часа в четыре проснулись от грохота. Умная крыса, видать, стремилась пожить, да стенки ведра оказались высоки, и она прыгнула вовнутрь — бывает ли такое? И грохот был совершенно жестяной, а значит, громкий, барабанный, хотя и одноразовый, и мы, матюгаясь, признали, что борьба принесет успех только следующей зимой при условии, что летом дезинфекционная служба города обработает все наши общаги! Мечты, мечты, где ваша сладость!

А крысы победили нас. Даже когда не оставалось ни крошки на столе, они громко грызли по ночам нижние углы наших тумбочек, дерзко вспрыгивали на стулья и обнюхивали нашу одежку, чтобы отыскать в ней остатки хоть какого завалящего куса. Но тщетно! Ведь на спинках стульев висели штаны студентов голодного времени!

И мы смирились с крысиной оккупацией. Когда же кто-то включал по необходимости общий свет, хвостатые коллеги без всякого шума и гама неслышно исчезали, огорчаясь, похоже, звукам жестяного ведра, отзывающегося оптимистическим звуком на быстротекущую жизнь.

Это, похоже, звучало для них оскорблением.

10

В той комнате на Щорса, носом к носу, мы не то чтобы столкнулись, а буквально спихнулись с новым явлением то ли моды, то ли культуры.

Где-то там, в западных столицах некоей державы и на теплых югах, молодые люди вроде нас стали как-то вызывающе одеваться и обуваться, учить танец буги-вуги, жевать жевательную резинку и мечтать про кока-колу. Одним словом, отвязываться! Наш обаятельный завкафедрой партийно-советской журналистики, фронтовой офицер Борис Самуилович, привлёк внимание к фельетону Семена Нариньяни, то ли в «Правде», то ли в «Известиях», под названием «Стиляги», и мы в перерывах образовали очередь к подшивке в читалке.

Из газетного сочинения, конечно, мало что поймешь предметно, ведь мало узнать про черные, например, очки — это как у слепых, что ли? — про гавайские рубахи — что за гавайские? — узкие брючки-дудочки и

дерзкую, громкую, ненашенскую музыку. Однако все это образовалось буквально под носом у нас в считанные дни, не более, с наступлением весны и приближением новой сессии.

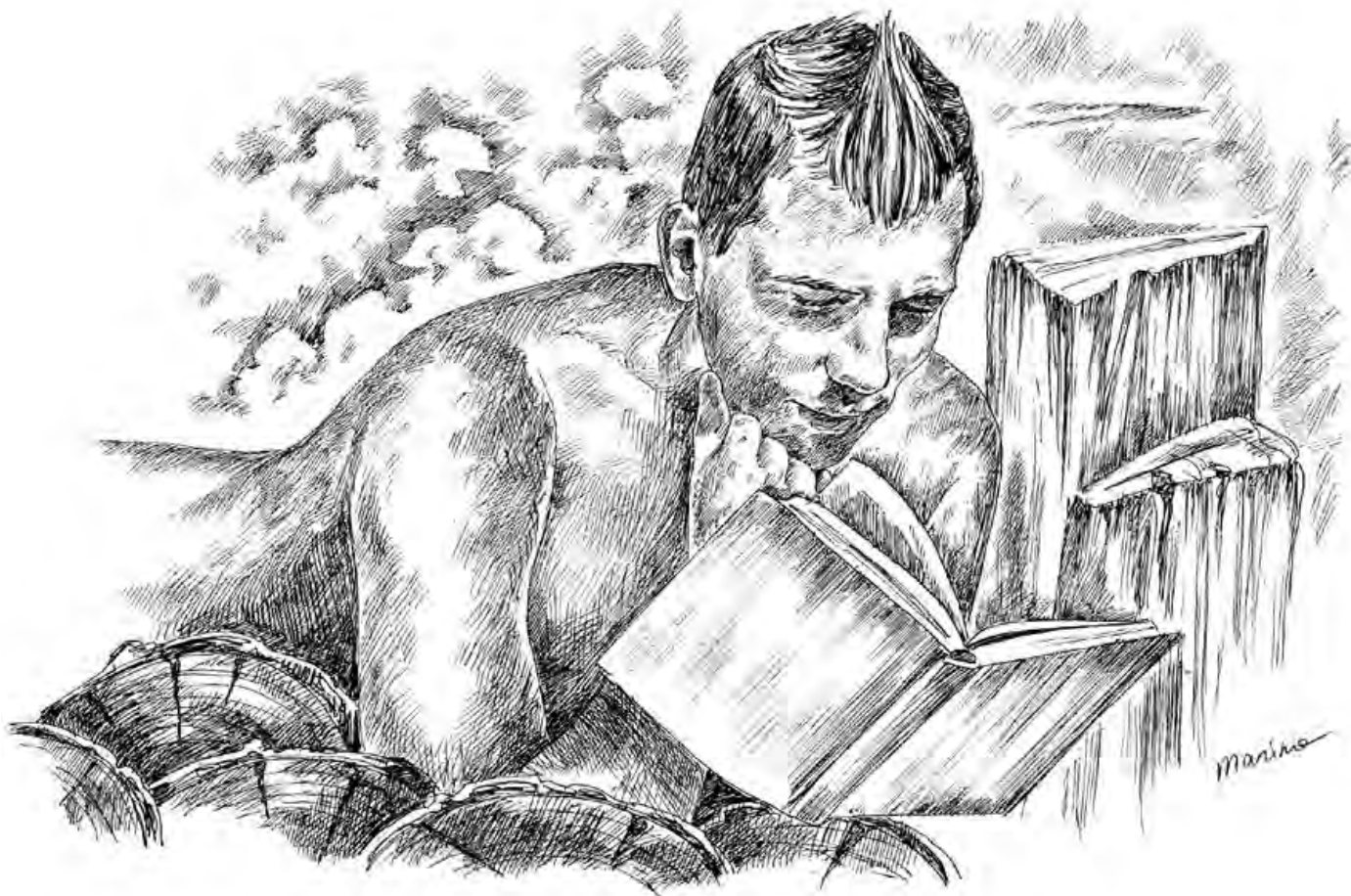
И исполнил сию неказистую роль Арнольд Якуповский, парень длинный, хотя не скажешь, что нескладный, с железной фиксой во рту, но без всякого хулиганского обаяния, грядущий историк, на год постарше нас, не очень-то замеченный в кропотливых трудах над историческими томами.

На укоры в этом нетрудолюбии он как бы отшучивался, что историю надо творить собственными руками, а все, что произойдет, изучают пусть новые, последующие поколения. И еще он высказывался в том духе, что новым людям подробное знание прошлого может идти во вред, потому что следовать старым примерам — а это очень часто и происходит — бывает вредоносно для будущих решительных перемен. Исторические примеры тормозят процесс развития, а не ускоряют.

Никто его речи всерьез не воспринимал, почти все подхихикивали над творцом истории, отрицавшим

ее существование, но, что удивительно, экзамены он сдавал свободно и особо преуспевал в иностранном, у него — английском языке. Он даже напевал, бывало, укладываясь, какие-то песенки по-английски, и мы, прислушиваясь к мелодии, находили ту или другую вполне симпатичной, просили Арнольда прибавить звука, и он демонстрировал недурные музыкальные способности, представляя нам неведомую культуру, в которой, конечно же, мы были ни бельмеса.

Порой, по настроению, Арнольд говорил, что обожает американский джаз, называл имена его основоположников — все негритянского происхождения, а мы знали из них одного Поля Робсона, — и однажды вынул, к всеобщему удивлению, из тумбочки целую коробку из-под пластинок. Но в коробке были не пластинки, а целый пласт рентгеновских снимков. Смеясь над нами — простофилями, да еще с журналистики, он показал на поверхности старых рентгенкартинок такие же, как на пластинках, круги. Но проиграть было не на чем, и на вопрос, откуда такие запасы, Арнольд, ничуть не смущаясь, пояснил, что прикупает это на Плотинке, по вечерам, когда менты теряют бдительность. Снимки



продаются, обмениваются и даже дарятся, если клиент демонстрирует увлеченность, поучал Арнольд, а на вопрос, кто это делает, пожимал плечами:

— Кто-то! Очень веселый!

Далее он совсем развязался, не устаивая хотя бы легкой опаской своих сокомнатников по общаге. Приносил и уносил целые пачки рентгеновских записей, все это в чемоданчике, какие были и у нас, а потом в сумке, похожей на полевую, только больше, почти что портфеле.

Мы присутствовали при сем и оставались лояльны к Якуповскому, который однажды сообщил, что имеет отношение к польской шляхте высоких кровей, отбывавшей ссылку в сибирских просторах еще со времен восстания 1863 года.

— И вот эту, — он подчеркнул слово «эту», — историю я знаю весьма хорошо. И на своей шкуре.

А далее, в течение недели, а то и поболее, мы могли наблюдать, как, приклеив в какой-то мастерской к старым лыжным ботинкам желтоватую каучуковую, сантиметра в три толщиной, подошву, добытыми где-то напильниками начал выпиливать рубцы по краям той толстой светлой подошвы.

Когда мы вечером вернулись из универа в нашу конуру, Арнольд сидел на краю кровати и яростно пилил. Клубилась пыль, которую он как будто радостно глотал, некороткие черные волосы его с пробором посередине нависли над лбом и глазами, а на носу висела потная капля.

Мы принялись комментировать увиденное в довольно шутовском стиле, на что сосед воскликнул:

— Не мешайте жить! У каждого своя история! Мне нужна эта!

И показал нам подошву, уже частично выпиленную, как зубцы обычной ручной пилы. Ботинки получались стильные, хотя сверху черные, а снизу белые. Вроде как обувной бутерброд. В конце концов Арнольд предстал перед нами в законченном виде.

Таким же весенним и светлым вечером он ждал нас во дворе неприветного нашего барака — явно чтобы погордиться, а может, и представить один из способов утверждения современной истории.

На нем висела цветастая рубашка с широкими рукавами, а брюки-дудочки, наоборот, обтягивали выпуклости не только сзади, но и спереди. На ногах же сияли ботинки с рифленой подошвой, которая выпирала во все стороны. Ноги смахивали, таким манером, на лягушачьи лапы.

Мы ахали, обходя его кругами, как невиданную скульптуру в парке, и Минибай спросил:

— А не надо подошву-то покрасить? В черный цвет! Под ботинок!

— Ты что-о-о-о! — взвыл потомок древних шляхтичей. Потом застонал: — Ну я говорю, они не врубаются в новейшую историю!

— Куда собрался-то, стилиста? — не унимался Минибай.

— Куда-куда! На Плотинку! — И он подошел к поленице, которая создавалась для новой зимы, и поднял свой портфель, прислоненный к вовсе не исторической реальности.

— Хелло, френды! — проговорил он напыщенно и скрылся по улице Щорса.

Что бы сказал ему, подумалось мне, красный командир? Но Щорс так ничего и не сказал. Ведь история — хоть и красноречивая, но молчаливая вещь. Совершенно при том непредсказуемая.

Арнольд вернулся за полночь, когда все остальные в комнате улеглись, но еще не спали, травил сто раз слышанные анекдоты, лениво, в полудреме похотывая. Дверь распахнулась, вспыхнул свет, и мы увидели Арнольда трясущимся, в рваной рубашке на голом теле и с пустыми руками. Что случилось — об этом не стоило спрашивать. Он и так без конца повторял:

— Проклятые комсомольцы! Проклятые комсомольцы!

— А ты чо, не комсомолец? — насмешливо спросил Минибай.

Арнольд ответил убито:

— А куда денешься?

И как был, в рваной своей одежде рухнул в кровать, успев сбросить свои драгоценные стилистические лапти.

11

И еще одна картинка тех времен — начала июня пятьдесят пятого года.

Французский позади, готовились по зарубежке, предстояло много и быстро начитать, я взял в общежитие Томаса Манна, кого-то еще, не упомяну, и «Седьмой крест» Анны Зегерс. Этот роман стоял в билетах отдельным вопросом.

Ребята засобирались в университет, а я заявил, что хочу почитать здесь, но в комнате было влажно, неприветливо, и я залез на поленицу дров во дворе, благо что она сложена широко, и, расстелив одеяло под спину, раскрыл книгу.

Сияло солнце, я скинул майку и штаны, никто меня не стеснял, никто не заглядывал на верх поленицы, и вдруг мне стало так хорошо, так сладостно жить!

Сара Христофоровна сняла с меня камень, и я задумался о себе. Мне подумалось, что хочу скорее закончить учебу, уехать на работу, писать, дежурить в газете, печататься, хоть многого еще не хватало, да

и не бросишь же ученье, едва отбарабанив два курса. Я положил «Седьмой крест» на лицо, чтобы не спало солнце. Спать не хотелось, но и не хотелось ни о чем думать. А у меня все-таки мелькнуло: что бы я отдал за то, чтобы все это разом, вот сию минуту кончилось? И сразу началось бы мое взрослое продолжение?

Каким оно будет? Чего мне хочется? Я этого ничегошеньки не знал. Но очень, очень, очень хотел — перебежать это поле поскорей! Чему-то бы выучиться! К кому-то прийти! Очень по-взрослому я понимал, что в этом будущем, которое в конце поля, меня не ждут радости и сладости. Но там ждали меня опыты с самим же собой и над самим собой.

И еще, лежа под книжкой по имени «Седьмой крест», крышечкой на лице, я представлял: вот придет же ко мне в этом грядущем времени полная и совершенная свобода! Должна прийти! Мне не нужно будет беспокоиться об экзаменах, о деньгах на еду, об обязанностях перед другими! И вот в один такой миг абсолютной свободы я лягу точно так же, как сейчас, на поленицу, и на мне не станет лежать «Седьмой крест» или иная какая нужная книга, а я просто стану глядеть в глубокое, бездонное, счастливое небо и постараюсь продлить это бесконечное счастье — до немыслимого беспредела!

Мне так хотелось свободно жить!

«Седьмой крест» был про немцев, приход фашизма и предательство немцами друг друга, когда любовь и родство даже превратились в прах. Роман потряс меня отчаянной безысходностью, о чем я поведал строгому профессору по фамилии Канторович едва ли не со слезами. Он растроганно вглядывался в мое лицо, отыскивая на нем что-то мне неясное, вздохнув, поставил пятерик, и безмятежный, счастливый, обнадеженный, я засобиравшись к родителям, чтобы, почитав всласть, повалявшись на стеганом одеяле под вишнями, позагорав со здешними дружками на неказистом пляже, вернуться назад в великий град, по-прежнему тяжело дышащий, гупко ухающий, громко звенящий.

Наступала вторая половина пятидесят пятого, и надвигался пятьдесят шестой.

ПОВЕСТЬ ПЯТАЯ

МЫ СРЕДИ ДРУГИХ

1

Сдал я на стипешку и следующую сессию, снова уехал домой на зимнюю побывку, в каникулы, ясное

дело, щеголяя по морозцу и в день возвращения вспыхнул, как огонь. Мама, прибежавшая с работы, поставила градусник, вызвала врача, а та — скорую помощь с носилками. И вот два амбала тащат меня по дворику на носилках, а я и смеюсь, и сержусь, и говорю маме с недоумением:

— Ну неужели я сам не дойду?

В городской больничке меня из носилок переставили под душ, не очень к тому же горячий, а когда я запротивился, две тетki громким криком разъяснили, это не душ, а дезобработка, и по стране еще гуляет тиф!

Вот тут мне стало плоховато, но уже не на носилках, а пехом меня провели в палату, полную народу, положили под тоненькое одеяльце, и я выпал в осадок. Потерял сознание. Вернула к нему врачиха с ваткой, намоченной нашатырным спиртом, а послушав стетоскопом грудь и спину, надолго исчезла.

Где-то во врачебном закулисье она утвердила мой диагноз — двустороннее крупозное воспаление легких, меня опять уложили на носилки и отнесли на рентген, где стоял, прижатый холодными пластинами, едва удерживаясь от странной морской качки.

Дело было молодое, но в тяжелом варианте, мама прибегала подкормить меня чем-нибудь домашним — а она не только захватывала свой госпитальный халат как медработник соседнего учреждения, но еще и каких-то начальников медицинских как-то включила. В общем, меня кололи и в задницу, и в руку, а температура все не падала, и я время от времени оказывался в неестественном сне, лучше сказать, забытье.

Несложно понять, что все происходящее меня не трогало, было до фени, вроде как и вовсе уже не существовало. Я и себя-то представлял с трудом — а был ли я-то на этом свете?

Похоже, пенициллин, излечивающий пневмонию, пребывал тогда в состоянии еще редкостном, и в коридорах громкими голосами глуховатых, что ли, медсестер, я слышал оценки своего состояния более чем откровенно.

— А где я тебе возьму! — кричала одна.

— Распоряжение главврача! — убеждала ее другая.

— Ну и неси сама! На складе-то нет!

И все-таки эти похожие белые тени, вступая в палату, торжественно, как какой-то приз, несли прямо перед собой шприцы на вытянутых руках, иглой вверх, и спасительно втыкали их в меня при молчаливом моем непротивлении. Вот когда я научился терпеть! Из таких болезней в те времена выбирались не просто долго. А мама, как выяснилось позже, выпрашивала у начмеда своего госпиталя несколько упаковок ценного препарата.

Я провел в больнице два полных месяца и совершенно отстал от действительности. Зато приехал сразу в другое общежитие, на Чапаева, опять героя революции, как третьекурсни́к, то есть студю́з, переваливший через экватор.

Но встречен был сдержанным малословием.

2

Что такое? Мои братишки-болтуны Минибай, Вовка Потников с пачкой открыток, где великое искусство мира, Яшка, Игорек Коробкин, Генка Шидрин говорили со мной вяло, сначала задумываясь про что-то, хотя историю моего отсутствия приняли сочувственно, но недоверчиво — с трудом принимая на веру, что можно провести в койке целых два месяца.

Я даже малость притих, удивляясь, — что за недоверие? Может, я на курорте каком расслаблялся? Я ведь и больничный привез!

В тот же вечер Минибай позвал меня посетить титанную — комнату, где вечно грелся огромный электрический бак и всегда можно нацедить чайник кипятка для любого из жильцов четырехэтажного, вполне себе пристойного, общежития. И поведал мне про события, которые пролетели надо мной.

В титанной было сумеречно — горела лишь лампочка в коридоре, — влажно и тепло, и Минибай, как и комсорг к тому ж, рассказал, что в начале марта в самом большом зале собрали по спискам всех партийных и комсомольцев. При входе стояли непонятные мужики и впускали по комсомольским билетам.

Потом вышел ректор и объявил, что будет зачитано закрытое письмо партии, но обсуждения не предполагается. Просто надо выслушать и принять к сведению.

— Читали, — повествовал он, — почти два часа в полной тишине, ни один стул не скрипнул. Потом все встали и молча вышли. Когда выходили, отметил он, все прятал глаза. Никто ни на кого не смотрел.

И дальше он стал сумбурно — не путаться невозможно — рассказывать, что говорилось в этом письме про Сталина, которое читает сейчас в закрытом порядке вся страна.

— А где же все они, суки, были? — негромко спросил я, подразумевая тех, кто послание сочинял. — Не верю я им!

Минибай откликнулся, подумав:

— Только не брякни это где-нибудь! В том-то и дело, что продолжение следует. Слушай дальше.

Наутро комсоров курсов и факультетов собрали на отдельное собрание и велели всякую студенческую болтовню и дурь гасить на корню. И тогда комсорги двух-трех старших курсов, да чуть ли и не хором, за-

явили, что хотят снять с себя полномочия, потому как народ бурлит, недоумевает и требует сходы. Там был почти весь партком, и тогда решили провести большое собрание, выпустить пар, но, как сказал какой-то взрослый умник, «в управляемом режиме».

И вот произошло это собрание. Комсомольский комитет попробовал о чем-то там отчитываться, но выскочил Черкинов с четвертого курса и взбаламутил все море. А потом его дружок Карпевич. Наконец, наш Джурка.

Все во мне начинало раскачиваться: тоже хотелось вскочить и крикнуть что-то несогласное, но я, во-первых, опоздал, а во-вторых, пока еще и не знал, что крикнуть-то.

Минибай будто чуял мою внутреннюю температуру.

— Они примерно то и кричали, что ты думаешь! Не верим! Почему нас тогда обманывали остальные? Кто управляет нашей страной! Почему Молотов, Ворошилов и кое-кто еще, известные соратники Сталина, молчат? Где они? Почему их не слышно!

— А Джурка? — спросил я.

— А он кричал, что не хочет жить по-старому, хочет по-новому! Что надо больше свободы молодым! Что в комсомоле царствуют тихони, и он не похож на комсомол, который делал революцию. Начальники оторвались от молодежи, не дают ей развернуться, проявить инициативу.

— Во дает! — пожимал я плечами. — И как это все понять? Чего вдруг сорвался?

— Да в том-то и дело, — негромко увещевал Минибай, — наоравшись, он ушел с собрания. Говорят, напился у себя на квартире, и Виннер — он же с ним! — говорит, что ждет, когда арестуют.

— Ну да! — восхитился я. — А за что?

— За болтовню! — ответил Минибай и проговорил, взяв с меня слово не проболтаться: — Меня уже вызывали кое-куда и сказали, что речь идет об исключении.

— Откуда?

— Из комсомола. А значит, из университета.

В титанную заскакивал народ, девчонки с чайниками ойкали, завидев в полутьме две наши полусогбенные тугами фигуры.

— Что касается комсомола, то я с ним согласен! — произнес я.

— И я тоже, — ответил Минибай. — Но что надо делать-то? Ты знаешь?

— Нет! Но где-то люди восстанавливают Сталинград, Белоруссию, Украину, — ответил я, — надо набраться терпения, закончить, тогда, глядишь, и нас куда-нибудь отправят.

Минибай кивнул.

— Я думаю, — ответил он, — Джурке так и надо объяснять свое поведение, когда начнется разборка. И еще. Ему придется извиниться. Публично притом. На собрании, похоже.

— Он не станет! — почти уверенно сказал я.

— Тогда и его тут не станет.

3

Учение казалось мученьем. Спокойных лекций не осталось. То кто-то, подняв руку, просился выйти. То, наоборот, зайти. Минибая вызывали, Джурка рисовал в тетрадке чертиков и чертовок, которые владели им, жил притаившись, будто успокаивался. А может, наоборот, раздувая в себе жар.

Увидев меня после болезни, не обрадовался мне, только констатировал:

— Пропустил, счастливцев!

Выходило, я умышленно выскочил то ли из-под троллейбусной шины, то ли из-под колеса истории.

— И чо ты раньше все помалкивал, — спросил я в ответ. — А тут взбеленился?

Пошутил вдобавок:

— Может, у тебя есть план реорганизации рабкринки?

Это, кто не ведает, рабоче-крестьянская инспекция, на такие темы спорили при Ленине, и мы конспектировали те давние споры для экзаменов.

Он смотрел сквозь меня и кивал головой, будто что-то кому-то возражал. Ясное дело, не мне.

Ну а уже исключенных из комсомола Олега Черкинова и Славку Карпевича публика жалела по-другому. Они не ходили на лекции, хотя никто их пока из университета не исключал, толкались в коридоре и почти никогда не были одиноки. Тут всегда вертелись жалостливые девчонки, тетя Дуся, как скоро стало известно, кормила их по кредитному листу, время от времени возле них стояли Борис Самуилович, как всегда с орденом на лацкане, или Зиновий Абрамович — они в основном убеждали протестантов идти в аудитории и продолжать учебу.

Но нет! Протестанты упирались спинами в стены, или сидели на широких подоконниках в торцах коридоров, или дымили сигаретами в туалетном аванзале, где люди могут мыть руки сразу из десяти кранов с ледяной водой.

Водили они хороводы и в общаге, случалось, на лестничных площадках, и тогда являлась комендантша, шептавшая:

— Ребята! Совесть имейте! Ступайте в комнаты и там трепитесь!

Чего-то она опасалась. А в комнатах и без всяких указаний шел треп. Кому это понадобилось, говорила

одна сторона диспутантов. Ленина он продолжил, троцкизм разрушил, индустриализацию завершил, войну выиграл с небывалым успехом, поразив мир, даже восстановления почти что завершил!

Другая сторона вскипала, что хоть Ленина он славословил, зато Крупскую, оказывается, отшивал, всю Красную армию обезглавил, перед самой войной, с Гитлером пакт заключил, ленинские кадры рассовал по разным лагерям, культ свой вознес до небес, что же касаемо троцкизма, то и здесь еще не все понятно — шла борьба за власть, вот и все!

Черкинов рассказывал, что его отца, секретаря райкома с Алтая, упекли в Магадан по 58-й статье, и он, его сын, до сих пор не знает, жив ли батя. Да и студентом он стал потому, что мать разошлась с отцом еще до войны, и Черкинову дали ее фамилию, к тому же они уехали в Казахстан, отцовские знакомства вроде оборвались, а в Казахстане он заслужил золотую медаль к аттестату. Ничего не попробовав лично, Черкинов откуда-то знал тучу историй про НКВД, ночные аресты, расправы судебных троек, рвы с расстрелянными, которые не могли быть врагами народа, потому что и были сам народ.

Карпевич жил на частной квартире, и тот же Черкинов без конца цитировал его рассказы, слышанные по какому-то иностранному радио. Вслед за Карпевичем он вопрошал: почему все это не говорят и у нас? А раз не говорят, значит, скрывают!

Мы сживали как какие-то, может быть, цапли, на кроватях, по трое-четверо, даже жались друг к другу, зато хозяин койки мог возлечь, вещая, и, грубо говоря, хлопала ушами, хотя цапли не имеют видимых ушей.

Черкинов порой блистал, выдавал почти афоризмы. И хотя потом они оказывались общеизвестными прописями, произнесенными для многих сразу, отзывались в наших сердцах чистым, хотя и не во всем признаваемым, сочувствием.

Например, он не говорил, а возжигался такими посылками:

— Правда не может быть неправдой. Она может быть неудобной, но от этого она не становится неправдой!

Или что-то вроде такого:

— Завтра — что это такое? Будущее — или будет! Или его не будет!

Еще излагал идею отсутствующего тут Карпевича:

— Москва не знает, что происходит на Урале! Нас исключили из комсомола! За что? За то, что мы поддерживаем закрытое письмо? Концы с концами не сходятся!

Из девчачьих комнат с нами почти всегда — или очень часто! — сидела Нинка Тимохина. Была она опрятная, чистенькая, круглолицая, неулыбчивая, и оттого,

похоже, носила на себе ношу, для девчонки вроде непосильную. Тимохина была секретарем комсомольской организации всего отделения журналистики. Не то чтобы мы ее побаивались, но ее плакатный положительный образ требовал почтения, что ли, уважения неизвестно за что, частичной робости и почти полного нежелания с ней долгого общения.

Говорили так: «Привет!» — «Привет!» — «Здравствуй!» — «До свиданья!» Да и всё! Это бедняге Минибаю приходилось с ней беседовать, сдавая ведомости и членские взносы за весь курс, а остальным такое сближение не требовалось.

Но вот, сидя на чьей-то мальчишечьей койке и, помнится, отдельно, а не плечом к плечу с нашим братом, она вдруг явила неожиданную отвагу.

— Парни! — проговорила она. — Мы все запутались! И в спорах про Сталина можем потерять наших товарищей. А пусть Черкинов и Карпевич поедут в Москву. И расскажут всю правду о сложившейся обстановке.

Потом конкретизировала дело:

— Давайте скинемся им на дорогу!

Не то чтобы стон, но глубокий выдох прокатился по комнате. Не такие уж были мы недоумки, плохо оценивающие окружающую действительность. И несложно было сообразить — это форма протеста. Против чего или кого, пока непонятно, но уже возникало общее дело. Про общее дело толковали декабристы, Чернышевский. Ну, они противились царизму, а мы кому?

Однако времена переменялись! И теперь предлагает собрать деньги не кто-нибудь, а комсомольский секретарь. С плаката сошедшая, вполне себе умная и отважная девчонка! Как тут увильнешь?

Сборщиком вызвался стать Борис Рябиков, с которым мы прорывались в ученье. Что ж, это была толковая идея! Тимохина загоралась все более и более.

— Если чего, — сказала, поднимаясь, — валите на меня! Семь бед — один ответ! И так всех кошек на меня вешают!

Собирали и собирали — быстро. Розовощекий козлик Рябиков набрал на этом невиданный авторитет: он уже не сучил ножками, не лыбился робкой улыбкой, даруемой всем подряд, а стягивал, хмурия их, свои белесые бровки, слегка вниз оттопыривал подбородок и каким-то неясным образом сжимал губки почти в одну плоскость, лишь через раз отвечая на многообразные вопросы.

Естественно, и не раз, и не два Джурке задавался вопрос: а ты с ними не желаешь? Ты же третий! И для нас оставалось великой тайной, что он не просто отмахивался при почти всяких вопросах, но и молчал, как партизан.

Часто удалялся с лекций, и его никто не требовал к ответу. Обедать у тети Дуси в нашей теплой компании почти перестал. Некоторые знатоки окружающей среды не раз фиксировали, что он идет куда-то по улице с Аленкой Грачевой — была такая розовощекая второкурсница-филологичка с русыми косичками — по совместительству дочка профессора Алексея Ивановича Грачева, профессора кафедры русской литературы. Боба Виннер, наш третий по комнатухе Анапы, мельком сообщил мне, что Джурка стал не всегда ночевать, хотя за жилье платит исправно, но я не обратил на то никакого внимания: мало ли кто и где ночует?

4

Между прочим, на отделении — именно так! — появилось и автономно существовало местечко, к образованию которого моя персона, как постепенно выяснилось, имела прямое отношение. Сначала объявился факультатив под названием «Фоторепортаж», но, главное-то, сделали учебную фотолабораторию, которую возглавил хитрован по имени Иван Иванович. Он всегда ходил в синем халате, достаточно вместительное помещение, отданное ему, имело четыре отдельные лаборатории, одинаково оснащенные фотоувеличителями для узкой пленки, красными фонарями, ванночками для печати и проявочными бачками.

Иван Иванович откуда-то знал про мое письмо и обзоры в «Советском фото», впускал меня для моих фототехнических надобностей любовно и безотказно, и я, бывало, часами сидел в этих темницах — то проявляя, то печатая, а потом представляя общественности мои скромные рукоделия.

Такая прелестная предпосылка для последующего тайного события как бы явилась сама собой, когда я, побыв свидетелем и даже соучастником неуспокаивающегося беспокойства, однажды спросил Минибай, окружающее сообщество и самого себя: «А ведь один я из всех тутошних не слышал закрытого письма!» Можно с ним ознакомиться?

Осторожный Минибай сперва перепугался, потом, поразмыслив, передал мой запрос завкафедрой партийной и советской печати Борису Самуиловичу, и в следующую же переменку тот подошел ко мне, похвалил мой ответственный интерес к жизни страны и сообщил, что до шести вечера я могу прийти в общий отдел райкома комсомола. Надо только не забыть комсомольский билет.

Робел ли я, отправляясь в райком? И на какого рожна мне это сперлось? Сказать по совести, я и сам не знал. Но бывают в жизни отдельных людей, в частности у меня, такие мгновения, когда идея, которую бы сна-

чала-то лучше обдумать, мысль, а то и простое словцо, вдруг бесконтрольно вырываются из тебя помимо всякой осторожности, и далее они вовлекают в какой-то круговорот, требуя продолжения и даже исполнения сказанного. Даже, кое-когда, вызывают к совести или, простите за высокопарное выражение, к чести.

Однако кто это был такой — уральский студент-тишка, из себя ничего не представляющий? Начитался стихов, восхваляющих вожда? Но разве поэты не восхваляют каждого правителя, чтобы добиться расположения и, несомненно, преимуществ — с самых древних еще эпох, а мы уже прошли курс античной литературы!

Ну и вообще-то! Если все, хоть и шатко-валко, куда-то же движется, да и вперед, к будущему, — не надо о всей стране и народе!

Раз вы не в силах ничего переменить, так плывите по этой широкой и глубокой реке, называемой жизнью! И гребите! Но не к берегу, а вперед!

Так я осаживал, уговаривал, примирял себя с действительностью, а сам, в совершенном одиночестве, шел к известному зданию райкома, где мы однажды отбивали от кого-то неведомого нашу верную тетю Дюсю.

И все возвращался почему-то мыслями к тому пожилому дядьке, Федору Тимофеевичу, который нас спросил:

— А что вы думаете о Сталине?

Почему он тогда спросил об этом нас? Да что мы думали? Великий вождь и учитель — так полагалось откликаться на такие вопросы два года назад. А теперь? Что бы сказал нам о Сталине этот симпатичный человек? Впрочем, он ведь и тогда — спрашивая, не возражал, но и не говорил.

Да и что там в этом, отчего-то закрытом от всех, кроме коммунистов и комсомольцев, письме?

Я отворил дверь в общий отдел райкома, показал комсомольский билет, тетенька неопределенного возраста, но уж далеко и не комсомолка, вписала мои данные в бухгалтерскую книгу, велела расписаться, а потом открыла сейф и дала мне тоненькую книжицу в красной корочке с устрашающим грифом «Секретно». Предупредила:

— Записи делать нельзя, читать только здесь. — И указала место за ничейным, видать, столиком у окна.

Пришлось читать вскоростную, а то пришлось бы конспектировать, и это запрещалось, но многие имена и факты я узнавал впервые, и это приходилось закладывать в закрома, хоть и молодой, но не безграничной памяти, на потом, дальше, спотыкаясь о них в газетах, журналах или простых разговорах, приближать их к

себе, вспоминать, где узнал об этом впервые. И — не зная, что с этим делать!

Тетенька, управляющая «общим» отделом, не проявляла излишней бдительности, верила мне, рядовому комсомольцу, правда, с именем и номером билета, вписанным в журнал, а потому все куда-то выходила. Правда, быстро возвращаясь, отрывисто отвечала на телефонные звонки, а я, спотыкаясь, брел по историческому документу, по лесу, заросшему густым кустарником, приходилось продираться сквозь собственные незнания. Когда дошел до последней странички, дверь растворилась, и в ее проеме я увидел того самого Се-рафима Юрьевича. Имя и отчество, надо заметить, вернула в мою голову здешняя тетенька: по телефону она то и дело поминала его.

Он поглядел на меня, приспустив очки, рассмеялся незлобиво:

— Редко, редко забредаете, товарищи студенты!

А разглядев, чем я занят, прибавил:

— Да и по случаям-то все чрезвычайным!

Я встал, не знал, что ответить, и вообще, что я должен делать, кроме как улыбаться. Он еще глянул на стол, увидел, что передо мною последняя страничка, и проговорил:

— О! Ты уже на финише. Ну загляни, как закончишь! На минуту! Дело есть.

И исчез. Мне бы тут и сдать секретную брошюру, а я, наоборот, впился глазами в последнюю страничку. И глазам своим не поверил.

На столе, за которым сидел, лежало несколько листов бумаги и пластмассовый стаканчик с карандашами. Тетка вышла, и я, подсунув лист под брошюру, принялся лихорадочно списывать самый что ни на есть конец этого секретного сообщения.

Но ведь он как будто бы все отрицал, этот самый финиш — вот что я понимал! Все тут оказывалось наоборот. Я лихорадочно соображал: как это понимать? Почему такое завершение такого тяжкого обвинения? Ведь оно почти все извиняет.

Я перечитал два длинных, вполне официальных, может быть, даже торжественных абзаца, а тетки все не было. Что-то случилось, какое-то произошло послабление в системе, может, только моих личных координат. Учение утверждают, что такое случается.

И я переписал, не ленись и не страшась, огромную и, как мне показалось, не совпадающую ни с чем цитату:

«Бесспорно, что в прошлом Сталин имел большие заслуги перед партией, рабочим классом и перед международным рабочим движением. Вопрос осложняется тем, что все то, о чем говорилось выше, было совершенно при Сталине, под его руководством, с его согласия.

Причем он был убежден, что это необходимо для защиты интересов трудящихся от происков врагов и нападок империалистического лагеря. Все это рассматривалось им с позиций защиты интересов рабочего класса, интересов трудового народа, интересов победы социа-

лизма и коммунизма. Нельзя сказать, что это действия самодура. Он считал, что так нужно делать в интересах партии, трудящихся, в интересах защиты завоеваний революции. В этом — истинная трагедия».

Полная амнистия!

Продолжение следует.



ШМЕЛЕВСКИЙ КОНКУРС

ОТ РЕДАКЦИИ

«Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..

Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.

Только отпахнешь дверь — и хлынет в зашуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшейся в лесных щелях, сорвавшейся с лугов, от Яйлы. Это — последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.

Милое утро, здравствуй!»

Вот перед нами шмелевский слог. Пропадаеть в этом слоге моментально и навсегда. Дожила Россия и до Шмелевского конкурса. Несколько номеров будем длить мы публикацию работ его



победителей. А участвует в конкурсе поколение молодое и совсем не такое, каким бы его хотели видеть нынешние представители власти, буквально помешанные на создании «общества грамотных потребителей». Они явно видят страну в образе супермаркета, ошметиненного «сервисами» для этих самых «грамотных потребителей», если и грамотных в чем-то, то в том, на какую кнопку им нажать. Участники Шмелевского конкурса построят иную страну — свою Россию. Будет в ней место и писательскому труду.

Сегодня вы встретитесь с творчеством самых юных участников Шмелевского конкурса. Напутственное слово — поэта, преподавателя Литературного института имени А. М. Горького Сергея Арутюнова.

В ЧЕМ-ТО И НЕ ПО-ДЕТСКИ МУДРЫЕ РАБОТЫ

Возрождение православия в современной России — процесс сложный и отчасти болезненный.

За годы — нет, не безверия: верили «в себя», в наступление бесклассового и бескассового коммунизма! — а «УМОЛЧАНИЯ О ХРИСТЕ» люди отвыкли от основного и определяющего — Церкви, приходской жизни, порой монотонных, но примиряющих с жестокостью бытия процедур — служб, постов, причастий и исповедей, крестных ходов... Многие сегодня считают, что вера пробует заместить коммунистическую идеологию, сделаться своеобразным средством властного контроля над обществом. Неудивительно: в советские годы идеология именно так и поступала. Христос тогда для интеллигенции превратился в фигуру почти исключительно литературную и лишь отчасти этическую, для народа стал чем-то вроде светлого отблеска на фоне бесконечных десятилетий голода и лишений... Кто же Он — для поколения нового?

Издательский совет Русской православной церкви уже в течение четырех лет проводит Международный детско-юношеский литературный конкурс «Лето Господне» имени Ивана Шмелева, «замеряя» на практике, насколько близка вера в Него уже не нам, а нашим детям. В четвертый раз — сезон 2017/2018 года — мы, организаторы, получаем более 1000 работ со всех концов России и русского зарубежья, видя, как дети размышляют не только о Христе, но и о том, что такое, собственно, вера и верность, совесть и честь, долг и отвага — понятия, о которых в нашей современной литературе предпочитают умалчивать так же, как когда-то о Нем.

Смею полагать, что читатели «Юности» будут изумлены тому, как органически близок Иисус, его духовная оптика тем, кто только вступает в жизнь. Прочтите эти детские, в чем-то наивные, но в чем-то и не по-детски мудрые работы и сделайте выводы сами.

Сергей Арутюнов



Дарья МАЛЕЙКОВИЧ

ЗЕМЛЯ НАША НАМОЛЕННАЯ

Дома не было. Был яблоневый сад. Старенький, он представлялся мне моим прадедом, который не вернулся с Великой войны. Под черно-коричневой антоновкой — скамеечка, тоже черно-коричневая — старенькая. Я прихожу сюда с бабушкой вечером, когда переделаны все домашние дела, а солнце еще только-только направилось к горизонту, и в его закате столько покоя и тишины, что хочется просто молчать и смотреть... Мы молчим. Бабушка вздыхает, значит, о чем-то вспомнила.

— Бабушка, милая, расскажи мне быть.

«Быть» на нашем с бабушкой языке значит «то, что было на самом деле».

— Холодной была осень 1915 года, тяжелой. Шла Первая мировая война. В сентябре пришли сюда германские войска. В лесу стояли русские войска, на другом берегу Немана — германские. Все стреляли, стреляли. Горела наша земля. А мы тревожились за монастырь. Много веков защищал он нас, много бед перенес. Сказывают, когда шли сюда татары, чтобы покорить и разорить монастырь, то увидели они на монастырском дворе многочисленную отборную конницу и в страхе бежали, хотя в ту минуту двор был пуст. Да как же было не произойти такому чуду — нетленные мощи преподобного Елисея прогнали татар от монастыря! Благодаря этому событию на Соборе в Вильно Елисей был канонизирован и записан в Святцы как Преподобный и Лавришевский.

Бабушка замолчала. Может быть, она слышала дикие крики врагов, наводившие страх на людей в XVI веке, или свист пуль в XX, или звон колоколов в XXI.

* * *

Великий князь Владимир в год крещения Руси отправил епископа Леонтия в землю ятвягов — нашу землю — для проповеди слова Божия.

В XII веке в Новогрудке построен православный храм и основан один из самых древних монастырей моей родной земли, который вскоре стал оплотом православия и центром летописания. Позже здесь написано «Лавришевское Евангелие» — выдающийся памятник белорусского книгописания. Основателем и первым архимандритом стал сын литовского князя Тройната Елисей. При великокняжеском дворе Елисей занимал важную должность, но покинул двор и поселился в пустынном месте около Немана. Преподобный Елисей принял в число братии и князя Войшалка, сына великого князя Миндовга. Миндовг вместе с боярами принял Святое Крещение по православному обряду. Трагична судьба Елисея: его убил бесноватый юноша, который потом исцелился, прикоснувшись к мощам преподобного Елисея. Долгие годы приходили сюда люди за исцелением, многие его получали. Позже монастырь был разорен, но мощи преподобного Елисея и монастырские ценности были сокрыты в землю и до сих пор не найдены. Спустя столетия священномученик Митрофан, архиепископ Минский и Туровский, говорил о том, что для многих этот монастырь неизвестен, а когда-то здесь была лавра, отмечал особенную благодатность этого уголка земли нашей, верил, что монастырь будет, хотя и не богатый, но народом любимый...

* * *

— Бабушка, что же случилось в Первую мировую войну? — очнулась я от своих раздумий.

— Что было, милая? — Бабушка горько улыбнулась. — Беда была. Загорелась монастырская церковь. Наверное, снаряд попал. Пламя бушевало до небес. Сельчане ничего не могли сделать: шел бой. Стояли, смотрели, плакали, молили Бога о чуде. А поздно ночью в наш дом постучали: «Хозяйка, открой, не бойся». Мама отперла дверь, за порогом стоял русский солдат. Он шатался от усталости, держался рукой за сердце. Но не сердце свое успокаивал старый солдат — под шинелью на груди он прятал икону Пресвятой Богородицы. «Хозяйка, возьми икону эту. Я из горящего храма ее вынес. Руки вот обгорели... Спрячь. Сбереги. А настанет время — отнеси обратно в монастырь. Слышь, хозяйка, не бойся, сбереги».

Голос бабушки дрогнул. По лицу ее катились тихие слезы. Я гладила и целовала дрожащие бабушкины руки и жалела, что ничем не могу ее утешить.

— Помнишь, внученька, иконку Пресвятой Богородицы в монастырском храме? Мы с тобой всегда к ней прикладываемся. Она и есть. Девяносто пять лет хранилась в нашем доме. Берегла нас, спасала, служила нам утешением. Когда в 1939 году безбожники учиняли злодеяния, мы с крестным ходом обошли нашу деревню, и не посмели нас тронуть. А родители соседки, бабушки Марии, долгие годы прятали на своем сеновале крест, сброшенный новой властью с храма. Люди были запуганы: ведь ничего не стоило бандитам и убить, и дом поджечь. Однажды особенно лютовали активисты, с обыском врывались в каждый дом. А что искали? Отец бабушки Марии взял свою гармошку, сел на сено, под которым крест лежал, да и стал их гимн петь. Посмеялись над стариком — а он крест спас. Страшное было время, не знали люди, что творили. Одни — спасали, рисковали жизнью, другие — предавали, чтобы выжить. Предавали веру, Спасителя.

Я поднялась со скамейки. Солнце уже ниже склонилось к горизонту, Неман задумчиво бежал вдаль, за Неманом золотился купол храма.

— А я никак не могла понять, отчего мне особенно радостно молиться у иконы Пресвятой Богородицы. Все казалось, что где-то раньше ее видела. Так это ты отнесла ее в монастырь?

— Пусть утешает она всех добрых людей, — улыбается бабушка. — А как-то по весне, лет пять назад, приехали к нам люди незнакомые. Спрашивали об иконе. Это были внуки того солдата, из Ульяновска приехали. А я, старая, растерялась, даже имени его не спросила. Они, значит, помнили. Вот как бывает, внученька.

Память... Девяносто пять лет хранить икону... Девяносто пять лет смотрели глаза Пресвятой Богородицы на всех, кто рождался, жил, помирал в этом доме. И нельзя было перед этими глазами ни слукавить, ни предать. Маме моей бабушки было тогда столько лет, сколько мне теперь. За целый век ничего особенного и не жили. Слава Богу, дети хорошие, внуков бабушка воспитывает в традициях православной веры. А самое дорогое, бесценное богатство в своей жизни моя семья отдала другим людям, чтобы они стали духовно богаче.

* * *

Я знаю: страдали за веру нашу не только храмы, но и люди. Более тридцати лет тому установлен у нас праздник — Собор белорусских святых. Много было их, убитых, замученных, расстрелянных за веру. До глубины души потрясла меня судьба протоиерея Николая Недведского. Ни в горе, ни в радости он не оставлял своих прихожан. Наступили 1930-е годы, менялась страна, изменились люди, но батюшка стремился поддерживать веру в душах людей. В сентябре 1939 года бандиты схватили священника, долго над ним издевались. Они были хуже фашистов: заставили отца Николая встать на четвереньки и по очереди «ехали» на нем верхом, привязывали к лошади и таскали по земле, перебили суставы на руках и ногах, выкололи глаза, заставили копать себе могилу... Его жена матушка Вера ходила по деревням и спрашивала, не видел ли кто, куда повели батюшку. Люди прятали глаза. Тело священника нашли деревенские дети. Убийц настигла кара Господня: кто утонул, кто повесился, кого конь растоптал, внучка одного из них родилась слепой... Деревня эта постепенно вымирает, кладбище запущено. Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. А могилку отца Николая убирают священнослужители.

— Бабушка, почему прихожане не спасли своего пастыря? Ведь он их любил, помогал, куском хлеба делился. Школу для их детей устроил, за больных молился. Надо было бежать в тот страшный подвал всем сельчанам, вытащить, на руках нести батюшку домой и лечить, молиться за него, как он молился за них.

Бабушка тихо проговорила:

— Смерть — не самое страшное. Страшно, когда тебя оставили все, кого ты любил, кому помогал и служил. А еще страшнее — душевная скорбь и боль. Батюшка все время молился, уповая на Господа, потому что знал: каждому Господь уготовал свой путь ко спасению. Читая ежедневно Евангелие, стараясь подражать Господу Иисусу Христу, отец Николай предавал себя воле Божией.

* * *

Моя добрая, мудрая бабушка, спасибо тебе, родная, что, сама того не зная, помогла мне понять самое главное. За короткое время земной жизни мы зарабатываем себе Вечность. И у каждого свой путь. «Входите тесными вратами», — предупреждает нас Господь и Спаситель. В Царствие Божие ведет один, тесный путь, ворота узки, и человеку нужно смирить свое эгоистическое «я», смириться и уничтожить себя, следовать воле Божией. Это трудный путь. Немногие входят тесными вратами...

Свой путь был у русского солдата с иконой у сердца, у протоиерея Николая Недведского, совершившего мученический подвиг — восхождение к Богу через жуткие страдания, у моей бабушки, свято хранящей веру, передающей веру из поколения в поколение.

Дорога к храму есть и у меня. Я помню, как меня, совсем маленькую, мама несла на руках по мосту через Неман в монастырь на службу. Теперь я приезжаю сюда с друзьями не только по праздникам, но и в будние дни, чтобы помочь. Как только начиналось строительство монастыря, мы почти всей школой — взрослые и дети — поехали оказать посильную помощь. Помню, как пропалывали лес: нужно было подготовить площадку для постройки, и мы вырывали сорняки между вековыми соснами, такими высокими, что голова кружилась, когда смотрели на их верхушки. Радовались всему и ничуть не устали. И сегодня ощущаю ту атмосферу доброты, умиротворенности. Как нас похвалил и поблагодарил отец Евсевий за небольшой участок сделанной работы!

Как мы были горды! Каким вкусным, мягким, горячим был монастырский хлеб, что испекли для нас!

А совсем недавно ребята из летнего лагеря, который каждое лето открывается при монастыре, участвовали в археологических раскопках. Было найдено много интересных вещей: монеты, даже два саркофага, в которых, предполагают специалисты, были захоронены лица, имеющие высокое значение для монастыря и оставившие след в истории страны.

Как в былые времена, монастырь сегодня является оплотом православия. Сюда приезжают издалека, приходят из соседних деревень. И каждому здесь есть место. Благодаря монастырю возродилась и деревня на берегу Немана — сюда приезжают из городов, покупают дома, живут. Может быть, и наш старый яблоневый сад повеселеет от детских голосов.

Здесь непрестанно совершается молитва, верующие чувствуют заступничество преподобного Елисея. Моя бабушка называет землю нашу намоленной. С каждым днем монастырь становится лучше и красивее. Всем миром собирали деньги на памятник святому земли нашей. Сколько труда здесь вложено! Настоятель монастыря отец Евсевий получил награду от президента нашей страны — премию «За духовное возрождение».

Как много пришлось претерпеть земле этой намоленной, чтобы началось духовное возрождение! Благодарю Тебя, Господи, за великую милость, которую Ты посылаешь моей любимой родине. И за яблоневый сад, в котором обязательно будет новый дом.

г. Негневичи, Новогрудский район,
Гродненская область, Республика Беларусь





Михаил СОРОКИН

ЗАПИСКИ МАЛЬЧИКА ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Я родился в многодетной семье. Первым событием стало мое крещение, что послужило началом моего жизненного пути.

Первое воспоминание отложилось в моей памяти, когда мне был год. Тогда был мой день рождения, и я помню торт с одной-единственной свечкой.

Каждое воскресенье до семи лет нас причащали в храме. Раньше после причастия был водосвятный молебен, и мне очень нравилось, когда батюшка кропил всех святой водой. Мне хотелось, чтобы на меня попало как можно больше воды. Помню чувство ликующей радости и то, что вместо «батюшка», я говорил «батюшак».

Каждое лето мы ездили с родителями в поселок Тангуй, где родители снимали домик, и жили там по месяцу. У нас была черная «Волга» и прицеп, нагруженный нашими велосипедами и велосипедиками. Привозили туда надувной бассейн, где очень любили бултыхаться, пока однажды мой старший брат, шестилетний Арсений, не затащил в него велосипед, чтобы помыть. Конечно, бассейн лопнул. Родители смогли купить новый только через два года. Тогда мы уже снимали другой домик у леса, а за лесополосой была река Тангуйка. Мне было года, наверное, четыре, а второму брату Пете шел шестой год. Арсений и десятилетняя сестра Настя катались на велосипеде до речки, а Петруша бегал за ними. И вдруг он потерялся. Я, мама, Арсений и Настя побежали в лес его искать, но его нигде не было. Мама сказала встать всем на колени и молиться, чтобы Петя нашелся. Мне так стало жалко Петю, что я горько зарыдал. Потом мы вернулись в домик, и мама побежала к хозяевам просить о помощи. Когда мама возвратилась от хозяев и подошла к калитке, то увидела идущего к

дому Петю, он всхлипывал. На вопрос мамы, как он вышел из лесу, брат ответил: «С Божией помощью. Сначала я испугался, что заблудился, и стал читать молитвы, которые знал: “Отче наш”, “Царю Небесный”, “Верую”, “Богородицу”, и вышел на дорогу».

Петя у нас — самый умный из братьев. Когда мы летом ездили к бабушке с дедушкой на дачу из города, в машине мама читала всем рассказы по истории для маленьких детей, а потом устраивала викторину, кто ответит на большее число вопросов. Пятилетний Петя всех удивлял правильными ответами. А потом дома экзаменовал гостей. Садился на стульчик напротив и ставил в тупик взрослых вопросами: «Кто был первый князь на Руси?», «В какой реке князь Владимир крестил киевлян?», «Какие казни придумала княгиня древлянам?» и другие. В шестом классе Петя стал призером городской олимпиады по истории за седьмой класс. А на всех семейных праздниках Петя у нас был главным артистом: он исполнял казачьи песни и читал стихи лучше всех. А позже побеждал на городских конкурсах стихов, пока у него не стал меняться голос.

В нашей семье единственная сестра — Настя, мы ее очень любим и всегда ждем с нетерпением, когда она приезжает из Иркутска на каникулы. Она учится на втором курсе педагогического института и всегда привозит нам подарки: машинки, сладости и большую радость. Она очень веселая. С папиным чувством юмора. Мы любим вечерами собираться на кухне пить чай, рассказывать что-нибудь смешное и хохотать. Настя еще печет очень вкусные тортики. Когда она была старшеклассницей, ее провожал из гимназии до дома Гриша (он на год раньше Насти окончил гимназию), они разговаривали в подъезде, а мы наряжали маленького

Матвея в большие сапоги, большую шапку и отправляли к ним в подъезд. Матвей выходил и говорил: «Настя, где твой Глиса?» Нас это очень забавляло, а Настя не очень сердилась на нас. Когда она была маленькой, девочка-одноклассница сказала, что у нее слишком много младших братьев, и Настя стала нас стесняться, говорила дедушке: «Не встречай меня из школы с мальчиками». Мама узнала об этом и сказала: «Откуда ты знаешь, как сложится твоя жизнь. Может, твои братья младшие будут тебе в старости помогать, как помогает бабе Дусе ее младшая сестра баба Эля, хотя та в детстве не хотела ее никуда с собой брать». И когда к нам приезжало телевидение в 2014 году (так как мы победили в конкурсе «Почетная семья города Братска»), она сказала журналистам, что гордится, что у нее четыре брата.

Моему старшему брату сейчас Арсению шестнадцать лет, он учится в десятом классе. Его любимое дело — резьба по дереву. Он не знает, кем ему стать: резчиком, учителем технологии или архитектором. В детстве он у нас был главный казак. Мы все время играли в богатырей и казаков. Матвейка еще тогда не родился, и Арсений огорчался: «Эх, мало нас, казаков, было бы хотя бы десять, а то нас только трое...» А когда появился Матвей, Арсений был рад больше всех, и до сих пор ему нравится играть с Матвейкой и смешить его.

Матвей — главный любимец в семье, правда, иногда ему достается от старших братьев, в частности от меня. Но он никогда не сердится, потому что самый добрый из нас. Когда он был совсем маленький, мы усаживались напротив него на полу в зале и каждый звал его к себе, и он почти всегда выбирал Петю. А на даче годика в два-три он любил вечером уходить за домик и громко петь «Царица моя Преплагая». Сейчас ему девять лет, и он мечтает стать начальником поезда, так как дважды мы всей семьей ездили из Братска в Ейск на поезде пять суток через всю страну. Эта долгая поездка всех утомляла, кроме Матвейки. В свободное время он делает презентации про поезда и вокзалы, находит разную информацию, документальные фильмы о поездах и мечтает прокатиться хотя бы на электричке до Вихоревки...

Мне немного страшно бывает оставаться вечером одному в комнате, и Матвейка успокаивает меня словами: «Не бойся, Миша, с тобой же Господь!»

Мне нравится жить в многодетной семье, хотя иногда мы с братьями ссоримся. Но зато нам никогда не бывает скучно, как моим друзьям, которые растут в семье по одному.

Я очень люблю свою семью и хочу, чтобы все жили в мире и ничего не боялись, потому что с нами Господь!

г. Братск, Иркутская область





Мария СЕЛИНА

НОВОМУЧЕНИКИ — ОПОРА ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

*Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына;
и восстанут дети на родителей, и умертвят их;
и будете ненавидимы всеми за имя Мое;
претерпевший же до конца спасется.
(Св. Евангелие от Матфея, 10:21, 22)*

Меня зовут Мария. Когда я пошла в первый класс, я стала посещать воскресную школу. Для меня очень дорого время, которое я провожу там. Я с трепетом в сердце стою под сводами нашего храма. Мы с мамой всегда заказываем молебны о здравии наших родных. Я и сама часто пишу записочки о здравии и спасении своей семьи, указывая каждого.

Несколько лет назад в записках об упокоении я указала свою прабабушку — бабушку моей мамы. Но оказалось, что она была некрещеная, и за нее нельзя подавать записки. Мне было очень больно. Я, конечно, всегда упоминаю ее в своих молитвах, но я бы хотела, чтобы о ней помолились именно в храме во время службы. Я стала задавать вопросы и интересоваться: как же так? Почему? Почему добрейший и любимейший нами человек оказался некрещеным? Почему в записках об упокоении я указываю только своего прадеда и его родителей, которые были родом с Украины? Где остальные? Мне батюшка однажды сказал, что за некрещеных умерших родственников можно подать записки только в одном храме, и находится он в Москве. Это храм мученика Уара. С тех пор моя мечта — посетить Москву. Но в то время я и не догадывалась, как эта поездка перевернет мою жизнь, затронет самые глубины моей души и оставит неизгладимый след в моем сердце.

В 2016 году моя мечта осуществилась. Мы с родителями полетели в Москву. Золотые купола храмов переливались на солнце. Звон колоколов звучал так величественно, что я готова была приклонить голову там же на улице, в знак покорности и любви к Богу. Я осуществила свою мечту и побывала в Свято-Троицком храме, где есть икона мученика Уара. На следующий день мы посетили выставку «Романовы. Моя история». Откровенно говоря, я мало знала о царской семье и о том времени, когда они жили. Но эта выставка с огромными инсталляциями и интерактивными экранами, картами и экспонатами заложила во мне то самое зерно, тот стержень понимания о том, кто такие новомученики российские. Я осознала, что наши бабушки и прабабушки жили во времена страшных испытаний. Несмотря на ссылки и скитания, люди сохранили веру в Бога и любовь к своему ближнему.

Последний российский царь из династии Романовых еще ребенком проявлял свою любовь к Богу и Церкви. Даже последние слова его отца были связаны с любовью к Богу: «Я завещаю тебе любить все, что служит ко благу, чести и достоинству России... Вера в Бога и святость твоего царского долга да будет для тебя основой твоей жизни». Императорская семья жила в соответствии с традициями православного благочестия. Они не только посещали храм, воскресные богослужения, поклонялись чудотворным иконам и

мощам, но и совершали паломничества, как это было в 1903 году во время прославления преподобного Серафима Саровского. За годы царствования Николая II число церквей в России увеличилось более чем на десять тысяч, было открыто более двухсот пятидесяти новых монастырей. Император сам участвовал в закладке новых храмов. Я с гордостью и восторгом смотрела достижения России на картах инсталляции. Россия находилась в то время на вершине славы и могущества: невиданными темпами развивалась промышленность, все более могущественными становились армия и флот, успешно проводилась в жизнь аграрная реформа — об этом времени можно сказать словами Писания: «Превосходство страны в целом есть царь, заботящийся о стране» (Екклесиаст 5:8).

Я очень внимательно слушала аудиогид. Я пыталась представить всю ту боль и мучения, которые испытывала царская семья. Вся жизнь императора Николая II разделилась на два важных духовных периода. Время его правления говорит о нем как о православном правителе, исполняющем свой долг перед Богом. И второй период, который можно сравнить с восхождением на Голгофу — на русскую Голгофу. Передо мной до сих пор возникает образ царской семьи. Величественный император с достоинством смотрит на своих карателей. Его жена, которая разделила участь своего мужа, как и должна была поступить православная жена. Его дочери, которые своей покорностью и смирением подтверждают любовь к родителям и Богу. А также маленький мальчик, который должен был стать следующим императором. Но безбожная рука сломала стрежень русского народа, пытаюсь забрать самое дорогое, что было у людей, — веру в Бога! Новомученики, именно они своей верой, любовью и верностью держали и сохраняли опору православной веры, фундаментом которой был последний русский император и его семья.

Выставка «Романовы. Моя история» перевернула мою душу. Я задумалась о том, что в тот период жили мои дедушки и бабушки. Они были живыми свидетелями всей трагедии русского народа. И мне стало невыносимо больно, что до наших дней дошло имя только одного крещеного человека — это имя моего прадеда. Неужели мои предки не выдержали? Неужели они отвернулись от Церкви и Бога? Мы с мамой стали узнавать и выяснять историю своей семьи. И перед нами

раскрылись потрясающие факты. Всю свою жизнь мама, а также ее родственники знали фамилию своей прабабушки как Шейн. Была известна также деревушка, где она родилась. Мы обратились в архив города Самары, на что нам ответили, что настоящая фамилия моей бабушки — Шеина. Нам стало очень интересно, почему была изменена фамилия. Шаг за шагом, изучая метрические книги самарского архива, мы узнали, что у моей прапрабабушки отец был священник. Его звали Шеин Василий Яковлевич. Родился он в 1877 году в селе Большая Раковка. Информация о нем обрывается после 1917 года.

Я вспомнила судьбу царской семьи и всех тех, кто был верен Церкви и Богу. Что же стало с ним, со священником Шеиным? И тут нам на помощь пришел портал православной газеты «Благовест», который работает в городе Самаре. Именно там опубликована книга Антона Жоголева «Новые мученики и исповедники Самарского края». В этой книге среди людей, которые своей верой и силой своего духа встали на защиту русской Церкви и Бога, значился Шеин Василий Яковлевич. Он служил до 1929 года, после чего церковь закрыли, а его самого выселили из дома и отправили в концлагерь. В источниках указано, что сын и жена Василия отказались от него. Через три года его выпустили, но это не сломило Василия Яковлевича, и, несмотря на проблемы со здоровьем и угрозу повторного ареста, он продолжил служение в церкви. Он даже совершал крестный ход в одной из деревень Самарской области. 18 января 1938 года его расстреляли. Его имя значится в самарском мартирологе, где перечислены подвижники Самарской земли. В архиве УФСБ России по Самарской области до сих пор находятся на хранении уголовные дела в отношении Шеина Василия Яковлевича, священника, обвиненного в контрреволюционной деятельности.

С тех пор, приходя в храм, я всегда указываю в поминальных записках Шеина Василия Яковлевича. Мне очень больно и стыдно, что такой сильный духом человек был отвергнут своими родными. Я всегда буду помнить тот подвиг, который он совершил. Именно он был частью той опоры, которую держали, оберегали и сохраняли для нас новомученики XX века во главе с последним российским императором. Эта опора и есть любовь к Богу и вера в него!

г. Алма-Ата, Республика Казахстан





Даниил ОВЧАРЕНКО

КАК Я НА АФОНЕ ПОБЫВАЛ

Я попал на Афон в год тысячелетия русского присутствия на Святой горе Афон. Я даже не представляю, как получилось так, что мой папа познакомился с игуменом монастыря в городе Вадинске и нас пригласили принять участие в поездке монашеской группы на Афон. Группу возглавил епископ

Сердобский и Спасский Митрофан. В нашей группе было пять монахов, два священнослужителя, пять мирян, среди которых были и мы с папой. Поездка была обзорной, с целью посетить как можно больше святых мест. Почти везде, куда задумали поехать, мы побывали.

РУССКИЙ НА АФОНЕ

На Афоне все понимают русский язык. Даже если это немец, француз или англичанин. Сначала они начинают говорить на своем языке. Но когда произносишь волшебное слово «русский», тебя все начинают понимать чудесным образом. На Афоне русских паломников узнают даже со спины. Уж как они определяют нашу национальность — осталось для меня загадкой. Сербы особенно любят русских, относятся к нам как к братьям. Однажды на афонской дороге (по пути с вершины Святой горы) мы встретили группу сербов. Они обрадовались

нам как родным, стали обниматься и говорить: «Русский царь и сербское братство победят Антихриста!» Когда после перелета из России и поездки на пароме к Афону у меня заболело ухо, мы отправились в медпункт сербского монастыря Хиландар. Там доктор с участием осмотрел меня, дал таблетки и помог советом. Когда мы уже вышли за ворота монастыря, он внезапно догнал нас и остановил. Оказалось, что он для нас, незнакомых людей, нашел еще одного врача из паломников и привел его к нам.

РУССКИЙ МОНАСТЫРЬ

Единственный на Афоне русский монастырь — Свято-Пантелеимонов. Все в нем отдает духом того времени, когда он был построен. Когда приходишь в него, чувствуешь себя частью великой Империи — настолько все в монастыре помпезно и соответствует тому времени. Это огромный

монастырь. Он очень богатый. По закону, который приняли на Афоне, в афонских монастырях не может быть больше двадцати процентов иностранцев. Но все равно, вопреки этому правилу, русских монахов на Афоне сейчас очень много. Греки почему-то не очень хотят идти в монастыри.

ТРАПЕЗНАЯ

Трапезная в Свято-Пантелеимоновом монастыре находится напротив главного храма. Как и все в русском монастыре, она очень красива и отделана в некоторых местах черным мрамором. Перед трапезной стоит фонтан с золотыми рыбками — тоже из черного мрамора. Внутри — длинные ряды столов, с двух сторон на колоннах находится что-то вроде клироса, сделанного из очень красиво вырезанного дерева. Отдельно стоящий небольшой стол предназначен для владыки. Владыка

звонит в колокольчик, и все начинают есть. Так же, по колокольчику, трапеза и заканчивается. Всю трапезу читается Священное Писание. На Афоне всегда подают одно и то же. Либо бобы, либо макароны в каком-то соусе. Это очень вкусно. В каждом монастыре свой напиток для встречи паломников. Имеются собственные уникальные напитки на спирте, а поскольку мы посещали несколько монастырей в день, папа к концу поездки начал уже потихоньку отставлять рюмки в сторону.

МОЩЕВИКИ И КОСТНИЦЫ

Мощей на Афоне очень много. В Пантелеимоновом монастыре огромное помещение, полностью наполненное витринами с мощами святых со всего мира. Оно находится на самой высокой точке монастыря, по которой поднимаются по мраморной лестнице. Костница — здание, в котором складировали кости усопших монахов. По афонскому обычаю, кости захороненных монахов через

год выкапывают из земли и складывают в костницу. Если кости воскового цвета — это хороший признак. Считается, что усопший монах находится в раю. Костница в Пантелеимоновом монастыре сделана из камня, внутри резные полки, на которых рядками лежат черепа. Над воротами костницы на мраморной табличке выбит стих: «Мы были такими, как вы, вы будете такими, как мы».

АФОНСКИЕ ПОДВИЖНИКИ

Когда мы на пароме переплывали из монастыря в монастырь, я видел висащие на скале большие корабельные цепи. Мне рассказали, что в скалах наверху живут отшельники, которые никогда не спускаются вниз. И даже в гости друг к другу они перебираются по этим цепям, которые висят на огромной высоте над обрывом. На Афоне все время проходят службы. Утренняя

служба на Афоне начинается очень рано — часа в три-четыре утра. Особенно рано они начинаются в русском монастыре, в одном из самых суровых по уставу на Афоне. Молодые монахи не выдерживают такого режима и засыпают в ставидиях. Тогда один из монахов проходит по храму и будит других: «Проснись, брат, проснись, брат!»

ОРУЖИЕ У ИКОНЫ «СКОРОПОСЛУШНИЦА»

Когда я был у иконы «Скоропослушница» в греческом монастыре Дохиар, я заметил что в углах комнатки, где находится икона, стояло старинное оружие: разные копья, средневековый рыцарский меч и даже прекрасно сохранившийся самурайский меч. Очевидно,

оружие к иконе приносили воины в благодарность за чудеса и исцеления, происходящие от этой иконы. Отметим, что, как это ни странно, чудотворная икона находится в небольшой каморке, и даже не в храме, а как бы в пристройке.

АФОНСКИЕ КРАСОТЫ

Весь Афон стоит на мраморном основании, из этого камня построено большинство зданий

и храмов, а прямо на дорогах можно найти глыбы мрамора. Встречается красный, белый и

черный мрамор. Добывают мрамор прямо на месте и сразу же строят из него здания. Мне очень понравилось, что на Афоне все в зелени и раскинулось множество садов. О красоте моря и гор я даже не стану писать. В прозрач-

ной воде целыми стаями плавают рыбы, которых там очень много. Мне запомнилось, что при каждом монастыре есть свои коты, и все коты сытые, здоровые и ухоженные. Почти всех я переглядел.

АФОНСКИЙ ТРАНСПОРТ

Афонские дороги — понятие относительное. На афонские дороги как будто высыпали КамАЗ огромного гравия размером с голову ребенка. Когда идешь по этим камням, испытываешь жгучее желание перестать двигаться и лечь под ближайший кустик, потому что этот гравий постоянно осыпается и очень острый. Однако на некоторых участках дорог есть широкие, около полуметра

шириной, гладкие ступени. Когда мы ехали по афонским дорогам в военном грузовике, с дороги поднялось столько пыли, что нас совершенно заволокло. Невероятное количество пыли набилось и в кузов машины. Вообще, афонские автомобили в основном — это зеленые военные внедорожники. А водят их бородатые огромные дядьки в бандах. На вид они очень похожи на моджахедов.

НА ВЕРШИНЕ МИРА

Поднимались туда мы пять часов. Когда мы поднялись на верхнюю точку Афона, я очень сильно устал, у меня заболело сердце. Мы хотели было остаться в Панагии, но я решил, что если я сейчас не поднимусь, то другой возможности у меня может и не быть. Когда мы поднимались на вершину Афона с нашей группой, вместе с нами увязался кот. Он был тощий, белый, с рыжими пятнами. Он поднимался с ними половину пути и остановился только тогда, когда мы встретили земляков из

Ростова-на-Дону. Кот пошел вместе с ними в обратную сторону. На самой высшей точке Афона есть храм, посвященный Преображению. Храм построен из белого мрамора, который добывают из глыбы, которая высится там же, над храмом. Вообще вся верхушка Афона полностью состоит из белого мрамора. На самой верхушке этой белой глыбы стоит большой крест и развевается греческий флаг. Мы помолились у креста на вершине мира, сфотографировались и пошли вниз.

АФОНСКИЕ «ВЕРТОЛЕТЫ»

Когда мы поднимались наверх, мы все гадали, как же афонские монахи поднимают наверх стройматериалы, не на вертолетах же? Ведь проезжей дороги наверх не существует, остаются только пешеходные тропки, про которые я уже написал выше. Когда мы поднялись наверх, у ворот строящегося храма Преображения стояли мулы, груженные балками и цементом. Оказалось, что на

этих маленьких осликах возят стройматериалы, паломников, вещи паломников, инструменты и прочее необходимое. Их гоняют по афонским тропкам целыми вереницами — от причала с паромом, где выгружают стройматериалы, до самой вершины, или куда придется. Неприхотливые мулы довольствуются чахлой травкой, пробивающейся через камни.

СТАРЕЦ ДАНИИЛ

Когда, уже ночью, мы с папой спускались с вершины Афона, я спал на ходу и не чувствовал ног. Наши батюшки спустились раньше нас, потому что вышли раньше и не останавливались в Панагии. Ворота скита Святой Анны к тому времени

уже закрылись, и мы не могли там переночевать. Нам позвонили и сообщили, что нас примет старец Даниил. Мы прошли мимо того места, куда нам надо было идти, и нам пришлось подниматься еще раз. Благо что это было недалеко, метров триста.

Думая о старце Данииле, я представлял себе как минимум почтенного пожилого человека с огромной бородой, маленького, с палочкой. Но когда дверь нам отворил детина метра два ростом, все мои представления и стереотипы на этот счет обрушились. Единственное, что соответствовало этому образу, — огромная борода, да и та была не седая. Старец поздоровался с нами, сказал с

акцентом по-русски: «Проходите». Абсолютно такой же на вид, как и старец, послушник принес нам чаю. Мы отдохнули, поели рахат-лукума (это афонская закуска, которую едят по всему Афону). Потом послушник отвел нас в столовую, и мы там поели монастырской еды. Комнатка, куда нас отвели, выглядела совсем неплохо, и мы отлично выспались.

КАК Я С ВЛАДЫКОЙ СЛУЖИЛ

Когда мы приехали в Ильинский скит, там был всего один монах. Он же настоятель, и игумен, и братия. Он накормил нас макаронами. Порции были очень большие. Вечером надо было служить. А мы как раз попали на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и надо было служить Всенощную. И наши монахи начали служить. Владыка Митрофан предложил мне вместе с ним петь на клиросе. И я пел. Потом владыка ушел вести службу, и я продолжил петь с игуменом Иннокен-

тием. Служба длилась очень долго — не меньше четырех часов. На Афоне я поклонился, наверное, половине святынь мира. Это оставило у меня в душе большое впечатление. Я молился и на свои молитвы я получал ответы. Я благодарен Богу за то, что Он дал мне возможность посетить святую гору Афон, да еще и в такой торжественный юбилейный год, да еще и в составе монашеской группы. Хотелось бы когда-нибудь вернуться туда, уже взрослым.

г. Таганрог, Ростовская область





Петр МИХАЙЛОВ

«СВЕТЛЫЙ» ПАСТЫРЬ: ВСТРЕЧА СКВОЗЬ ВЕКА

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

По оживленной улице шла группа ребят. Это были школьники, которые направились на экскурсию в один из красивейших храмов России — Софийский собор в Новгороде. Но пока экскурсовода не было, все разговаривали о чем-то своем. Подростки медленно продвигались к древнему зданию. Каждый ждал от этого похода чего-то особенного: одни школьники хотели посмотреть на старинные иконы, других интересовала роспись храма, третьи стремились узнать об истории собора. Все, кроме одного.

Макар всегда был немного отстранен от жизни других ребят. У него почти не было друзей, ко всему он относился скептически, редко участвовал в школьных мероприятиях. Да и сейчас был не в самом лучшем настроении. «Подумаешь, храм посмотрим, — думал он, — и что там интересного? Расскажут что-нибудь, и дело с концом».

У ворот собора детей встретил священник. Это был пожилой человек с длинной седой бородой, одетый во все черное. Сразу было понятно, как много знает этот человек. Его глаза были теплыми и добрыми. Они, казалось, излучали радость и любовь. Священник радушно пригласил детей войти.

Внутри храма царил торжественная тишина. Слышался только тихий голос батюшки, рассказывающего детям о том, как появился собор, сколько добрых и праведных людей служило в нем. Особая теплота зазвучала в голосе рассказчика, когда он перешел к житию митрополита Макария, бывшего

в XVI веке настоятелем Софийского собора и епископом новгородских и псковских земель. По словам священника, к заслугам владыки Макария относится реставрация старинных икон и храмов на всей территории епархии. В Софийском соборе по его благословению и при его самом активном участии были поновлены фрески. Здесь же, в Новгороде, была предпринята первая попытка собрать воедино все книги «в русской земле чтомые», первая редакция знаменитых «Макарьевских миней». В свод входили как жития святых, так и дидактические и богословские произведения. В 1541 году все двенадцать томов свода были переданы в библиотеку Софийского собора. Святитель Макарий прославился еще и тем, что, будучи на Первосвятительском престоле, своими трудами соборно прославил множество русских святых на Соборах 1547 и 1549 годов. Одновременно в течение всей жизни он лично общался со многими святыми современниками, которые позднее также были причислены к лику святых Русской церковью. Недаром в историю православия митрополит Макарий вошел как просветитель Руси и «светлый» пастырь. Дети тихо внимали истории священника. Но наш герой не принимал ее всерьез. «Да и каким он может быть просветителем? — думал Макар. — Ведь монахи только в кельях молятся да за храмом ухаживают».

Вскоре экскурсия закончилась. Батюшка остановился как раз около иконы митрополита Макария и, завершив свой рассказ, стал отвечать на вопросы ре-

бят. После этого, благословив детей, он отправился в алтарь. Ученики стали медленно выходить из храма. Все вели себя тихо, несколько человек о чем-то перешептывались. Только Макар, ни с кем не попрощавшись, направился домой.

Сегодня он шел тем же путем, как и всегда. Но как ни странно, он все шел и шел, а знакомый дом не появлялся. Но парень не обратил на это внимания, подумав о том, что дорога кажется такой длинной из-за усталости. Через некоторое время Макар все-таки забеспокоился. «Может, я просто заблудился?» — тихо проговорил он. Еще одно необычное обстоятельство заключалось в том, что за всю дорогу он не встретил ни одного человека. Да и город стал ему видиться другим. Вместо привычных многоэтажек, парков и магазинов попадались покосившиеся деревянные лачуги и крошечные каменные дома. Стало смеркаться. Макар уже не на шутку разволновался. Внутренний голос подсказывал ему, что здесь что-то неладно. Но вдруг за соседним домом забрезжил свет. Мальчик с облегчением выдохнул, теперь он точно найдет дорогу. Но, обогнув переулок, замер на месте. Это был не современный Новгород, а какой-то старинный русский город, каким его изображают в учебниках истории России средних веков.

Мальчик не верил своим глазам. Все было слишком удивительно. «Но такое же бывает только в книжках!» — воскликнул он. Макар стоял на площади, но не на асфальте, а на каменной мостовой. Рядом с ним располагалось что-то похожее на ремесленные лавки. Перед Макаром прошел человек, одетый в желтый кафтан, красные сапоги и меховую шапку. «Извините! — крикнул мальчик, обращаясь к прохожему. — Вы не подскажете, где я сейчас нахожусь?» Мужчина, по всей видимости, знатного рода, гневно посмотрел на Макара, но, оглядев его внимательнее и признав в нем чужестранца, ответил на незнакомом мальчику языке. Скорее всего, это был древнерусский язык, наш герой точно не мог им владеть, но, тем не менее, прекрасно понял, что находится в Новгороде в 7061 году, и Русью правит сейчас царь Иоанн Четвертый. После этого мужчина быстрым шагом удалился.

Сначала Макар совсем опешил от того, что на дворе 7061 год. Правда, потом вспомнил, что до Петра Первого года исчисляли от сотворения мира, и по современному летоисчислению он находится в XVI веке. Но перспектива оказаться в прошлом Макара совсем не радовала. Сзади мальчика послышались громкие шаги. Обернувшись, он увидел двух мужчин, одетых в красные тулупы и красные меховые шапки с секирами в руках. Один с большими усами, указав на

мальчика, пробасил: «Смотри, как странно одет! Не шпион ли?» Второй, пожав плечами, ответил: «Хватай его, и дело с концом!» Услышав эти слова, Макар бегом кинулся с площади.

Мальчик бежал все дальше и дальше, петляя между домами и чуть не сшибая с ног прохожих. Наконец поняв, что все в порядке, Макар остановился. Теперь у него было достаточно времени, чтобы оглядеться. Он пробежал всего несколько улиц, но площади уже видно не было. Но зато мальчик остановился перед красивым белокаменным храмом. Раньше Макар решил бы поискать другое место, но сейчас идти ему было некуда, да и близилась ночь. Небо было темное, даже луна не показывалась на небосклоне. Стало холодать. Сзади была слышна погоня. «Может, я вернусь домой только так», — подумал он и нырнул в незакрытые церковные ворота.

Мальчик второй раз за день оказался в святой обители. Но теперь она предстала перед ним в совершенно другом виде. Выцветшие росписи и фрески заиграли новыми красками. Было много необыкновенных икон. Посреди храма стоял пожилой монах. Кроме него, здесь никого не было. Тихо, почти беззвучно, он читал молитву. Закончив ее и обернувшись, монах увидел мальчика. Он совершенно не удивился незнакомому человеку. Подойдя к нему поближе, святой отец спросил:

— Откуда ты здесь, отроче?

Макар вдруг понял, что этому человеку можно рассказать правду. От этого ощущения ему стало немного легче. Медленно и почти шепотом он ответил:

— Не знаю, как попал сюда. Шел, шел и очутился на площади. А оттуда в этот храм.

Его собеседник немного призадумался, но почти сразу сказал:

— Лучше утром разберемся, а пока идем ко мне в келью, там и поговорим.

Тихо приоткрылась дверь кельи, и спутники вошли в нее. Мальчик увидел маленькую комнату со столом, кроватью и стулом. На стене висела икона Божьей матери, и теплилась лампада. Несколько книг в старинном переплете лежали на столе. Ласковый огонек свечи, стоящей на окне, мягко освещал келью.

Монах указал мальчику на скамью, а сам присел на кровать. Макару стало немного неловко, и он еще раз поблагодарил священника. Тот в ответ просто улыбнулся. Представившись, Макар поинтересовался у хозяина:

— А как ваше имя?

Монах ответил:

— Такое же, как твое, Макарий, что значит «блаженный». А ведь по имени и житие. Вот вижу, что

трудно ты с людьми сходишься, сторонись их, мечешься. А ведь слово *makJrioj* выражает мысль об умиротворенности сердечного кружения, о полной успокоенности парящих помыслов сердца.

От растерянности, что старец видит его насквозь, мальчик поинтересовался:

— А как вы попали в этот собор?

— Я здесь проездом, — ответил старец. — В Москву направляюсь и решил остановиться, посмотреть, как живет Господин Великий Новгород. Служил здесь раньше, а собор, он носит имя Святой Софии, я восстанавливал.

В этот момент мальчик понял, с кем разговаривает. Это был тот самый митрополит Макарий, про которого он сегодня слышал на экскурсии. Макар даже вздрогнул. Одно дело читать или слышать про святых, и совсем иное — общаться со святым как с обычным человеком.

Но, собравшись с духом, мальчик решил еще немного поговорить со старцем:

— А зачем вы туда едете? Что вы там хотите сделать?

— С царем встретиться, поговорить. В последнее время он слишком много зла делает. Не нужен людям такой государь.

— А вы знаете Иоанна Четвертого?

— Да, я учителем его был, смотрел за ним, чтобы ничего не случилось. Я же ведь за него ответственен. Знал еще отца его, царя Василия III, которому дал благословение на брак со второй женой, Еленой Глинской, матерью Иоанна. По канонам нельзя было разрешать развод с первой царицей, но сложное тогда было время. А России царь нужен был, наследник Рюриковичей! Вот и пришлось грех на душу взять. А теперь присматриваю за молодым царем, стараюсь суровый нрав его

смягчать. — Макарий немного задумался, а потом добавил: — А еще человеку одному помочь хотел, Иваном Федоровым зовут. Благое дело тот задумал.

— Это тот, кто книги первые на Руси напечатал?

Митрополит вздохнул:

— Тяжело дело его. Не напечатал еще. Я ведь только этого мастера нашел. Знаю, что народ просвещать надо. А рукописные книги хоть и красивы, но редки и недолговечны. Вот книга печатная и нужна. Искал умельцев, которым Богом дар дан, вот и нашел Ивана. Трудолюбив, дело знает. Надеюсь, получится все, Бог ему в помощь!

— Сколько же вы для Руси сделали! — удивленно произнес Макар.

Митрополит промолчал. Может, от скромности, а может, почему-то еще. Единственное, что ответил:

— На это и нужен митрополит, чтобы путь к спасению Руси указывать. — Потом произнес: — Отдохни пока. Завтра все сделаем, поможем тебе.

Мальчик хотел что-то возразить, но не смог. Он опустился на небольшую кровать и почти мгновенно заснул.

Проснувшись, Макар с удивлением обнаружил, что находится не в келье собора, а в своей комнате. Неужели это был сон? Но мальчик все помнил так, как будто видел наяву.

С этого дня никто не узнавал Макара. Мальчик абсолютно переменился, стал более общительным, у него появилось много друзей. По воскресным дням Макар стал посещать литургию в Софийском соборе и всегда подолгу стоял перед иконой святого Макария Московского. Ощувив на себе благодать от общения со «светлым» пастырем, Макар захотел стать ближе к таким людям и помогать им делать мир светлее.

г. Химки, Московская область

ОТ РЕДАКЦИИ

Прав был выдающийся литературовед Олег Михайлов, заметив: «Творчество Шмелева, его память освещает солнце — вечно живое солнце

русского страдания и русского подвижничества». А работы старших участников конкурса вас ждут в следующих номерах.





Макс СЫСОЕВ



Продолжение. Начало в № 4, 5, 6 за 2018 год

РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ ВОСПОМИНАНИЙ

Рисунок Марины Медведевой

Дней через десять мать раскрыла фээсбэшную сеть, внедрившуюся в психбольницу, и забрала меня домой. Добрый психиатр счел мое состояние неопасным и согласился отпустить.

Я тогда был молод, здоров, набит школьными глупостями. Я вновь стал надеяться. Мозг решил, будто психушка — это очередная случайность и можно продолжать жить дальше.

До вступительных экзаменов оставалось порядка трех недель; отойдя от таблеток, я стал готовиться с утроенной силой. Мне так хотелось попасть в университет, что я пришел в приемную комиссию самым первым. До сих пор храню я в столе расписку о приеме документов: на ней стоит номер 0001. Только благодаря ей я пока не забыл окончательно беготню по коридорам главного университетского корпуса, волнение перед экзаменами, неразбериху при заходах в аудитории, оглушительный провал на зачете по английскому, который я ни черта не знаю, хотя учил двенадцать (а вернее, теперь уже семнадцать) лет, и трехчасовое сидение в коридоре в ожидании окончательного результата. Я твердо решил покончить с собой в случае неудачи. Лучше смерть, чем «служение отечеству». Быдло не должно было снова ко мне притрагиваться.

В военкомате давно точили на меня зуб. Очень там были недовольны, что мне представился второй шанс поступать в вуз (документы в МИРЭА я подавал накануне семнадцатилетия). Они слали мне повестку за повесткой и всячески демонстрировали свое бешенство. По мнению медкомиссии, я должен был стать достой-

ным воином. Единственным, кто смотрел на меня с подозрением, был психиатр. Но он был не тем благородным врачом истерзанных душ, что выпустил меня из сумасшедшего дома. Это был паук-птицелов, а вернее, солдатолов. И лассо на меня он плел годами. Он заявил, что даже если я поступлю повторно в вуз (в чем он сомневается, поскольку один раз я уже «вылетал»), он все равно имеет право выдернуть меня оттуда и положить на обследование в психбольницу. Пока я обследуюсь, меня отчислят и после этого — смело призовут. Он, ясное дело, нагло врал, не было у него таких полномочий, однако разговор в подобном ключе выбил меня из колеи. Помню, возвращаясь из военкомата, я потерял кроссовку, когда пытался запрыгнуть в последнюю дверь автобуса. Закрывшаяся дверь зажала мне ногу, автобус тронулся и чуть было не потащил меня по асфальту. Спасением стала давняя привычка не затягивать шнурки: кроссовка слетела, и пятнадцатиметровый убийца увез только его.

И вот я сидел в коридоре университета, ожидая результатов и готовя себя к полету с балкона пожарной лестницы близлежащего высотного здания или отдыху на рельсах станции метро «Юго-Западная».

Я поступил. Мой мозг находился тогда в самом прекрасном состоянии. И все равно по конкурсу я прошел только чудом. Мне помогло мероприятие, которое все отчего-то ругают: ЕГЭ. (Вернее, ругают его не «отчего-то», а как раз от этого: оттого, что ЕГЭ дает шанс таким дебилам, как я, получить образование.) В 2007 году вузовские экзамены еще не отмени-

ли, но ЕГЭ по русскому языку был также обязателен. Написал я его баллов на 60 из 100, однако по университетской шкале их пересчитали как 8 из 10. По внутренним же экзаменам университета отметки были ниже.

Так я опять стал студентом.

* * *

Радость матери по поводу моего поступления была сдержанной. Гуманитариев она презирала; филологам были ее покойная тетка и школьная подруга, и она отзывалась о них со скепсисом. Да и могла ли она порадоваться? В иных обстоятельствах ей должно было стать приятно, что сын-идиот теперь учится в университете, почти как нормальный человек, но в те дни вуз был для нее лишь дополнительным фактором, мешающим отъезду в КНДР.

Рита с Вадимом сказали, что гордятся мной. Уж не знаю, насколько можно гордиться успехами чужого сына, когда свой лежит в могиле, но мне на их месте не хватило бы сил даже на имитацию положительных эмоций.

Тем временем, как раз к моему дню рождения, за тысячу километров от Москвы, Патрика выпустили из больницы, и настала пора новой встречи. Жалко, не получилось отметить наши совершеннолетия вместе: а ведь они у нас шли с разницей всего в два дня. Помешало отсутствие грязных зеленых бумажек.

К слову, о бумажках: мать страшно боялась, что я уеду в Ростов, и объявила экономическую блокаду. Денег, даже на карманные расходы, не предвиделось. Выручили Рита с Вадимом. Они продолжали считать меня восторженным остопом, но были рады, что у меня (рожденного подохнуть в говне и одиночестве и всю жизнь к этому идущего) все же «появилась девушка», и старались помочь, чем возможно.

В Ростове я предполагал найти ответы на вопросы, которых становилось все больше. Я прожил с Патриком несколько недель, но фактологической информацией о нем практически не располагал. Почему он сбежал из дома? При каких обстоятельствах он пытался покончить с собой, и насколько серьезны были его намерения? Кем он был до встречи со мной? И кто он теперь? Не «вылечили» ли его в психиатрической больнице, не стал ли он обычным человеком? Насколько сильным и искренним было его стремление к «саморазрушению»? Как долго он принимал наркотики? Правда ли у него есть проблемы с психикой или же он придумал их, чтобы вписаться в свой собственный образ? Правда ли он считает себя парнем? И самое главное: что он думает обо мне? Каким он видит меня? И каким я должен стараться казаться?

С этими мыслями я отправился в Ростов. Я думал, будто вернусь в свой рай. Но меня и Патрика ждало чистилище. От чего же оно должно было нас очистить? Наверное, от угля, который мы насобирали на железной дороге. От искривленных красных галактик, до сих пор стоявших перед нашими глазами. От грохота победного салюта в голове.

* * *

Когда я вышел из автобуса в Ростове и встретился на вокзале с Патриком, позвонила мать. Она была крайне встревожена, но смысл ее сообщения не вполне до меня доходил. Она говорила, что после моего отъезда агенты ФСБ проникли в квартиру и заперли входную дверь изнутри на щеколду. Я не воспринял это всерьез. Она уже неоднократно пыталась идти на хитрости и подлости, лишь бы расстроить мои попытки выбраться из дерьма.

Добравшись до дома Патрика, я узнал о еще одной подлости. Мать позвонила родителям Патрика и долго с ними беседовала. Она в подробностях описала мое буйство и вынужденную госпитализацию. Мать надеялась, что Снежана с Валентином тотчас меня выгонят, но они, конечно, выгонять не стали, хотя и начали смотреть на меня несколько по-другому. В школе ведь как учат? Если человек лежал в психушке, значит, жди от него беды. Тем более если его мать преследует ФСБ (о чем им также было известно). Таким образом, кое-чего мать все же добилась, но об этом я расскажу позже (если не забуду). А тогда Снежана с Валентином встретили меня с распростертыми объятиями.

Что же было дальше? А дальше я почти ничего и не помню. Подозреваю, что там и вспоминать-то нечего. Может, я зря постоянно жалуюсь, что все забываю. Может, я ничего не помню потому, что ничего и не было? Из событий и фактов, которые еще хранит моя память, я не могу отобрать что-то, что могло бы быть интересно другому человеку. Я приехал в Ростов никакой. У меня не было личности, у меня не было прошлого, если не считать раннего детства, о котором все равно никому не расскажешь. Моя жизнь началась на станции «Комсомольская» 23 апреля 2007 года, и вся она прошла у Патрика перед глазами. Да и эта жизнь, помимо Патрика, была наполнена дерьмом и пустотой. С дерьмом мы боролись, насколько вообще могут бороться два слабых человека, против которых ополчился весь мир. Теперь дерьмо кончилось, и осталась пустота.

Нам по-прежнему было хорошо вместе. Так хорошо, как никогда. Мы еще думали, что находимся в раю. Но это было чистилище, но это была пусто-

та. А поскольку я никакой и не блещу притом умом и удачливостью, то и делал в этой пустоте все, чтобы она поскорее кончилась, и снова началось бесконечное дерьмо и безумие, только уже без Патрика.

Тогда, в раю, я совершал ошибку за ошибкой. В чистилище ничего не изменилось.

Помню, уже в день моего приезда, вечером, Патрик сел за компьютер и принялся играть. Мне стало обидно, я вышел из комнаты, хлопнув дверью. За что я обиделся на Патрика? За то, что он не знал, чем со мной заняться? Что ему захотелось поиграть? Что он тратил бесценные секунды нашей совместной жизни не на «общение» со мной? Почему в тщеславную мою голову не пришло тогда понимание, что это на себя я должен злиться: это я никакой, и не тем человеком я родился, чтобы мне кто-либо «посвящал каждую секунду жизни».

Патрик тогда очень расстроился. Я его обидел. Он бросил компьютер и пошел за мной. Он не сердился: в реальном общении Патрик всегда был со мной добр. Он объяснил, что ему плохо, когда хлопают дверьми. Это, сказал он, одна из самых страшных вещей. И больше на компьютере он не играл. Он был чутким человеком и мгновенно улавливал как озвученные, так и невербальные послылы, исходящие от собеседника. В отличие от меня, «писателя», который самую очевидную и естественную реакцию человека предугадать не может, а смысл и последствия собственных слов и поступков понимает лишь спустя много лет.

* * *

Если от вышесказанного создается впечатление, будто бы мы с Патриком целыми днями только и делали, что висели друг у друга над душой, не давая заниматься привычными делами и страдая от невозможности выразиться друг перед другом, — то впечатление это в корне неверно. Мы были двумя молодыми людьми в наивысшем расцвете сил и занимали в жизни друг друга главнейшее место. Чтобы, находясь вместе, испытывать скуку — такое совершенно невозможно. С виду у нас все было хорошо, просто отлично, лучше, чем когда-либо. Но только будущее способно отделить зерна от плевел и от семян Анчара. Сейчас, вспоминая те восхитительные дни, я понимаю, что все-таки был никем. У меня, в отличие от Патрика, не было устоявшейся жизненной позиции, мнения по каким-то важным вопросам, оригинальных мыслей. Фрагментарные знания (или, скорее, полужнания, граничащие с суевериями), вбитые в школе в голову нормы, обрывки уличной субкультуры, усвоенной от дворовых приятелей, циничные повадки, позаимство-

ванные у одноклассников, моралистика зюгановских старушек, недопонятая и почти забытая литература, пошлые фильмы и добрые советские мультфильмы — все это бессистемно и разгульно бродило по моей голове, приводя иногда к вспышкам прозрения, но куда чаще — к глупым высказываниям, подлым поступкам и абсолютной социальной несостоятельности. В общении с Патриком все приходилось выдумывать на ходу, и далеко не всегда первое, что приходило на «ум», было правильным вариантом ответа. Я знал многие мысли Патрика и, когда мог, просто отзеркаливал их, делая вид, будто сам до них дошел и мы такие родственные души. А когда я его мыслей не знал, вот тогда-то и начиналась ерунда, тогда-то и брякал я несусразицу. Не знал я и того, как вести себя с девушкой, да еще с такой, которая выдает себя за парня, — и когда намекал Патрику, что он все-таки не парень, тот страшно сердился. И все-таки он был девушкой, причем очень женственной. Это я сейчас понимаю, а тогда попросту обижался на Патрика за его резкие перемены настроения, за его стремление быть ведомым, противоречившее его словам и идеям. Зря Патрик все это запоминал: зря у него не было провалов в памяти, как у меня. Вряд ли говорил я оскорбительные для него вещи (а может, и говорил: я был в чем-то высокомерен и смотрел на людей как на говно), но мнение о моем характере и моей личности постепенно составлялось. Вот это-то и трагично: ведь ни характера, ни личности у меня еще не было.

В Ростов я привез «Странников»: там я их писал и давал читать Патрику и Снежане. Снежана, впрочем, заснула на второй странице, а вот Патрик читал долго. Не потому что интересно — потому что был интересен я. Он приревновал меня в Вельде. И, опять-таки, зря. Ведь и Вельда в той редакции не имела ни характера, ни личности. Ее образ и потом-то не очень проработался и мерк на фоне той же Кати Сайдлер, вышедшей на редкость живой, хотя и тривиальной, — но даже и за такую бледную абстракцию Патрик на меня обиделся, и всегда писал и говорил потом, что он не Вельда и что никогда он ею не будет. Я не рассказывал ему, что за год до нашего знакомства я перерисовал в Adobe Photoshop одну девушку-фотомоделю — так, чтобы та походила на Вельду. Работая в фотопечати, я выжег портрет этой перерисованной девушки лазером внутри маленького хрустального брелока в форме сердечка. А год спустя, в тот день, когда мы с тувелькой Патрика столкнулись в прихожей, этот брелок полетел с балкона и раскололся вдребезги.

Много, много делал я ошибок. Раньше, к примеру, я не задумывался о своем отношении к людям. Познакомившись с Патриком и решив, что тот их боится и не-

навидит, я тоже стал говорить, что ненавижу. Я любил мать, но с тех пор, как в детстве надо мной посмеялись те мерзкие мальчишки на даче, никому об этом не рассказывал. При Патрике же я отзывался о ней презрительно: «мамаша» называл я ее. Я помнил эротические сцены в повестях Патрика и сам начинал шутить, пошло и глупо, хотя всегда испытывал отвращение к этой тематике. Патрик писал, говорил, какой он сумасшедший, — и я старался показать, что не дружу с головой, что я опасен и буен. Да чего я только не вытворял, пытаясь понять философию Патрика и показать, как она мне нравится. Я даже (прости господи) трансвеститом подумывал стать.

Только вот наркотиков пугался. И темы саморазрушения. Тем я впадал в другую крайность: если чураться — плохо, если слишком быстро навстречу идешь — и того хуже.

А с виду все было лучше некуда.

* * *

Лучше некуда было и в семье Патрика.

Валентин отслужил во флоте. Одно время он злоупотреблял алкоголем, но взял себя в руки, закодировался, и дела семьи пошли в гору. Он получил строительное образование, устроился по профессии, стал хорошо зарабатывать. Хватало и на автомобиль, и на постепенное обустройство их старинного дома. Родом Валентин был из Ставрополя. В процессе разговора он откалывал иногда остроты, какие так просто не придумаешь и на какие горазды лишь жители южнорусских земель. От него веяло добродушием, но Патрик говорил, что боится его. Многим словам Патрика я не придавал большого значения (да и все остальные не придавали), но все-таки стал его отца остерегаться, невзирая на проявляемое добродушие. Я всех отцов остерегался, поскольку все они, узнавая, что меня воспитывали одни женщины, загорались желанием сделать из меня настоящего мужика. Ну или как минимум смотрели как на не вполне полноценного. И если к взглядам таким я почти привык, то вот попытки «сделать мужика» ненавидал люто.

Снежана была женщиной высокой, красивой и еще более импульсивной, чем Патрик. Дом, в котором мы жили, был построен в конце позапрошлого века ее пращуром: человеком, хоть и принадлежавшим к третьему сословию, но впоследствии ставшим белым офицером. Снежана этим очень гордилась. Работала она на должности, не требующей многих физических затрат, но и оплачиваемой соответственно. Она могла и вовсе не работать и мечтала об этом, ибо являлась, как она сама отрекомендовала себя,

личностью творческой. Любимым ее занятием был уход за садом и многочисленными кошками. Любила она и страшного сторожевого пса, которого пару лет назад спасла от хозяина-пропойцы, приковавшего его на короткую цепь и не дававшего ни еды, ни питья. Снежана знала, что Патрик называет ее Гитлером, но, кажется, не очень от этого расстраивалась, и когда я спросил, не ответила, отчего так повелось и что она на сей счет думает. Хотя Патрик знатно заморочил ей голову: забываясь, она часто говорила о нем в мужском роде.

Словом, что мать, что отец были людьми обыкновенными и совершенно приличными, и где таился конфликт, я никак не мог уразуметь. Лишь много позже понял я, что он лежал на самой поверхности. Ведь Патрик не был обычным. И родители в нем это ненавидели. Родители мечтали это искоренить. Обычным родителям нужна была обычная дочь. Не потому, что они злые, не потому, что тираны, а по той лишь причине, что они хотели добра.

Это проявлялось во всем. Как самый близкий мне пример приведу самого себя. По сути, такой человек, как я, был им глубоко чужд и неприятен. Когда минуло около недели и чувство «благодарности» пошло на спад, тут бы им и отправить меня восвояси. Но нет. Снежана и Валентин мечтали, чтобы я на Патрике женился. Я, разумеется, об этом тоже мечтал, но по другой причине. А почему мечтали они? Да потому, что любая нормальная барышня, если она не учится и не работает, должна выйти замуж. Или как минимум обзавестись женихом. Обещать, но не жениться, конечно, нехорошо, но куда хуже представлялось Снежане с Валентином нынешнее состояние Патрика. Они исповедовали вульгарный фрейдизм. Фрейдизм-то сам по себе вульгарен, а в «понимании» людей, с трудом Фрейда не нашедшими должным ознакомиться, он приобретает формы монструозные и разрушительные. Я, конечно, знал, что все «постиндустриальное» общество на вульгарном фрейдизме помешалось, и сам еще толком не решил, насколько он мне чужд, да и чужд ли вообще (отчего пошлил в разговорах), но, столкнувшись с ним в лоб, пришел в сильное расстройство.

Да что я заладил «вульгарный фрейдизм» да «вульгарный фрейдизм»? Скажу уж как есть: Снежана и Валентин через меня собрались излечить болезнь под названием недотрах, а остальные беспокоившие их проблемы (личность Патрика) рассматривались исключительно сквозь призму данного недуга.

Жаль, не существовало языка, на котором можно было в те дни пересказать Патрику предыдущие два абзаца.

* * *

Как всякая импульсивная женщина, Снежана легко создавала себе высокие авторитеты, кумиров. В период моего пребывания в Ростове кумиром ее был психиатр, очень старый, занимавшийся на склоне лет частной практикой. Патрик был его завсегдатаем. Вскоре и самому мне выпала честь побывать на приеме у премудрого змия.

Сказанное в воду не канет. Не зря скрывают люди, что сидели в психушке. Не зря эта информация считается медицинской тайной, столь крепкой, что ее и простым врачам, непсихиатрам, неверяют. Молодые ребята — да, они любят психов, юридиков всяких (вернее — юродствующих, но об этом — потом). А взрослые косятся с подозрением. Я и сам кошусь — не зря же не выходил на контакт с братвой из «класса». В первый день, когда мать проронила слово, нам с Патриком как будто бы удалось обставить дело так, будто я нормален, а в дурку меня уехали из-за трагического стечения обстоятельств. Но семя сомнения пало на возделанную почву. Потому от предложения заглянуть к змию отказываться не пристало.

Другим фактором, подтолкнувшим меня на поход к частному психиатру, стал привитый в школе рабский менталитет. Мне, как и остальным, там втемяшили, будто отказ от предложения взрослого человека есть дело постыдное. Попробуй-ка откажи учителю или завучу. А если уж отказываешь, будь готов к последствиям. Рабский менталитет, подкрепленный унижениями, еще не раз сыграет со мной злую шутку.

Пришлось к психиатру пойти. Кому-то сам поход к подобного рода специалисту видится оскорблением человеческого достоинства. Встречал я таких людей — и не единожды. Но я, тужившийся над ванночкой в кафеле перед санитаркой и двадцатью психами, имел о человеческом достоинстве свое представление и грустил лишь потому, что опять придется вспоминать бесчисленные свои унижения под взглядом человека, которому абсолютно на тебя наплевать, а если и не наплевать, то рассматривает он таинства твоей души, как энтомолог спаривание каких-нибудь клопов. (Пример я привел неудачный: спаривание клопов, по крайней мере постельных, — процесс крайне увлекательный, в отличие от моей унылой и противной жизнишки.)

На счастье, тот психиатр не походил на предыдущих. Я понял это, едва вошел в его кабинет, а вошел я с трудом: до того раздут был от чувства собственного величия этот восьмидесятилетний старикашка. В тот раз я впервые смог на приеме у врача расслабиться. По сравнению с его величием все мои проблемы казались мышинной возней. Про школу я ему рассказы-

вать не стал, а начал сразу со знакомства с Патриком. Перед моим приходом с психиатром разговаривала Снежана, затем — Патрик. Поэтому я передал события последних двух месяцев с максимальной объективностью, чтобы они казались на фоне величия еще более ничтожными. Когда настало время арии самого психиатра, я без особенного удивления узнал, что он также вульгарный фрейдист, и терпеливо выслушал его советы. Закончился прием тем, что господин доктор выписал мне целебные снадобья, хотя в общем и целом мое состояние не внушало беспокойства. На прощание он подмигнул и добавил, что снадобья не помешают и даже поспособствуют решению «основной проблемы».

После моего ухода психиатр поделился со Снежаной наблюдениями, и, кажется, она осталась вполне ими удовлетворена. Хотя большого значения придавать этому не стоило: вскоре авторитет старичка-психиатра в глазах Снежаны потерпел крушение, и вместо него воздвигся новый кумир: женщина-медиум. Но к ней я уже не ходил.

* * *

Сам Патрик большую часть времени воспринимал происходящее в его семье с горькой иронией, замаскированной под безразличие (как Воннегут, когда пишет о приближающемся апокалипсисе). Он придерживался мысли, что настоящий дурдом не внутри стен психбольницы, а вне их. Он ничему не удивлялся, но переживал все тоньше, чем другие, и деться от этого никуда не мог. Чтобы как-то мириться с окружающими обстоятельствами, он употреблял кодеин, экстрагируемый из пенталгина и терпинкода. Это меня пугало. Мне в школе хорошо промыли мозги, и я считал, что наркоманами становятся в основном от горя. А вот про непрменный атрибут наркомании — отсутствие мозгов — учителя отчего-то умалчивали. (Еще б им не умалчивать! Кто, как не они, плодит безмозглых?) Теперь я уверен, что Патрик никогда ни на что не посядет, хоть он и утверждает обратное.

После нескольких недель в психбольнице он почти не изменился, разве что довольно коротко постригся и покрасился в блондинку (каждый раз, встречаясь с Патриком, я видел его с новыми стрижками). В дурдоме ему понравилось: лечился он в санаторном отделении, где порядки были совсем не как у нас и имелся нормальный туалет, вменяемые соседи и даже доступ во Всемирную паутину. Было ему в радость и пить назначенные врачом лекарства. Сильного влияния на самочувствие они не оказывали, но, по-видимому, все же несколько притупляли негативные переживания, отче-

го Патрик находился в состоянии человека, избавившегося от недомогания, присутствовавшего с ним долгое время и почти ставшего нормой, но нормой не бывшего, что и стало ясно, когда это недомогание кончилось. «Состояние легкой пришибленности», — называл он свои ощущения от приема психотропных лекарств.

Должно быть, я уже писал об этом выше, но Патрик чувствовал и осознал все события глубже и четче, нежели остальные люди. То, что было ерундой для остальных, для Патрика приобретало огромную важность. Поэтому я не могу утверждать, будто все вышепредставленные и нижеизложенные попытки заглянуть в содержимое его головы и запечатлеть его в словах есть что-либо большее, чем простая графомания. Скорее всего, это графомания и есть, и вот почему. Во-первых, мысль изреченная есть ложь. Я долго спорил с этим тезисом, но теперь полностью с ним согласен. Даже собственные мои мысли мне сложно передать. Более того, скажу: чтоб я сдох, если найдется во всем мире человек, которому я хоть когда-то хоть что-то смог бы объяснить. Во-вторых, не будучи в силах передать мысли собственные, я априори пасую перед тем, чтобы заглянуть в голову иному человеку. О чем думает мой собеседник или просто посторонний, определить мне удавалось редко, несмотря на весь «жизненный опыт» и «писательские» наклонности. Мои же мысли, напротив, многими определялись на счет «раз». И чем глупее и примитивнее был человек, тем лучше был развит у него так называемый эмоциональный интеллект, тем легче определял он, о чем я думаю и кто есмь таков. Быть бы такому проныцательному товарищу писателем или психологом — но нет, он все понимал, не осознавая, инстинктивно, подобно зверю, в ботанике хоть и не сведущему, но безошибочно находящему в чаще траву, что поможет ему излечиться от хвори. Ну а в-третьих, я даже в теории Патрика понять не способен. Этот человек устроен сложнее, чем я. Почему я так решил? Да потому хотя бы, что он мог озвучить проблемы, нас обоих беспокоящие, мог описать тревожащие нас ситуации и состояния, мог передать на бумаге наши мысли и чувства. А я не мог. И окружавшие меня люди не могли. А если ты не способен облечь чувство в слово, если тебе не дано пересказать, что ты видишь и что с тобою стряслось, то это почти слепота и несуществование. Я уверен, что любовь появилась после того, как слово «любовь» придумали. Ранее наши предки и мыслить не могли, что одна из тех эмоций, которую они испытывают, вождедая спариться с самкой, есть прекрасное и возвышенное чувство, и оно, может быть, важнее даже самого спаривания, а остальные эмоции должны померкнуть на ее фоне. А любовью когда это

поименовали, описали, растиражировали — тогда и понеслось. «О, Дульциня!..» Так же и с остальными движениями души: коль скоро названия для них не найдено, то они и не существуют, а коли и существуют, то сугубо в зачаточной форме.

Ровно по этой причине никто и не понимал, почему Патрик пытался покончить с собой. Причина казалась всем столь незначительной, что, не умея анализировать реальность при помощи слов, обнаружить ее среди множества обстоятельств, предшествовавших попытке суицида, не представлялось возможным. «Ненормальный — и этим все сказано». Я же, как мог, пытался до первопричины доискаться. С родителями Патрика я на эту тему старался разговор не заводить, как обычно, неведомо чего боясь (рабский менталитет) и ожидая, что мне сами все расскажут. Я дождался: однажды Снежана рассказала.

Случилось это накануне 9 мая 2006 года. Патрик оканчивал школу, готовился к поступлению в университет, много занимался. Администрация школы требовала взятку за медаль, угрожая занизить некоторые оценки в аттестате. Патрик порезал вены в их с Валентином отсутствие, лег на кровать, а руку опустил в ведро. «Полведра было, когда мы ее нашли», — сказала Снежана. Полведра крови в человеке, конечно, нет, это уже дорисовало воображение перепуганной матери, но потерял Патрик изрядно. Я это, правда, и так знал — достаточно было взглянуть на шрам. Но, несмотря на шрам этот, я все же считаю, что Патрик не хотел умирать. Вернее, и хотел, и не хотел одновременно, и, перерезая вены, хорошо все рассчитал. Он знал приблизительно, когда должны были вернуться родители. Родители могли задержаться или кровь могла вытекать слишком быстро. В этом случае он бы умер, и одно из его противоречивых желаний осуществилось бы. Но родители могли подоспеть и вовремя. Тогда его бы спасли и, может быть, стали бы по-другому к нему относиться, прислушивались бы чутче к его словам, были бы к нему добрее. Патрик верил в судьбу. Совершая самоубийство, он словно кидал монетку. Мертв — значит, так и надо, жив — получается, для чего-то он нужен этому сраному миру. Вот что я думаю о суициде. Но это — лишь догадки. Ну а о причинах я говорить не стану. Я долго искал их в Ростове. Их нельзя было увидеть или как-то воспринять органами чувств. Там не было объективной беды, и тем трагичнее. Если б я увидел в доме Патрика алкоголизм, болезнь, безумие, бедность, это было бы не так печально. Ведь самая трагичная разновидность несчастья — то, что люди создали сами. То, что они могли бы уничтожить в любую секунду, только захоти, но рядом с чем они живут до самой смерти, страдая сами



и заставляя страдать других. Я знаю причину, она рукотворна, однако озвучить ее было бы оскорбительно по отношению к Патрику, и если я угадаю, и если нет. Мысль изреченная есть ложь. Просто надо помнить, что есть комплексные чувства: чувства, противоречащие одно другому, но взаимодействующие друг с другом при этом, рождающие новые эмоции и желания, столь же противоречивые, иногда низменные и разрушительные, но чаще — великие настолько, что не под силу этому миру подыскать им должноеместилище. И все это — у человека в голове. У Патрика.

Помню, в первый день, когда я только приехал, я рассказал Патрику мутное видение, представшее мне в тряске и духоте 17-часовой поездки на автобусе. Мне привиделись яблоки: большие, гладкие, блестящие, твердые и кислые, со шкуркой в белесых точках. Я поймал это видение между делом, рассказывая о чем-то другом. Но Патрик не забыл о яблоках и вечером купил их мне: те самые, зеленые в точках, твердые и восхитительно-кислые. Я и сам не подозревал, как мне

их хотелось. А Патрик придал моим словам значение и увидел полусознательное желание, крившееся за ними. Таким он был чутким человеком. И еще тысячу подобных примеров можно привести, да только к чему? Сам-то я оставался дуб дубом. Ну зачем понадобилось мне хлопать тогда дверью? Как Патрику это было страшно! А мне? Я всю жизнь общался в такой манере, и со мной общались. Но я понял, что ненавижу эту манеру. Ненавижу, когда хлопают дверью. И сам хлопать терпеть не могу. И мне ничуть не менее страшно, что мы с Патриком будем общаться в том же ключе, и станем друг для друга не чем-то особенным, а просто людьми, хлопающими перед носом дверями: он — передо мной, я — перед ним. Но понял я, как это страшно, лишь хлопнув. И лишь услышав объяснение Патрика. Именно в таких ситуациях Патрик вложил мне в голову мысли, блуждающие в ней и поныне. Не родителям, не школе, не «друзьям», а только ему одному обязан я искрой разума, начавшей тлеть в моем мозгу. Именно Патрик создал мою личность — до знакомства

же с ним все мои поступки были примитивны и рефлексивны, как у какой-нибудь амёбы. «Человек — тварь счастливая и одноклеточная», — любил поговаривать Патрик. Таким счастливым и одноклеточным был и я.

* * *

В Ростове я гостил недели три и хочу сказать, что зажгли мы на славу. В основном мы, конечно, сидели в комнате Патрика. Нас это не очень-то смущало. Патрик не любил выходить из дому, и, глядя на него, я понял, что тоже не люблю. Что ждало меня за пределами родных стен? Одни лишь ублюдки, жаждавшие моей гибели. Но и такой элементарный вывод без Патрика я сделать не мог.

Да и зачем было выходить? «У меня в голове Интернет», — говорил Патрик про себя. У каждого человека в голове Интернет. Просто каждый смотрит в нем то, что и в Интернете обычном. У многих в голове «Веселая ферма» или «Камеди клуб». У меня — графоманский сайт. А Патрик показал мне истинные размеры этого внутреннего Интернета, так что его комната стала эдаким буддистским храмом, где я обрел просветление (а может, помутнение — но помутнение созидательное).

Скажу пару слов про саму комнату. Как и моя (вернее, моя, как и его), она была разрисована странными надписями. Я не любил, когда гости спрашивают про мои надписи (ибо не могу объяснить их значения), а потому не интересовался и надписями Патрика. Хотя кое-что было ясно и без комментариев. Так, на системном блоке красовалась надпись «Москва — ништяк!». Я напыжился от гордости, увидев ее впервые. На стене над кроватью Патрика висел календарь с изображением храма Василия Блаженного. Только висел этот календарь кверху ногами, и перевернутые кресты были обведены черными окружностями. Над календарем Патрик прибил старую материнскую плату под процессор Pentium III (ее мы унесли из мусорного бака одного компьютерного сервиса). Тумбочку он обклеил репринтным изданием газеты «Правда» за март 1953 года — за тот день, когда опубликовали известие о смерти Сталина (газету ему подарил я). На столе Патрика стояла сплетенная из тонких веточек подставка для дискет — «эльфийская». На подоконнике стояла модель «Москвича-412» с отломанной крышечкой капота — ее Патрик особенно любил. Имелось и немало других интересных предметов. К примеру, кукла Барби со сломанной шеей и в перепачканном красной краской хитоне из мешковины. К шее Барби была привязана оборванная веревочная петля. Стены были увешаны рисунками, на половине из которых за-

печатлелись ипостаси Патрика. До Патрика у него было много имен. Анта, Марта, Электричкина — это как минимум, это то, что знаю я. И какая из ипостасей была настоящим Патриком?

Я начал создавать резервную копию воспоминаний давно. Работа движется медленно. Вроде бы прошло двадцать страниц, а я успел состариться на несколько лет. В первой части, посвященной моему раю, я сказал, что персонаж и автор — это совсем разные люди. Теперь я думаю не так. Я считаю, что каждый персонаж — это автор. Каждый из героев Патрика — это Патрик. Каждая маска человека — это сам человек. Патрик любил создавать образы. Писать про тех, кем он хотел бы быть. И тех, кем бы не хотел — но не хотел-то он как раз потому, что тоже становился на их место и примерял на себя их личности. Он фотографировался в разных обличьях, порой ему совершенно чуждых. А кем он был по-настоящему? Да всем он был, я же сказал в начале абзаца. Патрик из «Анальгина» — это настоящий Патрик. И Минерва — это настоящий Патрик. И девушка, похожая на палочника. Все они — настоящий Патрик. А тот Патрик, который представлял передо мной, Патрик «реальный», — это был лишь один из образов, для настоящего Патрика далеко не самый удачный и любимый, хотя и постоянно совершенствуемый.

«Главное, — повторял Патрик, — не пытайся меня изменить». Что он разумел под этим? Как мог я изменить его? А как я мог его не менять? Общаюсь с человеком, ты, хочешь не хочешь, а меняешь его. Какая-то информация, полученная от тебя и о тебе, так или иначе запишется в мозг собеседника, изменив структуру нейронных связей, и никак не просчитаешь, к чему это приведет в дальнейшем. Так или иначе, пробуешь ты человека менять или не пробуешь, изменения будут, другой вопрос, насколько они совпадут с твоими желаниями. Не зря же избегаем мы людей, нам неприятных: боимся, что частица их грязи перекинется на нас самих, — и боимся не зря. Что до меня, то я старался обращаться с Патриком настолько осторожно, насколько это вообще возможно для человека, совершенно не разбирающегося в людях, и изменить не пытался, хотя и хотел, и неустанно просил его быть осторожнее и беречь себя (на что Патрик усмехался, ел тайком пенталгин и вбивал скрепки в руки).

Я точно знаю, что изменил Патрика. Чуть-чуть и не так, как хотел, — но изменил. Я посадил его на группу Turmion Katilot и мультфильмы про Бивиса и Баттхеда. Благодаря мне он полюбил крабов. Я как-то уподобил им самого Патрика: у крабов ведь глаза на антенках, благодаря чему они могут взглянуть на

аверс и реверс одновременно. С тех пор Патрик любил называть себя крабом; ранее же он говорил только «йа криведко». Еще из-за меня он перестал ходить в темных очках. Однажды я сказал, что люди носят темные очки, чтобы укрыть взгляд от окружающих. Патрику это показалось своеобразным читерством в игре под названием «Жизнь», и он убрал очки подальше. Он хотел показать людям, что не боится их. А я вот люблю темные очки. Мне нравится прятать взгляд.

Сейчас тот редкий случай, когда я привел факты в свою пользу не из тщеславия, а лишь как пример тезиса, что любое общение влияет на обоих собеседников.

* * *

Время от времени мы выходили из дома и бродили по Ростову. Патрик думал, что мне скучно сидеть на одном месте; я же считал, что для лучшего взаимопонимания между людьми нужно как можно больше общих впечатлений и воспоминаний, а дома их взять особенно-то и неоткуда.

Этот город всякий раз поражал меня. Его нельзя было назвать глухой провинцией: это был настоящий мегаполис с более чем миллионным населением (а если брать агломерацию, то и до двух миллионов могло дойти). Атмосфера тут напоминала скорее не постапокалипсис, а киберпанк. Именно здесь я начал понимать, что происходит, когда люди перестают заботиться о внешнем мире и начинают все тащить к себе домой. «Осознанный эгоизм» и либертарианство во всей красе. Эти разбитые улицы со свалками на обочине проезжей части, кривые-косые трамвайные рельсы, по которым громят гнилые, рассыпающиеся на ходу трамваи, алкоголики, валяющиеся с утра на тротуарах в лужах мочи и рвоты, оравы гопников, объявления на каждом столбе о розыске маньяков и убийц, наполовину развалившиеся, наполовину собранные из мусора дома, во многих из которых даже канализации нет, гниющие развалины заводов-гигантов. Зато в каждом дворе — иномарки. Зато у каждого — дорогой сотовый телефон, хорошая одежда. На окнах — спутниковые тарелки. Среди руин — коттеджи в три-четыре этажа за трехметровыми заборами. И всюду видеорекамеры, чтобы дерьмо, которым люди активно насыщают внешний мир, не проникло в их священные жилища. «Зато перестройка дала нам пиццу “Хат”!»

Чего я только не видел! Видел дом, у которого сгорел второй этаж, первый был заброшен и разграблен, а в подвале жили люди — причем не бомжи, а прописанная там семья. Видел другой дом, двухэтажный, многоквартирный; часть кирпичной стены второго эта-

жа упала прямо на улицу, и это место огородили ленточками, но другой кусок стены продолжал нависать над прохожими, которые шли мимо и думать не думали посмотреть вверх. Видел бомжа, да такого, который выглядел бомжем даже по сравнению с московскими люмпенами. Он больше походил на человека с необитаемого острова: со спутанными, слипшимися, годами не стриженными волосами и бородой, черный от грязи, в коричневых лохмотьях, невероятно тощий, босой, он шел, шатаясь, по людной улице, и никто не обращал на этого человека внимания. На лодыжке его зиял свежий ножевой порез, из которого еще сочилась кровь.

Водить автомобили в Ростове не умели напрочь. Что такое разметка, мало кто знал, благо попадалась она нечасто. О существовании пешеходных переходов водители даже не догадывались. На светофорах тормозили, лишь когда существовала реальная угроза получить удар в лоб или в бок. На «лежачих полицейских» не тормозили вообще. В Ростове в принципе не любили пользоваться педалью тормоза, поскольку половина улиц спускалась к Дону под сильным уклоном и, двигаясь вниз, остановить свою тонну-полторы ржавого металла было проблематично, а при движении вверх после вынужденной остановки было столь же сложно тронуться.

Проклинаю я ростовские автобусы. Половина парка — это так называемый еврохлам: автобусы, отходившие свое в европейских странах и вместо свалки отправленные в Россию (за деньги неплохие, но с успехом «распиленные»). Автобусы, конечно, качественные, надежные даже после многих лет езды под задницами сосисочников, лягушатников и макаронников, но для наших реалий никак не подходящие. Во-первых, у них всего две двери: спереди и посередине, да и те узкие. Во-вторых, в салоне только сидячие места и очень узкий проход между ними (компоновка как в наших междугородних автобусах). В-третьих, в данных автобусах предполагался кондиционер, но подковать его Левши из автопарков не осилили. А окна не открывались. За бортом тем временем доходило до +42 градусов. Пары поездов мне хватило, чтоб чуть не двинуть кони.

Не лучше обстояли дела и с трамваями. Пидоры-водители запросто могли бросить машину на трамвайных путях и уйти по своим делам. И плевать им было на полуторачасовую пробку. Мир же создан для них одних. Я уж не говорю, что какой-то имбецил, не иначе как в средние века, придумал проводить трамвайные пути посередине улицы, а не вдоль обочины. «Что? Автобусы должны останавливаться вместе с трамваем? В первый раз слышу!» Только выработанная в

школе паранойя помогла мне выжить, когда я выходил из трамвая на остановках посреди четырехполосных дорог.

Открою тайну: в Ростове хотели сделать метро. Существовало несколько серьезных организаций, занимавшихся подготовкой к реализации этого масштабного строительства. Финансировались они сполна, но с конца 1970 годов, когда первые проекты были подготовлены, не выкопали ни одной ямки. На интернет-форумах я читал, что против строительства метро были многие ростовчане. Они аргументировали свою позицию доводом, что с подземкой «Ростов превратится в помойку, как Москва».

Оттого я и предпочитал общественным транспортом не пользоваться, тем более маршруты были проложены не вполне удачно. В основном ходил пешком и Патрик.

Но тут мы столкнулись с феноменом гопничества. Вернее, не столкнулись — феномен сей просто навис над нами дамокловым мечом. Будь я один, меня б непременно достали. Но со мной ходил Патрик, а красивая женщина делает человека в глазах плебса богачом. Как меняется отношение холопов к обладателю «майбаха» или шубы из шкуры вымирающего животного, так поменялось отношение агрессивных ублюдков и ко мне. Да, они видели, что я тощ, жалок, волосат и напрашиваюсь тем самым на уничтожение. Но меня выбрала красивая женщина, а значит, что-то, что может пойти человечеству на пользу, во мне есть. Патрик стал моим талисманом в абсурдном мире «понятий», управляющих жизнью быдла, и за три недели гопники ни разу не преградили нам путь. Лишь однажды подошел к нам жуткий человек, лысый, татуированный, с огромным тесаком в кожаных ножнах за поясом и очень, очень пьяный. Но он всего-навсего хотел узнать, как пройти в библиотеку.

Неподалеку от дома Патрика мы нашли заброшенный завод. Сначала мы решили, что его разбомбили фашисты, но потом идентифицировали следы охотников за металлоломом из 90-х годов, которые выдрали из пола и стен станки, подъемники и вентиляцию, в результате чего половина цехов обрушилась. Один цех, впрочем, выглядел достаточно крепеньким, хотя и не подлежал восстановлению. В нем мы часто проводили время, прячась от зноя, попивая пиво и болтая о жизни. Разбитый пол первого этажа заливала гигантская лужа, посреди которой находился остров из бетонных обломков. На остров можно было попасть, прыгая по кирпичам, ржавым железякам и старым бочкам, из которых вытекало черное нефтяное дерьмо. На этом острове мы и сидели, глядя в Черный Квадрат на дне лужи (это была уцелевшая вентиляционная труба, ве-

дущая куда-то в затопленный подвал). Со дна лужи поднимались пузырьки, громко и с эхом булькавшие. Вскоре мы уловили в бульканье закономерности: пузырьки поднимались не когда-то там, а после определенных наших фраз. Мы поняли, что у наших ног не просто вода, а негуманоидная форма жизни, странная, но разумная, вроде океана на Солярисе, и она пытается выйти на контакт. С тех пор мы болтали втроем: я, Патрик и Мыслящая Лужа.

Жаль, родители Патрика не показывали той же адекватности, что прячущийся на заброшенном заводе жидкий интеллект. Постепенно я начал их раздражать. Ну, Валентин-то сразу понял, кто я такой, только не сказал ничего. А неприязнь Снежаны развивалась скачкообразно. Для начала ее начало раздражать, что я сплю часов до одиннадцати, а то и до тринадцати дня. У них в семье было принято вставать рано. Какие еще традиции я нарушал? Ну, к примеру, я не ел по расписанию. Дома у меня кухня абсолютно не приспособлена для еды: она забита старой мебелью, на мебель почему-то взгроможден компьютер матери, и развернуться в такой обстановке сложновато. Оттого я всю жизнь ел где придется и когда придется. В семье же Патрика на завтрак, обед и ужин за столом собирались все, кто был дома. Проблема в том, что в это время мне жрать совсем не хотелось, и половина еды оставалась в тарелке. Зато я мог заточить какой-нибудь ништяк из холодоса в час заповедный и постный. Причем сам ништяк был определен Снежаной отнюдь не для затачивания мной, а для какой-нибудь фаршированной курицы или селедки под шубой. Так я подорвал к себе доверие, хоть в школе и учился быть вежливым и скромным.

В один прекрасный день мне намекнули, что пора бы двигать домой. Патрика определяли на службу в одно заведение при «экономическом университете» (шарашкиной конторе), занимавшееся копированием и размножением текстовой информации. Работе в заведении этом посвящен рассказ Патрика Rank Xerox Ltd. Я успел посетить эту страну принтеров и ксероксов и даже сфотографировал Патрика в подсобном помещении, все стены которого с пола до потолка были обклеены вырезками из порножурналов. Ну а потом настала пора прощания.

Опять был автобус, опять стоял Патрик под окном и смотрел на меня. Опять кончалась эпоха моей жизни, в которой я был счастлив и которую не сумел задержать на сколь-либо отличное от статистической погрешности время. Я надеялся, что зимой, когда настанут в университете каникулы, мы снова встретимся. Надеялся, что найду подработку, постепенно накоплю на комнату в общежитии, и Патрик снова убежит ко

мне, на этот раз навсегда. А Патрик стоял под окном автобуса, и в его глазах можно было бы прочитать (если б я не был слеп), что никакого счастья для нас не существует, что я родился для того, чтоб умереть в говне и одиночестве, что вот сейчас заканчивается счастье, жизнь, радость и дальше будут только стоны, которые слышат лишь те, кто умирает, запах жареного мяса, смерть и кое-что похуже смерти.

АД

Ну а дальше начинается форменный ад. Язык мой косен, словарь скуден, о синтаксисе и говорить не пришлось, вот и остается лишь одно средство выражения экспрессии. Я обожаю всякие шутки про говно. Мне скажи только «говно» — и я начну ржать сильнее, чем от самого отвязного анекдота. В дальнейшем я часто буду употреблять это короткое, но звучное слово, за которым скрывается мощная, потрясающая по уровню своего философского обобщения символика, грозная стихия, величайшая из земных сил, самая злая, жестокая, всеохватывающая и необоримая.

Я правда не способен по-иному описать то, что было со мной дальше. Если в школе я представлял жизнь как горную тропинку с препятствиями, то теперь я вполне вкусил отравленных плодов Анчара и отныне вижу перед собой только тьму. Темную гранитную скалу с узеньким покатым уступом, за которым начинается бездна. И мы (человечество) стоим в начале этого уступа, близко-близко к скале. Нам кажется, что уступ достаточно широк, и мы крепко держимся, и до обрыва далеко. Но идет дождь, ледяной, гибельный дождь (солнца в этом мире нет — оно существует только в воображении наиболее упоротых из нас, а остальные тешатся оргиями, интрижками, ничтожной властью и безумием). Уступчик под нами становится скользким, мы начинаем сползать в бездну. И мы все в нее сползем. Мы можем чуть-чуть замедлить наше скольжение, если оттолкнемся от чего-то. А отталкиваться не от чего, разве что от тех, кто нас окружает. Тогда мы будем сползать медленнее, а наше окружение — быстрее. Общество так и устроено. Сильные отталкиваются от слабых. А я в самом низу. От меня отталкиваются самые слабые, и я на пороге бездны. Я успел в нее насмотреться, да так, что бездна сама давно таращится в мое грустное лицо. Скоро я скажу ей «обнимашки» — и полечу туда, откуда еще ни один абонент не был доступен.

* * *

Когда я говорил Патрику «пока», я заметил в голове своей одну гнусную мыслишку. Хотя почему гнусную?

Вполне естественную. Нет. Все-таки гнусную. Естественность — не оправдание, а лишь свидетельство гнилости человеческой душонки (того самого, что поехавшие монахи, сжигавшие людей на кострах, называли первородным грехом). Я ведь раньше с девушками не общался. А потому и подумал: «А что если все девушки настолько круты, как Патрик?» Это было самое явственное свидетельство, что Чистилище пройдено и ото всех благостных мыслишек я очищен. Но страшно не это. Страшно, что в глазах Патрика, свободных от темных очков, которые он больше не носил, я прочитал ту же мысль. И у меня есть основания утверждать, что мне не показалось. Патрик тоже прошел Чистилище до конца.

* * *

Я приехал в университет за пару дней до 1 сентября. Я был ответственным студентом и читал информацию на сайте университета. Там было строго-настрого наказано прийти какого-то там августа. И я пришел.

Жирный хрен в очках заставил нас (первокурсников) драить лестницу. Затем хрен в очках согнал нас всех в огромную аудиторию, заставил выслушать получасовые речи каких-то старых бюрократических куриц и объявил под конец, что нас отчислят, если мы не устроим на 1 сентября эпическую феерию. Что мы должны были сделать? Мы должны были: а) спеть *Gaudeamus igitur*; б) поразить студенчество и прочую публику искрометным номером. Да, и чуть не забыл. Этот очкастый хер попросил поднять руки тех, кто считает себя творческой личностью. Это словосочетание пробудило в моем подсознании эмоции не самые позитивные, и руки я не поднял. Более того, на тех, кто поднял, я посмотрел с подозрением.

Все это до боли напомнило Последний звонок в «родной» школе. Там тоже выпускники должны были спеть или сплясать. Наш класс представлял «интеллектуальную элиту» школы, а потому все репетиции песен-плясок сводились к бесконечной ругани между собой представителей этой самой «элиты». Каждый, будучи человеком «талантливым» и «одаренным», хотел быть главным, командовать, чтоб было по-его. Глядя на все это, я предложил нашей классной руководительнице написать речь. Я по простоте душевной давал ей почитать наброски своих романов, и та утверждала, будто видит «талант» (конечно, это был элементарнейший педагогический прием под названием «мнимое подлизывание», а сама классручка была дурой). На репетиции утренника, то есть Звонка, она заявила, что программой утверждены песни и пляски, а речь моя никому не нужна. И, словно проходя экзамен на наличие рабского менталитета, я

согласился тогда спеть в составе хора. И спел, хотя и ненавидел школу, пустые души, окружавшие меня на этом официальном «празднике» и потуге бездарных людишек «самовыразиться». А элита сплясала, хоть и ни хера не репетировала. Как коровы пляшут на катке — вот так и сплясали. И зрители (родители и учителя), помня о «мнимом подлизывании», педагогично похлопали. И все равно, несмотря на публичное унижение, тот день стал одним из самых счастливых в моей жизни. Над Москвой тогда был удивительный закат. Я дико нажрался пивом и вином, расстегнул рубашку и катался по улицам на велосипеде, горлая песни на английском языке, которого не знал. А ленточку и колокольчик я вышвырнул в ближайшую помойку, ибо верил в наступившую свободу, как быдло в 91-м году — в дедушку Ельцина.

Но вернемся в настоящее. Мне снова приказывали спеть и сплясать, причем под угрозой отчисления (что было равносильно повестке в армию). Я был озадачен. Тем более я был озадачен, что боялся людей, а со мной, еще во время чистки лестницы, познакомился парень из моей группы. Этот тип вскоре вывел меня и на остальных моих однокашников, преимущественно девчонок. Они собрались во дворе факультета, на лавочках, отведенных для курения, и обсуждали, какой номер поставят. В итоге решили, что переделают одну предерьевейшую попсовую песню под еще большее дерьмо, и это будет «креативно».

* * *

День ото дня мне становилось все хуже и хуже, и вкусить радость познания новых наук вместе со всеми не вышло. Числа так 31 августа я обнаружил, что не могу встать с постели. У меня ничего не болело, только все тело охватила неимоверная слабость, и температура поднялась до 39 градусов.

«Ты любишь болеть?» — удивленно спросил Карлсона Малыш. «Так кто ж не любит! Лежишь себе, ничего не делаешь!..» Любил и я. В школе я обожал болеть и часто этим занимался. Целую неделю, а то и больше не видеть пидорасов, мечтающих отправить тебя на тот свет, — ну разве не счастье? За это можно заплатить и температурой, и болью, и поносом со рвотой. Все изменилось, когда школа кончилась, а ФСБ началась. Каждый мой чих, покашливание, жалобу на недомогание мать стала расценивать как очередное доказательство, что я отравлен полонием или как минимум

солями свинца. Потому болеть я перестал.

В этот раз не болеть не получилось. Я пролежал на диване неделю, вторую. Температура оставалась на одном уровне. Мать стала вызывать скорую помощь, эскулапов из поликлиники. Диагнозы они ставили противоречивые, а назначаемые препараты облегчения не приносили. Мать потащила меня в поликлинику, сначала к терапевту. Старуха-терапевт возненавидела меня, едва узнала, что у меня ничего не болит. «Как так — “не болит”! — завопила она. — А почему температура?» И направила меня к пяти разным врачам, которые поставили мне пять разных диагнозов, начиная от хронического запора и заканчивая туберкулезом. Мать (надо отдать ей должное) не только не прислушалась ни к одному из них, но и свой внутренний голос, подсказывавший, что это полоний, проигнорировала и повела меня в находившуюся неподалеку платную больничку, где лечатся «слуги народа». И только там врач-терапевт, кандидат наук, проконсультировавшись по телефону со своим учителем-академиком, предположила, что у меня инфекционный мононуклеоз. Специальный анализ крови подтвердил диагноз. А я и не знал, что такая болезнь есть на свете. Так или иначе, опасность моей жизни практически не грозила, и через пару недель все должно было пройти само собой, если только не лопнет печень или селезенка.

Поскольку я пишу это, можно судить, что через две недели все и прошло, и «печенка» (как называла этот орган старуха-терапевт) не лопнула. Вот только в государственной поликлинике меня возненавидели еще больше из-за того, что я обратился в платную больничку, где установили правильный диагноз, поставив под сомнение компетентность бюджетных врачей. Все та же старуха-терапевт заявила, что выпишет меня в университет не раньше, чем через пару месяцев. Ее можно было понять: хотя я к тому времени уже не распространял мононуклеаров, все равно, склей я ласты от разрыва печени или селезенки, ответственность может лечь на нее. Я плюнул и пошел в университет без справки.

(Данную главу не следует рассматривать как выражение моего неприятия бесплатной медицины. Я, между прочим, считаю, что медицина должна быть исключительно бесплатной. Невзирая на все препоны, до недавнего времени в государственных поликлиниках и больницах находились отличные специалисты, которые мне очень помогали. Но ныне большинство их выкинуло оттуда преступная реформа здравоохранения.)

Продолжение следует.



Флор ГАЛИМОВ



Продолжение. Начало в № 6 за 2018 год

ПОКАЯНИЕ НАД ПРОПАСТЬЮ

ТРИЛОГИЯ

Рисунок Марины Медведевой

КНИГА ПЕРВАЯ

ВКУС ЗАПРЕТНОГО ПЛОДА

Спустя несколько дней Лилия снова огорошила мужа:

— Салават, я все знаю: была у ясновидящей, она подтвердила, что ходишь налево. Сказала: муж твой умеет деньги делать, да только с чужими бабами путается. Если не хочешь, чтоб гулял, принеси несколько его волос и три свечи. Сделаю как надо — перестанет распутничать...

С трудом взяв себя в руки, Салават процедил сквозь зубы:

— И что? Заклдовала меня твоя ведьма?

— Нет, я не согласилась.

— И как ты смогла отказаться?

— Побоялась...

— Где ты откопала эту провидицу?

— Магфура-апай отвела к ней.

— Ну ты отколола номер! Не хватило тебе узбекского экстрасенса? Она же сняла с тебя... э-э... черный казанок и белые тапочки...

— Спасибо ей, прошла у меня тяга к самоубийству.

— Раз так, чего ж тебе еще надо было? Никогда не слышала поговорку: к гадалке не ходи — не накличь беду?! — вознегодовал Салават, испугавшись, что ясновидящая «увидит» Зульфию.

Словно угадав его мысли, Лилия чистосердечно призналась:

— Я надеялась, она опишет мне твою любовницу. Хочу найти ее...

Салават разозлился еще сильнее:

— Сколько тебе повторять: нет у меня любовницы!

Странно, но почему-то Лилия на сей раз не заорала благим матом, не стала бить посуду:

— Брось, Салават, не пытайся обманывать: у тебя любая провинность на лбу написана, издалека видать. Давай поговорим спокойно, подумаем, как нам от напасти этой избавиться. Ладно, сняли с меня порчу. А теперь надо и с тебя приворот убирать. А то ходишь как зомби. Иначе не спасем семью от беды. Ясновидящая дала мне адрес очень сильной ворожеи по имени Назира. Завтра же вместе пойдем к ней и снимем приворот.

— Никто меня не привораживал! Нет у меня любовницы! И к ведьмам твоим чертовым я не пойду! — твердо стоял на своем Салават.

На следующий день, спозаранку, он поехал в Уфу за товаром. Когда загрузился и собрался домой, позволила Лилия и оглушила новостью:

— Только что звонила твоя любовница, рассказала, что давно путаетесь! — Голос Лилии выдавал ее взбужденность.

Слова жены прозвучали для Салавата как гром среди ясного неба. И все-таки внезапно затуманенное сознание осветила спасительная мысль-молния: Лилия явно пытается взять его на мушку, придумала ловушку, чтобы он признался в неверности...

— Опять ты за свое?! Ты прекратишь морочить мне голову разной белибердой или нет?! — окриком прер-

вал он жену, вспомнив известное правило: лучшая защита — это нападение.

— Не ори на меня и не пытайся отвертеться! Твоя шлюха все выложила: привет, говорит... — Лилия начала противно так гнусавить, якобы подражая голосу ненавистной соперницы. — А я Зульфия, младшая жена Салавата! Люблю его, и он только мой! Рано или поздно, но будем с ним вместе.

У обомлевшего Салавата отвисла челюсть. Да, Зульфия часто повторяла эти слова, льющие из ее уст как волшебная, ласкающая его слух и чарующая его душу музыка. Сомнений не осталось, значит, она действительно звонила Лилии. Но зачем? С какой целью?..

— Чего притих, гуляка хренов, али язык проглотил? Я же говорила, что все равно дознаюсь, кто она. Вот и узнала, путанка все как на духу выложила. Честно говоря, я и сама уже на ее след напала...

Конечно, Салават не был настолько глуп, чтобы не понимать: шила в мешке не утаишь и тайная их связь когда-либо все равно раскроется. Но, представляя это, до холодной дрожи в сердце жалел Лилию. Вот и настал час икс, они разоблачены... Но каким образом?! Зульфия сама же их и выдала... Такое Салавату и в голову не приходило. Приснись подобное в дурном сне или предскажи кто, ни за что бы не поверил.

— Что молчишь, язык к нёбу прилип? — злорадствовала Лилия.

— Ты успокойся, никому не верь! Думаю, этот звонок — провокация...

— Какая еще провокация? — В голосе жены почудились нотки надежды.

— наших злопыхателей. Специально подговорили позвонить, чтобы нас рассорить. Ладно, не поддавайся, поговорим, когда вернусь.

Салават возвратился домой с тяжелым сердцем. Предстояло невыносимо трудное объяснение с женой. А на ней от негодования просто лица не было. Слышал он, что попадавшие в такой переплет мужики слабее даже руки на себя накладывали. Салават же решил держаться до последнего. Твердил как попугай: ни с кем не гулял, любовницы нет, тот звонок — происки врагов! Лилия не заставляла их, а не пойман — не вор...

Когда стенания, проклятья и многоэтажная ругань Лилии достигли апогея и оба готовы были лопнуть от злости, Салават достал из холодильника бутылку водки, налил полный стакан, выпил и скомандовал шурину Ильнуру:

— Собирайся, кайнеш, надо ехать в офис!

С тех пор как его шофер взял отпуск (видно, подустав от запретных любовных приключений начальника), Салавата возил отсидевший полтора года в тюрьме шурин.

— Опять поехал к своей потаскушке Зульфие?! Племенной бык ненасытный! Остолоп! Балда! Дуролом! Лопух! Простофиля! Жеребец! Проститут! Иди-иди, насовсем уходи и не возвращайся! А если вернешься — пусть внесут тебя вперед ногами! Пропади ты пропадом! Подохни!

Проклятия жены навели на Салавата нехорошие думы: «Сколько же дурных слов пришлось стерпеть от нее за восемнадцать лет! Если б записывал ее оскорбления в тетрадку — давно бы кончилась. Слишком уж неводержанна на язык Лилия! Такого наговорит, накричит сгоряча — ангелы-фарешта, наверное, давно со страху выпорхнули из нашего дома». Чуть погодя поспешил себя успокоить: «Ничего не поделаешь, видать, такова моя доля. Зато она верная супруга, заботливая мать моих детей. Да и не всегда жили мы плохо, много было и радостных, счастливых дней».

Тут же он переключился мыслями на любовницу: «А какая коварная оказалась Зульфия! Надо же, собственными руками позвонила, сама выложила... И как только язык у нее повернулся?»

По пути на работу притормозил у магазина, где Салават купил водку, закуску. Хотелось хорошенько выпить и стряхнуть с себя тяжесть сложной ситуации. Может, чуток полегчает. Особенно злила его выходка Зульфии — он всю дорогу мысленно крыл ее матом.

Как нарочно, она стояла возле офиса, поджидала. У Салавата в душе поднялась буря: ну, сейчас он выдаст ей по первое число... Увидев Салавата, Зульфия радостно кинулась к нему, хотела обнять, но он оттолкнул ее:

— Уйди! И даже не подходи ко мне!

Достав ключи, открыл дверь офиса и прошел в кабинет. Зульфия зашла вслед за ним и села напротив. На ее лице не читалось тени сомнения, сожаления или чувства вины за содеянное, наоборот, во всем облике сквозило какое-то удовлетворение, упрямство и решимость.

Салават налил и залпом выпил рюмку водки. Закусывать не стал, нервно обмахнув ладонью губы, злобно уставился на Зульфину:

— Ну что, героиня, рада?!

Зульфия ответила довольной улыбкой.

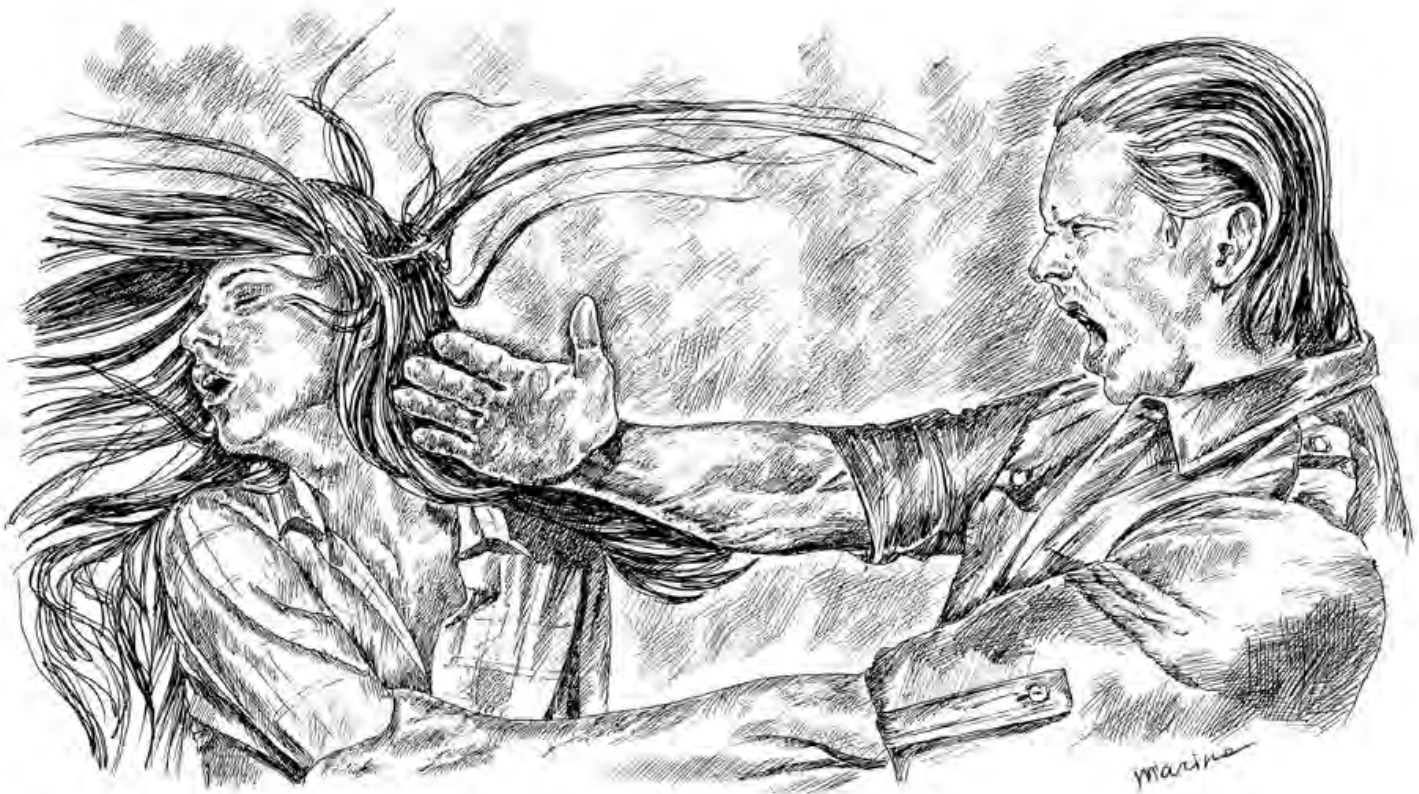
— Ну-у, стерва, доиграешься у меня!

— Не я стерва, а твоя Лилия!

— Не трожь ее! Что она тебе сделала? Тысячу раз говорил — не пытайся разрушить мою семью! Семья — это святое!

— А разве я... не член твоей семьи? Ты сколько раз называл меня своей младшей женой?

— Да, я говорил: возьму тебя второй женой, если согласится Лилия. В этом вопросе нужно ее согласие — так велит шарият!



— Плевала я на согласие этой кикиморы! Пусть твоя старая карга от злости лопнет! Пусть подохнет!

Салават побагровел от гнева:

— Что ты несешь? Ах ты стерва! Если с Лилией что случится, кто моих детей вырастит? Устроила мне такую подлянку и еще вякает сидит!

Он подскочил к ней и дал пощечину. Зульфия закрыла лицо руками и зарыдала. В этот миг она показалась ему такой беззащитной и обиженной маленькой девочкой, что сердце его сжалось от жалости, и он обнял ее:

— Не плачь, моя маленькая...

— Сколько можно прятаться? Пусть все знают: я тебя люблю и никому не отдам! Не хочу и не собираюсь делить тебя с Лилией! Ты должен быть моим! Понимаешь? Только моим!

— А мне вы обе нужны! — угрюмо возразил Салават, но его слова остались без ответа.

Когда вспыхнула, словно огонь, в его сердце любовь к Зульфие и душа, опьяненная вином страсти, вознеслась к небесам, и до самого этого момента, Салават искренне верил: Лилия с Зульфией будут принадлежать ему одновременно. Пусть они пока противятся его воле, но потихоньку Лилия свикнется с существованием соперницы, перестанет ерепениться, со временем примет ее. Как-нибудь уживутся вместе. Конечно, Салават

устроит так, они будут жить на два дома. Жили же его предки до советской власти с двумя-тремя женами одновременно, и ничего. Бабушка говаривала, даже самые бедные мужчины старались завести вторую жену...

В детстве Салават, раскрыв рот и развесив уши, слушал разговоры пришедших к ним на вечерние посиделки женщин и старух. Одна из бывлей крепко отпечаталась в памяти.

У молодухи с двумя детьми умер муж, и по прошествии должного, согласно адату, срока аульские мужчины собрались на совет для решения ее судьбы. Старейшина провозгласил: «Асмабика смолоду овдовела. Она не сможет без мужа вести хозяйство и растить детей. Согласно обычаям, кто-нибудь из нашего рода обязан жениться на ней. Почти у всех по две-три жены, только у Ишгали с Ташбулатом по одной. Постановим так: Асмабику возьмет Ишгали или Ташбулат. Кто именно — пусть решают сами».

Асмабике никак нельзя было оставаться без мужа — это грозило верной гибелью для ее детей. В те суровые времена народ кормился тяжелым трудом: пас скот, выращивал хлеб. Без мужских рук семья не могла выжить. О пенсиях, пособиях, рабочих местах люди даже не слыхивали, женщины занимались только домом и детьми. С целью заполучить кормильца Асмабика по-

шла на хитрость. Встретив Ишгали, сказала: «Только ты мне по сердцу! Да вот Ташбулат прохода не дает... Не получит, говорит, тебя Ишгали, сам женюсь... Загляни вечером, поговорим». Повторив те же слова Ташбулату, Асмабика раззадорила обоих мужчин. Вечером Ишгали, предвкушая приятное свидание и довольно хихикая, пошел к Асмабике. Но... вместо жарких объятий молодой вдовушки получил удар увесистой дубинкой по голове. Это Ташбулат, поджидавший соперника за углом дома Асмабики, долбанул его сукмаром, с которым охотился на волков. Ишгали не помер, но остался глухим на всю жизнь.

Женщины, в большинстве своем коротавшие век в одиночестве в основном из-за войн, выпадавших на каждое поколение, послушав поучительную историю, тяжело вздыхали: «Эх, подружки, были же времена, когда баб без мужей не оставляли...»

Вроде бы ветер перемен снова повеял в ту сторону: в некоторых республиках Средней Азии и Кавказа многоженство закрепили законом.

При всем том последние слова Зульфий вдребезги рушили сладостную мечту Салавата: даже не моргнув глазом, она заявила, что не желает делить его с Лилией. Бесстыжая! Да, советская власть вконец испортила женщин: нынче трудно удержать их в кулаке, тем паче, разжав, заставить плясать на ладошке под твою дудку. Неужто Салавату придется выбирать лишь одну из них?..

Телефонный звонок вырвал его из потока невеселых мыслей. Он сразу понял: конечно же, это Лилия. Аппарат трезвонил без остановки, но Салават не стал брать трубку.

Помирившиеся влюбленные через пару часов собрались ехать на съемную квартиру. Странно, но Ильнура до сих пор не было. Салават ведь велел ему держаться поблизости.

Стоило открыть запертую входную дверь, как внутрь ринулись невеста откуда появившиеся Лилия с двоюродной сестрой Науфилей. Чтобы не пропустить их, Салават раскинул руки, но те шустро прошмыгнули под ними и бросились к Зульфие. Она тоже не промах, успела закрыться в комнате напротив. Однако разъяренная Лилия в два пинка вышибла довольно крепкую дверь и, влетев в комнату, накинута на соперницу. Салават хотел растащить их, но не успел, кто-то вдруг тяжело повис на нем сзади, крепко сдерживая. Это был Ильнур...

— Ах ты, сволочь! Уже продал меня?! Пусты сейчас же, стукач, убью! — орал Салават благим матом.

Только шурин и не подумал послушаться, а еще сильнее вцепился в него. Будучи под хмельком, Салават не смог сразу вырваться. Ильнур — парень здоровый,

мускулистый. Хвастал, что в тюрьме за еду и курево участвовал в подпольных боях без правил.

Тем временем между Лилией и Зульфией разгорелась настоящая битва. Зрелище было отвратительное: со смачной руганью они царапали, дубасили друг друга, затем с остервенением стали таскать друг друга за волосы. Несмотря на более внушительные формы, Зульфия в какой-то момент начала поддаваться. Похоже, чувство вины уменьшало ее силы... Присутствие Науфили, раззадоривавшей сестру воинственными возгласами, конечно, тоже шло не на пользу Зульфий. Салават впервые видел жену в таком состоянии: на красивое ее лицо будто надели страшную маску — глаза бешено блестели, толстые губы и язык беспрестанно извергали проклятия. Несмотря на небольшой рост, она была так злобна и яростна, что могла скрутить соперницу в бараний рог. Видя, как Зульфия начинает выдыхаться, Салават заорал во все горло:

— Зульфия, держись! Бейся!

Нет, не может, уже с трудом держится на ногах... Лилия намного напористее, свирепее, если сойдет противнику с ног — затопчет, размажет...

— Зульфия, кому говорю: не поддавайся!

Никак. Все, выбилась из сил. Конец. Лилия заваляла ее на пол... Начала безжалостно топтать! Сейчас убьет... Стремясь во что бы то ни стало спасти любовницу, Салават, отчаянно дернувшись, наклонился вперед и, резко откинувшись назад, что есть сил ударил Ильнура головой в подбородок. Шурина поневоле отпустил его. С разворота вдавывая шурина кулаком в лицо, Салават кинулся разнимать своих женщин. Выдернул Зульфию из-под ног обезумевшей Лилии и подтолкнул в сторону входа:

— Беги скорее...

Ого-го, да родная женушка, оказывается, хуже зверя: стоило Зульфие побежать к двери — Лилия прыгнула на нее, словно хищная волчица на беззащитную лань, сдернула с головы норковую шапку. Зычно, как последняя уличная торговка, проорала вдогонку:

— Это наша шапка! Шалава!

— Эх, ты! Тряпичная ты душа... — вскинулся на нее Салават.

— Шапку наверняка купил ей ты! Значит, она моя! Законной жены твоей! — будто пролаяла Лилия, тяжело дыша, и подняла шапку над головой. Сейчас она всем видом напоминала победившую в смертельной схватке дику амазонку.

— Ну-ка, скажи, сколько у тебя шапок?! А с человека последнюю сдираешь, разбойница! — возмущался Салават.

— Пусть ходит без шапки!

— Не выйдет, завтра же куплю новую...

- Если купишь — снова отберу!
- Я тебе отберу, злобная баба!
- А эта девка-разлучница, значит, добрая?!
- Подобрее тебя!

Наступила тишина. Наконец Лилия негромко вымолвила:

- Пойдем домой...
- Иди сама!
- А ты куда, опять к любовнице?
- Нет, и к ней не пойду.
- А где будешь ночевать?
- В офисе.
- Брось, Салават, идем домой, устал, поди... — примирительным тоном заявила Лилия.
- Что, навоевалась, злюка?
- Мужа отдать — как душу свою отдать. С чего я должна уступать тебя какой-то шалаве...
- Она не шалава!
- Не защищай ее, дуралей! Совсем мозги потерял? До сих пор не понимаешь, что эта сука крутит-вертит тобой...
- Сама безмозглая!
- Ну ладно, Салават, не будем спорить, пойдем домой.
- Сказал же, не пойду!
- Пойдем же, я тебе пирог с гусятиной испекла, коньяку хорошего купила. Поешь пирога, выпьешь и ляжешь спать.

Вот чертовка, знает, с какой стороны подлезть... Салават почувствовал, что действительно проголодался. Две-три рюмки коньячку тоже пришлось бы кстати. Да и спать хочется, притомился. Ну и денек выдался...

— Пирог остывает. Знаешь ведь: не годится пищу ждаты заставлять, а то обидится...

— Не нужен мне твой пирог, ешь сама! — артачился Салават. — Кормишь с руганью и проклятиями, твои блюда камнем ложатся в желудок. Все, хватит, наелся!

— Покормлю только, не буду ругаться. Слово даю, ну пойдем домой!

После долгих уговоров Салават решил уступить жене. Честно говоря, он не намеренно заставлял ее долго упрашивать себя. Слишком велико было его потрясение. Знал: жена злонаравна. Но не представлял, что до такой степени... Увидев, как она за пару минут потеряла человеческий облик и дралась как фурия, в душе он сильно поостыл к ней. Сердце, казалось, обратилось в камень.

* * *

Жена сдержала слово, не стала упрекать. Молча поели и разошлись. Муж лег отдельно.

Утром Салават проснулся поздно и долго лежал, уставившись в потолок. Горло пересохло, а душа ныла от небывалой печали. Встал с постели, умылся, допил оставшийся с вечера коньяк. Тоска лишь усилилась. Достав из холодильника водку, налил в чашку. Тут на кухню вошла Лилия:

— Все пьешь?

Салават не ответил, разговаривать с опостылевшей женой не хотелось. Перед глазами стояла Зульфия. Беспреданно думая о ней, он затянул старинную народную песню «Сибай»:

В зеленые сани, дуга с колокольчиком,
Запряги, Фатима моя, гнедую лошадь.
Если бы вернулся жить в свой край,
Добился бы я, Фатима моя, цели...

Эту песню сложил человек, назначенный кантонным начальником в далекую от родной стороны провинцию. Он так кручинился по любимой жене, детям, дому, аулу, что родилась в душе бессмертная песня.

Всем сердцем пел Салават и представлял такую картину: мол, его тоже отправили кантонным в чужие края. Вот он на санях — кошевке, запряженной парой резвых лошадей, звеня колокольчиками, сквозь снега и метели возвращается домой к любимой жене — к Зульфие...

Здесь не земля, где соловьи поют,
Не широки ее долины и луга.
Не плачь же, Фатима моя, не плачь,
Здесь не земля, откуда бегом добежишь...

Перед его мысленным взором, ни на минуту не исчезая, стояла Зульфия. Нет, он не плакал, но из глаз капали слезы. И он все тянул и тянул «Сибай».

Когда это продолжилось и на следующий день, Лилия не выдержала, подошла к мужу:

— Все распеваешь да слезы льешь. По Зульфие скучаешь?

— Тебя это не касается. Я с тобой жить не буду, злая ты баба, — отозвался Салават.

Наступило тягостное молчание.

— Уйдешь-таки к любовнице?

— Да!

— Чем она лучше меня?

— Во всяком случае, не такая злющая...

Стремительно вскочив со стула, Лилия выбежала из кухни и через минуту влетела обратно, почему-то обутая в сапоги. В этот момент Салават наливал себе водку. Она взяла из буфета чашку и поставила на стол:

— И мне налей!

Он внимательно посмотрел на нее:

— Не выделяйся!

Вырвав из мужниных рук бутылку и налив себе, Лилия чокнулась с ним и нарочито выпренно произнесла:

— Выпьем за любовь!

Когда Салават допил, она повторила вопрос:

— Ты правда собираешься уйти к ней?

Лилия, как заведенная, дрожащими пальцами беспрестанно вертела чашку на столе с противным скрежетом.

— Да.

Снова замолкли. Лилия, недобро смерив его взглядом, опять повторила:

— Так, значит, уйдешь?

— Сказал же, да.

Лилия перестала нервно водить чашкой по столу и резким движением выплеснула водку ему в глаза.

— На тебе, гуляка!

Салават ахнул и от нестерпимой рези в глазах скатился со стула на пол. Лилия с остервенением начала пинать его ногами. Вот, оказывается, для чего она надела остроносые сапоги...

— На тебе, получай! — Лилия старалась попасть ему в пах. — Я тебя к ней подобра-поздорову не отпущу! Сделаю из тебя непригодного мерина! Вот тебе, вот тебе!

Как бы тщательно ни целилась, Лилия в желаемое место не попала. Когда в глазах немного прояснилось, Салават рывком вскочил с места и ударил ее ладонью по лицу. Получив еще одну оплеуху, жена громко зарыдала.

— Вот ты и открыла свое истинное лицо, стерва! Больше ни минуты с тобой не останусь. Талак! Талак! Талак!¹

Салават даже протрезвел от негодования. Хотел взять ключи от сейфа, но не нашел. Оказалось, жена подсуежилась, успела их спрятать.

— Где ключи от сейфа?!

— Зачем они тебе?

— Деньги заберу!

— На свою содержанку хочешь истратить?

— Какое твое дело? Ключи на стол!

— Зачем тебе деньги?

— А на что я должен жить?

— Пусть любовница тебя кормит!

— Отдай по-хорошему! Эти деньги заработал я!

Салават требовал вернуть ему ключи целых полчаса, пока Лилия наконец не швырнула их ему в лицо:

— На, подавись! Пропади ты пропадом со своей проституткой!

Открыв сейф, Салават взял пачку стодолларовых купюр и быстро оделся. Дернул входную дверь, но Лилия, оказывается, заранее заперла ее изнутри и также спрятала ключи.

— Надеешься меня остановить?

Он со злостью дернул двери поджии, вышел, с горячностью распахнул раму и выпрыгнул на улицу. Было довольно высоко, хоть и первый этаж. Отряхнувшись, твердыми шагами поспешил прочь от дома. Но тут слышался отчаянный крик:

— Атай²! Постой! — Это был Рустам.

Салават неохотно остановился.

— Что, улым³?

— Атай, прошу тебя, не уходи!

— Рустам, ты же знаешь, что у нас творится...

— Атай, останься! Что я тут буду делать без тебя?

— Улым, ты уже не маленький, скоро восемнадцать.

— А что будет с мамой, сестрами, со мной? Мы же пропадем!

— У вас есть мать...

— Что она нам даст? У нас дома ты главный!

— Хоть я и ухожу, но вас не брошу! Буду помогать...

— Отец, не получится так... Прошу тебя, не уходи!

Не дай нам пропасть! Мне в этом году школу заканчивать, куда я поступлю без тебя?

Салават не смог отказать умоляющему сыну, дорогому первенцу — вернулся домой. Пил беспробудно и пел тоскливо до тех пор, пока не почувствовал, что ему совсем худо. Сил не осталось ни капли. Да и настроение — хуже некуда: он ощущал себя распоследним негодяем перед Зульфией, Лилией, детьми и целым миром. Положение свое виделось Салавату беспробудным, а любовный треугольник превратился в безвыходный лабиринт. Что же делать? Как выбраться из этого лабиринта, способного навечно запутать его и лишить абсолютно всего: жены, с которой он прожил восемнадцать лет, дорогих детей, теплого дома, нажитого имущества? Как спастись от девятого вала последней любви, захлестнувшей его в сорок лет, словно цунами, и грозящей разрушить привычный его мирок? В то же время он понимал: после последних событий их жизнь никогда не будет прежней...

* * *

В один из этих черных дней Салават с трудом встал, умылся, снова налил водки.

— Опять пьешь? — задала ставший уже привычным вопрос Лилия.

¹ В исламе — трехкратное объявление развода, произносимое мужем в знак разрыва брачных отношений.

² Атай — отец (башк.).

³ Улым — сын (башк.).

— Что ж мне еще делать?

— Значит, все симптомы совпадают.

— Какие еще симптомы? — Он равнодушно взглянул на жену.

— Привороженный человек резко остывает к жене и как одержимый начинает бегать за любовницей. Усиливается тяга к спиртному. Чувешь, что уже пьешь безо всякой меры?

Салават задумался. Лилия была права, он начал выпивать очень много.

— Да пойми ты наконец: твои выкрутасы — никакая не любовь, а всего лишь действие ворожбы. Сам видишь, все симптомы налицо. Не обманывайся, не дай разрушить нашу семью! Давай сегодня же пойдем к ясновидице Назире, пусть излечит тебя, избавит от действия приворота!

— Никуда я не пойду...

Вроде бы проблески здравого смысла склоняли Салавата к доводам жены. Но что-то заставляло продолжать отнекиваться.

— Умоляю тебя, сходим к ней! Нельзя упускать единственный шанс для сохранения семьи! Если нет на тебе приворота, а любовь, как ты думаешь, настоящая, то ясновидица это увидит. Как сердце велит, так и поступишь. Захочешь — уйдешь к своей Зульфие...

Мечущемуся меж двух огней Салавату эти слова понравились. Надежда на то, что Лилия с Зульфией уживутся, не оправдалась. Значит, рано или поздно придется выбирать одну из них. Правда, сейчас он совсем не желает оставаться с Лилией. То, что она избилась Зульфией, да еще посмела поднять руку, вернее, ногу, обутую в остроносые сапоги, на него, тем более покусалась на самое дорогое для мужчины, ну никак не уместилось в сознании Салавата. Где это видано, чтобы жена... Тсс... Лишь бы люди не узнали о его страшном позоре! В общем, нельзя после всего этого жить с такой... Сама теперь предложила поступать так, как сердце велит. Надо согласиться. Увидит гадалка, что нет никакого приворота, тогда уж не обессудь, прощай, старая и постылая жена!

Хоть и принял Салават решение, но закралась в душу тревога и сложились стихи:

Я тебя предупреждал —
Любовь моя — огневой вал,
Любовь моя — цунами.
Вот идет девятый вал...
Что будет с нами?
Что будет с нами?..

Почему-то пришла в голову мысль: в сохранности ли мольберт, холсты, краски?.. Торопливо вытащил

столь дорогие сердцу принадлежности из кладовки. Любовно и в то же время виновато оглядев их, тщательно протер пыль со своих сокровищ. Затем долго устанавливал мольберт возле окна, закрепил готовый холст, разложил по местам палитру, краски, кисти, мастихины, шпатели. Открыл баночку со скипидаром, и по комнате разлился такой знакомый, приятный для него запах. Приготовив краски, взял в дрожащую от волнения руку кисть и уставился на белый холст. Лихорадочно горящие глаза озарили его изможденное лицо. Во взгляде отразились противоречивые чувства: печаль и радость, отчаяние и надежда, покорность судьбе и решимость восстать против всего мира.

Наконец Салават потянулся к холсту. Странно, но сколько ни пытался, он не смог приблизить кисть к мольберту — белый холст не позволил ему прикоснуться к себе...

— Салават, пойдем к Назире! Прошу тебя! — Лилия вынудила мужа очнуться от тяжелых раздумий.

Хоть и поддался он внутренне ее уговорам, но продолжал стоять на своем:

— Нет, никуда не пойду.

Лилия, наморщив лоб, посидела чуток в задумчивости. Затем решительно заговорила:

— Салават, раньше я не рассказывала тебе о моей родовой тайне по материнской линии... Поведаю о горькой судьбе моего деда Кинзягула. Об этом мы помалкиваем, поэтому знает о нем мало людей: мама, Асма-апай, Бибинур-апай и я. Боимся, если наша история получит огласку, она еще разрушительнее подействует на наш род...

В гражданскую войну дед Кинзягул сражался в рядах башкирского войска. Получив известие о болезни отца, попросил командира эскадрона, хорунжия Габдельмулюка, отпустить его на несколько дней домой. Тот был сородичем деда, жителем соседнего аула, потому и разрешил ему съездить на побывку. Вдобавок Габдельмулюк через него послал письмо своей жене.

Дед Кинзягул, конечно, вначале доехал до дома, проведая отца. А спустя несколько дней отправился в аул хорунжия. Заодно собирался привезти оттуда невесту, с которой был помолвлен еще до войны.

Добравшись до места, дед решил сразу исполнить просьбу командира и передать письмо. Вошел в дом Габдельмулюка, увидел молодую жену командира и... остолбенел, никак не мог отвести от нее глаз. Жена хорунжия Гульюзум была неописуемо красива: лицо светилось, как полная луна, брови — черны, как крылья ласточки, глаза — темны, как ночь... Он с первого взгляда влюбился до смерти, потерял голову и не только не забрав, но даже не повидав нареченную, возвратился домой.

С этого дня он уже не помышлял о подвигах и славе, мечтал лишь о красавице Гульюзум, которая неотступно стояла перед его мысленным взором. На войну не поехал, остался дома. А вскоре пришла весть о гибели Габдельмулюка. Через несколько месяцев Кинзягул застал к овдовевшей Гульюзум сватов. Но она отплатила их восвосяси.

Спустя неделю сам поехал к Гульюзум. Но вдова категорически отказалась от его предложения.

Ослепленный страстью, Кинзягул уже ничего и никого не хотел, кроме желанной, твердо решил во что бы то ни стало добиться ее. С этой целью купил у колдуна приворотное зелье и хитростью опоил любимую. И она не смогла больше противостоять его напору, дала согласие.

Молодожены зажили хорошо. Появилась на свет наша мама. Затем, один за другим, родились еще трое детей...

Вот только Гульюзум начала вянуть, как цветок после заморозков. Пошла к мулле и целителю, а хазрат¹ ей заявил с порога: «Муж приворотом заполучил тебя, вот и хвораешь. Тяжела твоя болезнь, но если скажешь, могу возратить колдовство ему обратно». Она ответила: «Возвратишь — муж помрет. Коли я умру, и он скончается — что будет с детьми? Нет, раз так, лучше помирать мне, хворой», — и ушла в слезах домой.

Мама наша рассказывала, как она пришла домой и с плачем высказала мужу: «Всегда удивлялась, как же согласилась выйти за тебя? Я же тебя нисколько не любила! А ты меня, оказывается, приворожил... Из-за твоего колдовства — помру скоро». Дед тоже горько заплакал: «Ну не мог я жить без тебя!» Она, рыдая, упрекала: «Что же ты натворил?.. Кабы не приворот, в жизни бы за тебя не пошла. Не родились бы дети, которые останутся без матери...»

И правда, бабушка Гульюзум, не дожив и до сорока, ушла из жизни, крепко прижав к груди фотокарточку первого мужа, braveго казачьего офицера Габдельмулюка. А дед наш Кинзягул остался с четырьмя детьми мал мала меньше.

Скоро началась Великая Отечественная война. Деда забрали с первым же набором. Понимая, что дети могут остаться круглыми сиротами, он ушел на фронт с тяжелым сердцем. После войны пришла скорбная весть — он попал в плен и умер в концлагере... — Лилия тяжело вздохнула и продолжила: — Наша мать, ей тогда не было и шестнадцати, не отдала сестер и братишку в детдом, вырастила сама. Младшенькая Хадия умерла, остальные выжили. Мама плачет, вспоминая иногда трудные военные годы. Ведь ее братишке Фарукше с восьмью лет пришлось косить сено.

Как понимаю сейчас, несправедная женитьба деда Кинзягула на бабушке Гульюзум оказала губительное влияние на весь наш род. Оба они рано умерли, дети осиротели. Воздействие колдовства на этом не завершилось, оно коснулось вороньим крылом судеб их детей, внуков и правнуков.

Взять хотя бы жизнь дяди Фарукши: женился на дочери известной в ауле колдуньи. Однажды она, собрав в охапку свой выводок, сбежала от него. Он всю жизнь промыкался без семьи в Казахстане. Лишь на старости лет вернулся на родину и умер, так и не изведав счастья. Подросшие сыновья его сгорели от пьянства, даже не женившись.

Судьба маминной сестры, тети Асмы, тоже заставляет задуматься: промучившись с буйным мужем сорок лет, развелась, когда стало совсем невмоготу. Ей довелось пережить потерю не только детей, но и внука...

Просторные сосновые дома дяди Фарукши и тети Асмы, где когда-то звенели детские голоса, десятки лет так и стояли пустыми, пока не сгнили и не развалились. Их никто не купил, люди боялись повторить их судьбы.

Как подумаю о родных братьях и сестрах, душа болит: кому из них досталась благополучная доля? Ни одному не повезло с семьей. Сестра Бибинур от нелегкой жизни с мужем-пропойцей не вылезает из болезней. Самая тяжкая участь выпала нашему старшему брату Мурзагулу. Старики говаривали, что он так похож на деда Кинзягула, будто из одной плахи вытесаны. Жена-шлюха через полгода после замужества убежала от него с каким-то мужиком. Он так больше не женился. Ушел в мир иной, измучившись от раковой опухоли и одиночества... Вот так, — завершила рассказ Лилия. — Сколько несчастий обрушилось на наш род из-за приворота деда Кинзягула, скольких людей он лишил семейного счастья! До этих пор я радовалась, что из всей родни мне одной повезло в семейной жизни. Рано радовалась — и до нас добрался отзвук огромного греха деда — напоролись на приворот Зульфийи...

Поведанная женой история роковой любви ее деда Кинзягула не оставила Салавата равнодушным. Он согласился пойти к экстрасенсу Назире.

Надо сказать, история их родов драматична и причудливо пересекается с родословными множества людей на земле и даже с шежере Салавата: прямого ее предка прозвали Кашык², братьев его — Волк и Китаец. Родные братья почему-то разительно отличались друг от друга: если Волк был белолицым и светловолосым, то Кашык — черным, как африканец, а Китаец был узкоглазым и желтолицым. Волк во время гражданской войны сражался за красных, а Китаец — на стороне бе-

¹ Хазрат — религиозный чин в исламе.

² Ложка, небольшая поварешка.

логвардейцев. После поражения белых он увязался за ними в Китай. Когда вернулся на родину, ему дали кличку Китаец. Кашык получил свое прозвище после того, как в ауле организовали колхоз и во время полевых работ начали питаться из общего котла. Оказывается, с целью выловить из жиденькой похлебки что погуще он проделал дырочки на доньшке большой деревянной ложки, которую всегда носил с собой в кармане. Конечно, односельчане быстро узнали о его уловке и прилепили хитрецу соответствующее прозвище. А Волка прозвали так за волчат, которых он принес из лесу, вырастил в каменной клетке, а затем забил и сшил себе тулуп из их шкур.

Жители аула давно позабыли настоящие имена трех братьев. Волк и Китаец, несмотря на близкое родство, люто ненавидели друг друга. Кроме того, что один воевал за красных, а другой — за белых, между ними, как говорят французы, случился «шерше ля фам» — встала женщина. Их отец на нареченной для Волка девушке непонятно почему взял да женил Китайца. Вот и усилилась вражда еще более.

А Кашык в конфликте братьев не участвовал, его волновало собственное горе: сокрушаясь о вынужденно сданной в колхоз хилой лошаде, он заболел и малость тронулся умом. Однажды, в момент обострения помутнения, повесил он ложку с дырками над окошком, вырубленным в сторону киблы¹, и принялся неистово биться головой об пол перед этой деревяшкой. Долбил башкой до тех пор, пока не свалился в обморок в благоговейном экстазе. Очнувшись, заставил всю семью поклоняться дырявой ложке.

Когда про странное верование семейства узнали люди, председатель сельсовета вызвал Кашыка в канцелярию и учинил допрос: «Ты почему на дырявую ложку молишься, контра?!» И стал нещадно материться. Кашык не растерялся, задал встречный вопрос: «А кому нам теперь поклоняться? Сказали, что Бога нет, и сбросили с мечети минарет. Мы же должны на кого-то молиться?» Начальник долго молчал, почесывая узкий лоб. Затем открыл ящик стола, покрытого кумачовым ситцем, бережно достал оттуда и торжественно вручил Кашыку изображения Ленина и Сталина, строго-настрого наказав: «Смотри у меня, Кашык, коли не перестанете поклоняться дырявой ложке, показывая контрреволюционный пример всему аулу, внесу в список кулаков и сошлю в Сибирь! С нынешнего дня молитесь на отцов народов — Ленина да Сталина!» Однако Кашык, хотя при свете дня, на людях, и бил челом перед портретами вождей, по ночам, как и раньше, поднимал семью и тайком продолжал поклоняться дырявой ложке. Верно говорят, что запретный плод сладок: спустя

время большинство жителей аула стали последовательно Кашыка — тоже начали молиться на дырявую ложку.

Дети, а затем внуки и правнуки Волка и Китайца хоть и имели одинаковую фамилию — Япкаровы, также не уживались и цапались меж собой, как кошки с собаками. Трещина, которая пролегла между родней во времена гражданской войны, привела в пятидесятых годах к трагедии. Сын Китайца Ахметгали, возвратившийся с Великой Отечественной войны весь в орденах и медалях, был избит и повешен в сарае сыновьями Волка. Убийцы, заранее договорившись, дружно заявили в милиции: «Мы его не вешали, только побили. Устыдился, что не смог нас одолеть, вот и повесился». И душегубов посадили всего на пару лет.

После сего братоубийства потомки Волка не успокоились: в каждом поколении стали лишать жизни хотя бы одного из отпрысков Китайца. Несмотря на это, род Китайца множится год от года. Каким-то чудом на место одного убиенного рождаются по семеро мальчиков. Число же потомков Волка, напротив, почему-то уменьшается, и на глазах хиреет их род. К тому же в последний десяток лет у них рождаются одни девочки.

Верно подмечено, если кому-нибудь беспрерывно твердить: «Ты свинья!», он и сам не заметит, как захрюкает. Похоже, от постоянных возгласов аульчан: «Китайцы! Китайцы! Китайцы идут! Вот придут китайцы...» у потомков Китайца, и в самом деле, сильнее сузились глаза, а лица еще пуще пожелтели. В общем, стали точь-в-точь как китайцы. И общаются меж собой, будто китайцы — грубыми окриками и резкими жестами, словно бранятся. Да и телами обмельчали: мужики чуть больше полутора метров будут, а женщины — еще ниже.

Когда храбрый воин, выбравшийся целым и невредимым из грозного урагана войны, всего в тридцать пять лет был убит близкими родичами, его жена Амина осталась вдовой с полным подолом малых детишек. Самая младшая из них, Салия, — двоюродная сестра Лилии.

Один из осужденных, отсидев за решеткой, дал старшему сыну такой наказ: «Судьи, видать, очень большие люди — что хотят, то и делают: дал мне вместо десяти всего годик... Учись на судью!» Бывший зэк ничего не пожалел, чтобы протолкнуть сына в университет: зарезал единственную комолую корову, трех овец, трех коз — все как на подбор, темной масти, да еще добавок трех гусей и трех черных куриц. Этот человек был отцом Ануза Япкарова, близкого родича Лилии. Ануз способностями не блистал и с трудом окончил университет. Несмотря на сей факт, позже занял кресло судьи Верховного суда России...

А девушка, когда-то сосватанная за Волка, но выданная с богатым приданым — многочисленными стадами и

¹ Направление в сторону священной Каабы в г. Мекке.

обширными пахотными угодьями — замуж за Китайца, была, оказывается, дочерью богача Султана, деда бабушки художника Салавата Байгазина — Гульфаризы...

Непримиримой вражде потомков Китайца и Волка через два года исполнится целый век. Они составляют почти весь аул и давно позабыли, знать не знают корни непрекращающейся междоусобицы. Однако и поныне живут в раздоре. Право, и рассказывать неудобно о причинах последних скандалов — просто курам на смех и петухам потеха... Недавно, принарядившись в праздничный день 1 Мая, всем аулом пришли в клуб. А там какая-то собака наложила на крыльцо очага культуры огромную кучу... Люди столпившись, постояли некоторое время в растерянности. Затем одинокий мужик по имени Мидарис из «волчат» поковырял собачий навоз ивовым прутком и с серьезным видом резюмировал: «Сразу видно, это дерьмо наклал кобель по кличке Актырнак, подросший щенок хромой суки Актапей, поводыря слепой колдуньи Бибисары из рода старика Китайца, троюродной тетки Ахмета. Этот Актырнак — настоящий разбойник — весной пытался утащить нашего одноглазого петуха Пирата...» Ахмету, разумеется, не понравился столь глубокомысленный вывод, и он ощерился, точно китаец: «Что, дипломированным знатоком собачьего дерьма заделался? Иди лучше в лес, покопайся в волчьем помете». Слово за слово, окрик за окриком, и китайско-волчья война, тлеющая в ауле на протяжении века, снова разгорелась, словно пламя от порыва ветра. Кровные родственники опять раздрались в пух и прах, крепко отдубасили друг друга, попутно вымазавшись в том злополучном собачьем дерьме...

Для выяснения причин вековой вражды несколько раз собирали большие сходы и малые курултай. Но, так и не докопавшись до истины, каждый раз доходили до большого мордобоя и, понаставив друг другу шишек на лбу и синяков под глазами, повыбивав зубы и пересчитав ребра, расходились ни с чем по домам...

Правда, прошел слух, что сын старика Кашыка — Кашыкбаш, разменявший уже девятый десяток, с подобострастием уставившись на дырявую ложку, оставленную ему как великий аманат¹ и священный предмет культа, поблескивая вытаращенными глазами, шлепая толстыми губами, торжественно поклялся поведать внукам и правнукам Китайца и Волка причину войны между ними. При этом особо подчеркнул, что расскажет об этом 7 ноября 2017 года. Оказывается, именно так ему было завещано отцом, стариком Кашыком.

К сожалению, Кашыкбаш не смог донести до потомков священное слово: неожиданно отошел в мир иной, прижав к груди драгоценное наследство — дырявую ложку. Говорят, предчувствуя скорую кончину, Кашыкбаш начал было что-то строчить на обрывке туалетной бумаги. Однако успев написать лишь: «Вот что поведала дырявая ложка — не сто лет назад, а еще с пещерных времен...», повалился на пол... Таким образом, причины столетней войны двух родов остались нераскрытой тайной, погребенной в глубине веков.

Шушукались по секрету, что старик Кашыкбаш, лишившийся перед кончиной дара речи, тщетно пытался сообщить что-то важное собравшимся у смертного ложа родственникам. Но сколько ни пытался, ничего объяснить не смог, только мычал. Когда сыновья попросили кого-нибудь из них назначить главным хранителем священного тотема, старик сильно разочлился, несколько раз ударил себя дырявой ложкой по лбу, притиснул ее к груди, красноречиво показал потомкам средний палец правой руки и навечно закрыл глаза.

Три дня и три ночи, поломав голову в попытках растолковать, что он намеревался сказать перед смертью, наследники решили провести внеочередной курултай. Но и это мероприятие не помогло раскрыть великую тайну. Как обычно, все переругались, передрались, с тем и разошлись.

Все же после жаркого и скандального курултая дырявая ложка торжественно перешла к старшему сыну покойного Кашыкбаша — Кашыкбаю.

Нынче дырявой деревяшке поклоняются потомки не только Кашыка, но и большая часть отпрысков Китайца и Волка. Продырявленные деревянные ложки висят на почетном месте во многих домах. Разница в одном: если прежде на дырявую ложку молились тайком, то ныне ей поклоняются открыто. Только до сих пор непонятно: если большинство из них боготворят одно и то же — ложку с дырками, то почему же кровные сородичи продолжают в пух и прах ссориться и драться меж собой?

Судья Верховного суда Ануз Япкаров — потомок Волка, а Лилия — из рода старика Кашыка. Несмотря на корни, Ануз человек добрый и великодушный. Он никогда не делит многочисленную драчливую родню на своих «волков», на врагов-«китайцев» и на потомков Кашыка. Всем приходит на выручку в делах судебных и житейских.

Еще на заре юности, спустя полгода после того, как Земфира, незабвенная первая любовь Салавата, внезапно порвала с ним отношения, его кумиром стала знаменитая чернокожая американка Анджела Дэ-

¹ Аманат (араб.) — в данном случае распоряжение, наставление последователям, завещание потомкам, сохраняемое и чтимое ими.

вис. Большое фото ее он повесил на стену комнаты в коммуналке. Под плакатом было написано: «Свободу Анджеле Дэвис!» Глядя на изображение пламенной коммунистки каждый день в течение нескольких лет, стараясь вырвать Земфиру из сердца и слушая песню Angel лидера группы The Beatles Джона Леннона, Салават понял, что вышиб клин клином — полюбил жгучую афроамериканку. Он даже послал Анджеле письмо с объяснением в любви. Хотя и сам белый, вложил в конверт заявление с просьбой принять его в организацию «Черные пантеры», борющуюся за права негров. Но ответа не получил...

Не бывает ничего случайного. Он вернулся из Афганистана, залечил раны, встал на ноги — и все-таки встретил свою Анджелу Дэвис, о которой мечтал столько лет! Девушка, невероятно похожая на его кумира, была студенткой торгово-кулинарного училища Лилией Япкаровой...

Крепко стиснув жаркую ладонь Лилии, Салават с тех пор не отпускал ее от себя. Через несколько месяцев они поженились. Как только начали жить вместе, Лилия содрала со стены плакат с Анджелой Дэвис, выкинула его на помойку, а взамен повесила на то место свою увеличенную фотокарточку. Заодно разорвала на мелкие кусочки фотографии и письма Земфиры...

* * *

Ночью Салавату приснился загадочный сон.

Неописуемо ясный, погожий день. На голубом небе без единого облачка светит ласковое золотое солнце. На ветках деревьев, согнувшихся под тяжестью сочных плодов, щебечут птицы. На изумрудно-зеленом

цветущем лугу пасутся кони, олени, дикие козы и зайцы. Рядышком с ними помахивает хвостом красная лисица, потягивается серый волк, неуклюже продирается сквозь кустарник косолапый медведь. Эти хищники почему-то не кажутся опасными, потому зайцы и козы нисколько их не боятся.

Со стороны неспешно текущей поблизости полноводной реки, сверкающей, словно серебро, веет свежий ветерок. Прекрасные лебеди, плавающие в реке, учат маленьких птенцов нырять. Возле них время от времени плещутся рыбы, отливающие золотом и серебром.

Вот появились полуголые мужчина с женщиной, идущие, взявшись за руки, по утопающей в цветах поляне. Возле яблони, усыпанной маняще спелыми плодами, они остановились...

Салават пригляделся внимательнее. Да ведь этот статный мужчина — он сам! А кто та красавица, что стоит возле него? Лилия или Зульфия?

Вдруг внезапно разверзлась пропасть, и захватывающая дух красота исчезла. Душу Салавата обуяло чувство огромной потери, печали и тоски. Будто он лишился самого дорогого, важного, не сравнимого ни с чем, сокровенного. Салават всем сердцем жаждал, чтобы невыразимо прекрасное зрелище, наполнявшее всю существо его бесконечным счастьем, повторилось вновь. Однако вместо этого невесть откуда послышался голос:

— Разве я буду поклоняться творению Твоему из глины? Видишь, Ты отдал ему предпочтение передо мной, если Ты дашь мне отсрочку до Судного дня, я введу в соблазн и искореню все его потомство, за исключением немногих. Увидим тогда, кто кому будет поклоняться...

Продолжение следует.





Владимир КАЧАН

Владимир Качан — народный артист Российской Федерации. Родился в 1947 году в г. Уссурийске Приморского края. В 1953 году отца-военного перевели на полгода в Москву, а затем, когда Владимиру было шесть лет, — в Ригу. Учился в 10-й рижской средней школе с производственным обучением. Занимался легкой атлетикой. В 1969 году окончил Щукинское театральное училище (курс Львовой). В фильме «Звезда пленительного счастья» Владимир Качан исполняет песню на стихи Булата Окуджавы. После этого Леонид Утесов приглашает его в свой театр. Качан работает там, но не оставляет выступления на бардовской сцене. С 1991 года — артист Московского театра «Школа современной пьесы», до этого работал в других театрах: в ТЮЗе (1969—1980), в театре на Малой Бронной (1980—1984). Член Союза писателей Москвы. Написал пять книг. Выпустил тринадцать CD со своими песнями. Один из них — «Оранжевый кот» — только на стихи Леонида Филатова.



НА КОСТЫЛЯХ ЛЮБВИ

РАССКАЗ

Рисунки Настасьи Поповой

*Шансы на «любовь до гроба»
с годами значительно возрастают.
Из анекдота*

Диковинные фамилии встречаются иногда, это всем известно. Но они бывают еще диковеннее, если непостижимым образом сопрягаются с родом деятельности или судьбой их носителей. Например, чемпион мира и олимпийских игр по фехтованию — Кровопусков! Или (в рекламе) — специалист по уходу за кожей лица от

преждевременного старения носит фамилию Старокожева. А вот еще — тренер детской команды по спортивной ходьбе — Шипигусев. А как вам понравится участковый Кромешный? И заметка в газете, дословно: «Немолодой рабочий Георгий Степанович Гадючок работает сейчас слесарем, а в прошлом — тренер-

акробат». В общем, мастер на все руки! Это, знаете ли, подлинная цитата из очерка о слесаре Гадючко. Из газеты. А в разделе «Происшествия» заметка о подростке, который зимой из своего села пошел за водкой в другое село и по дороге замерз. Трагично. Но не так уж, ибо фамилия подростка — Чекушко.

Вот точно так же соответствовал своей фамилии и наш герой — Сидор Игнатьевич Кошмарюк, пенсионер на заслуженном отдыхе, наводивший легкий ужас на всех соседей и случайных прохожих, встретившихся невзначай на его прямом, бескомпромиссном пути, в его стерильной биографии. Нет-нет, что вы, он никого не бил и особо не пугал, а кошмарил людей по-другому, к примеру, очень неприятной категоричностью своих мнений буквально обо всем. За другие мнения он презирал всех, с кем общался. Люди это чувствовали и старались избегать любых контактов с Сидором Кошмарюком. За глаза все в их садовом товариществе называли его просто и грубо — «старый хрен». Со временем слово «старый» для краткости отбросили, и жители, если речь заходила о нем, стали звать его односложно и элементарно — «хрен». «Хрен» — и все! И все понимали, о ком идет речь. Тем более что само слово и его смысл очень даже подходили Сидору Игнатьевичу. Он был похож... Нет, не на то, что продается в баночках или тюбиках в протертом и обработанном виде, а именно на корень хрена. Сидор имел нездорово-белый цвет лица, кривую фигуру и волосы на тощей, морщинистой шее. А уж про ядреный и терпкий вкус и говорить-то нечего.

Хрен Сидор очень не любил интеллигенцию. Он вообще мало кого любил, да практически — никого, но интеллигенция и все ее проявления раздражали его особенно остро и даже болезненно. Любые очки его нехорошо возбуждали, а свои собственные, которыми ему приходилось пользоваться в случае крайней необходимости, когда надо было что-то прочесть, он надевал непременно со словами «твою мать!» Из чувства противоречия он никогда не ел при помощи ножа, так как терпеть не мог все эти интеллигентские замашки, а если, допустим, попадался бифштекс, он накалывал его на вилку и просто откусывал. А мог и не на вилку, потому что ему больше всего нравилось взять в руку и так откусывать. А уж слова «отнюдь» и «весьма» делали его просто зверем. Если он где-нибудь случайно слышал одно из них, он тут же хватался за несуществующую кобуру, которой у него уже давно, с момента увольнения из охраны ведомственного учреждения, не было. Слово «инцидент» он еще как-то выносил, но вот «отнюдь» почему-то доводило до судорог.

В их подмосковном дачном поселке все друг друга знали, но Сидор Игнатьевич более или менее регулярно общался только с одним человеком, своим соседом Ва-

силием Иосифовичем, с нормальной, причем, фамилией — Бронштейн, да и то только потому, что тот однажды ему помог и даже практически спас его от глухоты, а возможно, и смерти.

А дело было так: однажды утром, когда Сидор вышел на крыльцо своего дома, потянулся и только собрался сделать несколько полезных упражнений, ему в ухо залетел жук. И остался там, жужжа и шевелясь.

— Этого мне только не хватало! — горестно размышлял Сидор Игнатьевич, пытаясь выковырять из уха жука — сначала пальцем, потом веточкой, а еще — булавкой и даже перочинным ножом.

Мысли о несовершенстве мироздания постепенно переросли в реальное опасение за здоровье. Не жука, конечно, — да пусть он хоть сдохнет, зараза, но не в его ухе! Тем более что он там подозрительно затих, перестал шевелиться. «А ведь он может каким-то образом проникнуть и в мозг», — мелькнуло в незанятом пока жуком мозгу Сидора ужасное подозрение.

И тогда он стал звать на помощь соседа. Тот спал еще, но чувство долга и вообще человеколюбие подняло его с постели, и он вышел на зов. И заметил, что сосед — в отчаянной тревоге, хотя всячески пытается это скрыть. Твердая военная закалка запрещала Сидору раскисать, но все равно паника росла и грозила затопить все его непоколебимое существо. Василий Иосифович быстро вник в проблему и пошел в дом за инструментом. До своего заслуженного отдыха сосед Бронштейн был стоматологом, что почти естественно для его фамилии, и дома у него сохранился дежурный набор медицинских приспособлений, в том числе и такой тонкий металлический крючок, зонд, которым с зуба убирают все лишнее. Надо было не задеть в ухе барабанную перепонку и постараться добраться до злобного жука аккуратно. Василий был стоматологом выдающимся, и ему эта операция удалась. Уже дохлого жука он своим волшебным крючком все-таки извлек из волосатого уха соседа. Не только крючок, но и пинцет участвовали в этой нехитрой, но опасной операции. Жук таким образом так и не добрался до мозга Сидора Игнатьевича. Или не захотел. Умер по пути. Но смерть, по мнению Сидора, была близка, а значит, можно считать, что сосед спас его от трагического и вместе с тем — нелепого финала жизненного пути. Они с соседом бурно отпраздновали в тот вечер победу над жуком. Вот с тех пор Сидор Игнатьевич Кошмарюк и считал Василия Иосифовича Бронштейна единственным человеком, которому можно доверить не только ухо, но и жизнь и на которого можно положить. То есть упертая мизантропия Сидора сделала в лице Бронштейна единственное исключение.

А сама мизантропия обрушилась на Сидора как-то сразу — лавинообразно и неотвратимо. Раньше все

было более или менее терпимо, но вот случилось так, что чаша терпения оказалась переполненной. Сначала что-то просто раздражало, потом стало бесить... Ну что тут такого, чтобы так разозлиться: услышал в кафе диалог толстенной тетки с совсем маленьким сыном.

— Миша, съешь булочку.

— Не-е-е, — тянет капризно Миша, тоже довольного-таки пузатый ребенок.

— А вот этот тортик, а? Ну, кусочек маленький! Вкусотища! А? Ну съешь!..

— Не хочу-у, — ноет Миша, у которого на щеках следы диатеза, возможно, от обилия сладкого, от чего же еще!

— Ну ладно, ничего, мама за тебя съест, — говорит тетка, уже запихивая в рот кусок торта и ничуть не огорчившись, а наоборот — обрадовавшись тому, что сейчас может с удовольствием доест оставшееся.

— Уй ты, пузанчик мой, — треплет она пухлую щечку сына сладкой от торта рукой. — Пуза-ан! — умиленно повторяет она, вытирая затем руку о Мишины штанишки.

Ну скажите — может ли этот диалог, этот пустяк вызвать такие пароксизмы ненависти у нормального человека, какие вдруг возникли у Сидора Игнатьевича? Да никогда в жизни! А Сидора подобные мелочи бесили все время, что бесконечно расшатывало его и без того уже изрядно расшатанную нервную систему.

У соседа, Василия Бронштейна, которого после истории с жуком с последующей выпивкой Сидор стал интимно называть близким по детству именем Васек, были свои, отличные от Сидоровых, основания для мизантропии и даже брезгливости по отношению к человечеству. Еврейский интеллигент Васек никак не вписывался в систему взаимоотношений Сидора с людьми, но вот видите, что получилось! Страшно подумать, чем могло обернуться для них такое взрывоопасное соседство, если бы не судьба в лице того самого жука. А так — подружились... Единство, знаете ли, противоположностей...

У Бронштейна совсем иначе, чем у Сидора, развивалось отношение к людям и окружающей среде. Его можно было обозначить всего двумя словами: брезгливое сострадание. А вот у Сидора было презрение. Без всякой жалости. Но мнение, в общем, у них было одно: нас окружают тупые, невежественные, ленивые и жадные идиоты, и порядочному человеку жить среди них — едва терпимо. Но задевало их разное, разные случаи и обстоятельства. Новый друг Васек и внимания бы не обратил на тот эпизод в кафе с теткой и мальчиком, и уж никоим образом это бы его не возмутило. А Сидор, в свою очередь, обязательно прошел бы мимо такой картины, которая вызвала у Бронштейна резкий импульс

той самой брезгливой жалости. Василий Иосифович как-то раз был свидетелем того, как совсем некрасивая, да еще и с оплывшим лицом, полупьяная баба в электричке жаловалась своему спутнику (или случайному попутчику) на своего мужа:

— А он мне, представляешь, грит: а куда ты, мол, денешься! Нет, ты понимаешь! Куда, грит, я (она сильно выделила слово «я») от него! Денусь!

Ее возмущению не было предела, хотя по всему было видно, что деваться ей действительно некуда, но все равно — обидно ведь! И она все повторяла с затающим гневом: «Куда, грит, я денусь, куда я денусь» (последнее уже просто ворчливо).

Тот, кому была адресована эта пылкая жалоба, представлял собою противоположную тетке фигуру — очень маленький, щуплый мужичонка в очках. Он не отвечал ей ничего, ни разу, так как был, по всему, сильно занят чтением в журнале большой статьи об американской кинозвезде Элизабет Тэйлор.

«О! Эти грезы, — подумал тогда Василий Иосифович. — О! Эта жизнь!»

Когда он еще работал в поликлинике, знакомый хирург, флеболог, как-то рассказал ему о немолодой женщине, которая хотела выглядеть красивой даже на операционном столе. Она непременно хотела накраситься перед операцией и еще делала тщательный педикюр, подбривала волоски на ногах и т. д. Как будто через сутки это могло иметь хоть какое-нибудь значение, как будто ногам этим, искромсанным и перебинтованным после удаления варикозных вен или во время самой операции, этот педикюр был жизненно необходим!

— Ну что за дура! — говорил тот хирург, чуть не плача. — Ведь ее не смогли вывести из наркоза. Так и умерла с педикюром! А потом у ее постели записку нашли, — продолжал хирург с болью, несмотря на то, что видел всякое.

Она, оказывается, опасалась, что с ней может случиться худшее, и основательно, на всякий случай, продумала, как она должна выглядеть в гробу, и сделала в записке по этому поводу соответствующие распоряжения близким: как ее нарядить и как накрасить.

— Знакомая моя, — закончил хирург свой рассказ. — Близкая, — зачем-то добавил он.

А стоматолог Бронштейн тяжело вздохнул и уже с философским, но все равно не лишенным пренебрежения сочувствием произнес слово, объясняющее, по его мнению, все, — «женщины...» И добавил к рассказу хирурга свой, который характеризовал женскую природу не менее ярко и выразительно.

Рассказал про свою знакомую, которая все мечтала выйти замуж, но не просто выйти замуж, а за определенного человека. Ей непременно хотелось, чтобы она

была «как за каменной стеной» и опиралась именно на «твердую мужскую руку». Она дала даже брачное объявление в газету, в котором конкретно обозначила необходимые ей мужские приоритеты: чтоб кандидат обладал «твердой мужской рукой» и таким же «твердым мужским плечом».

Она своего добилась! Обрела наконец свое женское счастье. Своеобразно, однако, получилось... Расписались. Собрались в свадебное путешествие. Но ей нужно было задержаться из-за работы, поэтому она осталась в Москве, а муж уехал в свадебное путешествие, по путевке — один. И это была только первая ласточка. Но ее пока ничего не настораживало. Она обменяла свою квартиру на большую и стала обставлять семейное гнездо. Все было в том же подъезде, где жил Бронштейн, и он однажды увидел, как она тащит на четвертый этаж не самый большой, но явно весомый холодильник, закреплённый веревками у нее на спине. Лифт в тот день не работал. Суженый шел сзади и грыз яблоко. А также подбадривал ее словами: «Клавка, тренируйся! Будешь крепкой, спортивной телкой. Соблазнительной! Муж, то есть я, будет все время тебя хотеть! И это хорошо, потому что, не забывай, Клавка, у нас идет с тобой медовый месяц».

Клавка кричала и не забывала. Потом, уже после развода, она жаловалась Василию Иосифовичу, что суженый регулярно бил ее. Вполне, кстати, «твердой мужской рукой», о которой она так мечтала до свадьбы.

Абсурдная судьба Клавки с четвертого этажа, как и прочие судьбы глупых баб с их вздорными желаниями и нелепыми мечтами, повергала Бронштейна в элегическую грусть, но он все равно не переставал удивляться многообразным изгибам поведения девушек, женщин, старушек и даже маленьких девочек, которые занимали его давно как ученого-теоретика, никогда не опирающегося на практику в силу фатально наступившей, но тем не менее ожидаемой импотенции.

Вышел из московской квартиры этой зимой и увидел, как соседская девочка лет двенадцати-тринадцати с остервенением качает детскую коляску с орущим изнутри ребенком и говорит ему: «Ну, ну! Хватит орать! Быстро! Хватит, тебе говорю! Ну, чего бы хочешь?! Чего тебе еще надо?! Быстро!»

Ребенок не унимается и еще больше заходится в истерическом плаче.

«И это будущая мать!» — с тоской и беспокойством за демографическую ситуацию в стране с такими будущими женщинами, выросшими из таких вот девочек, подумал Бронштейн и зашагал в магазин, ни на что хорошее в этот и последующие дни не рассчитывая. И правда, цены на продукты первой необходимости опять поднялись.

Регулярные теперь посиделки двух новых друзей представляли собой застолье и последующие ожесточенные споры. Все дело было в том, что общая, в принципе, идеология ненависти к окружающему миру рассматривалась с разных точек зрения. То есть итог был одним и тем же, но пути разные. Однако общий пессимизм в отношении будущего России и всего мира, который давно уже заслуживал апокалипсиса, никак не мешал им наслаждаться алкогольными вечерами на свежем воздухе с непринужденной беседой при этом. Печальную и несколько меланхоличную реакцию Бронштейна на пошлость и невежество современного общества Кошмарюк считал интеллигентскими судорогами и ностальгическим смрадом. Все эти слова и понятия Сидор знал, но душа его стремилась к простоте, а простота подчас облекалась в грубую форму. Он желал все понимать и горячо принимал мат и то, что многие «ботаники» презрительно именовали «народным юмором». Так называемый народный юмор, широкой волной разлившийся по телеэкранам, принципиально одобрялся Сидором, поэтому он, опять же — принципиально — смеялся даже тогда, когда ему было совсем не смешно. Не далее как сегодняшним утром возле их магазина под названием «Мини-маркет», который, как и прежде, лучше было бы назвать «Сельмаг», он увидел машину, старый, потрепанный «жигуленок». Из него вылезла щедро и густо раскрашенная девка в блестящих по всему ее скромному наряду и направилась к входу в сельмаг.

— Кефиру не забудь, купи! — донеслось с водительского сиденья материнское, как видно, пожелание.

— Не по сезону шуршишь, фанера! — прозвучал ответ в дверях магазина.

Сидор тут же загрустил о прошлом, но и заржал так же, как все другие, как народ, приходящий на юмористические концерты, которые потом транслируются по телевизору.

Кстати, Бронштейн, относящийся к «народному юмору» на ТВ с особенной брезгливостью, называл эту аудиторию «ТЕЛОзрителями».

— Далекий ты, Василий Иосифович, от народа, — нравоучительно говорил ему Сидор, — ох как далекий!

Далекий от народа Бронштейн, обладая, впрочем, вполне народным именем — Вася, поднимал рюмку и только посмеивался, ничуть не возражая.

На заднем запыленном стекле той самой машины у сельмага кто-то пальцем написал комментарий к табличке возле номера. Табличка оповещала: «Осторожно, злая машина». А комментарий на пыльном стекле подводил итог: «Какая жизнь, такая и машина!»

Словом, упёртый пессимизм Кошмарюка ежедневно находил все новые подтверждения. В ста метрах от

его дачи начинался лес. Прямо перед ним — небольшая полянка. В центре ее — огромный пенёк. В диаметре — около метра. Большущее дерево спилили, видимо, совсем недавно, так как поверхность пня была светлой и свежей. Но самым примечательным было то, что к этому пню был прибит кусок фанеры с «уместным» в данном случае призывом «Берегите лес». Сидор, когда увидел, сказал: «Ну что ты будешь делать с этим народом!» В народе многое было непонятно обоим друзьям. Вот тут они сходились! По некоторым вопросам разночтений вообще не было. Например, по поводу наших некоторых пословиц и поговорок, а также сказок, которые, прямо скажем, не делали чести их авторам, но, тем не менее, легко ушли в народ и стали популярными настолько, что были прямо-таки у всех на устах. Прижились, короче! Почему-то...

Антисанитарная поговорка «палец в рот не клади» никого не смущает! Мама родная! «Он менял женщин, как перчатки». Что это? Пришло из стародавних времен? Перчатки, надо сказать, в наше время меняют совсем не часто. У Сидора была всего одна пара перчаток, которые он носил лет тридцать. И еще пара меховых рукавиц на зиму. Да и женщин он тоже особо не менял. Была одна... Жена... Ушла, потому что не смогла вынести его желчного занудства, да еще к тому же выяснилось, что она была отпетой шлюхой с очень богатым внутренним миром. Интеллигентка, короче! Всю жизнь изменяла Сидору, и он был единственным, кто об этом не знал. Верил! Но зато теперь он к бабам «на пушечный выстрел». Кстати, еще одна неточная поговорка. С чего это надо «ходить на выстрел» и почему дистанция выстрела является мерилем чего-то неподходящего?

— А что такое «хлебом не корми»? — подхватывал Бронштейн, который тоже, как и Сидор, хотел докопаться до самой сути.

Хлеб теперь — не такое уж дефицитное лакомство, чтобы его можно было употреблять, как пример какого-то ущемления и ограничения. Напротив, диетологи советуют от него вообще отказаться! Или вот бытует мнение, что если «как у Христа за пазухой» — ты в полном порядке. Да вы что, ребята! Этот парень ходил в таком рубище, в такой, извините, драной рубахе, что быть у него «за пазухой» — это по меньшей мере простудиться! И если вспомнить судьбу Христа и во что он был одет... Так что не очень хорошее место для личного благополучия... Но народ, не вникая в суть, твердит о ком-то, кому завидует: «Живет, как у Христа за пазухой». Или про дела говорят, и про жизнь: «Все шло как по маслу». Хорошо шло, стало быть, да?

— Да, да, — вступал Сидор, — никто, ну ведь никто не вникает. Что движение «по маслу» — не лучший вариант. Поскальзываться и падать придется постоянно,



поэтому тот или то, что идет по другой поверхности, придет быстрее и не ломая ног.

— И притом, — подключался друг Васек, — хождение по маслу, так же как и плевание в колодец, — просто шизофрения!

— А что это? При чем тут «плевание в колодец»? — остановил Сидор полет мысли своего партнера.

— Ну здравствуй!.. Забыл, что ли, самую гигиеничную нашу пословицу? Вместе с «палец в рот не клади»?

— Какую?

— Да ты что! «Не плюй в колодец. Пригодится водицы напиться». Хотя, конечно, плевать в колодец, из которого пьешь воду, сама эта идиотская мысль, само это свинское намерение может прийти в голову только кому-нибудь из нашего народа — из народных, как говорится, низов.

В общем, оппозиционный народу дуэт Кошмарюка и Бронштейна звучал с каждым днем все слаженнее и мощнее. Тем ведь для разнообразного недовольства было навалом, и они будто наслаждались, припоминая все больше примеров людской глупости и безобразия. Синхронное плавание своего рода у них получалось. Да и тема пословиц и поговорок была далеко не исчерпана. Ее хватало далеко не на один совместный вечерок.

— Вот скажи, — обращался один пожилой джентльмен к другому, приступая к щекотливой, но невероятно

занимательной теме, — скажи, откуда взялось это дурацкое «бес в ребро», употребляемое по отношению к человеку нашего с тобой возраста, если тот увлекся какой-нибудь молодой барышней?

Так спрашивал бывший стоматолог Бронштейн, который даже слегка походил на лабораторного ученого, своего более простого по виду и происхождению товарища.

Ответ на этот вопрос покоился, вероятно, в глубинах истории. Адам, Ева, ребро и т. д. Но Бронштейн хотел докопаться не только до исторической сути, ему хотелось исследовать вопрос, какое, к чертям собачьим, эта поговорка имеет отношение к сегодняшнему дню и современным пожилым мужчинам. Его мучил вопрос: почему, собственно, «в ребро»? Почему беса заинтересовала именно эта часть тела, чтобы повлиять на старческую похоть того, у кого «седина в бороду»? Бес, по идее, должен был заниматься другим местом, несколько пониже. Или здесь все-таки содержится древний смысл сотворения женщины из ребра? Но тогда бесу совершенно не обязательно ждать «седины в бороду», он может запросто совращать мужчин любого возраста.

Сидор был совершенно согласен с теоретическими изысканиями своего партнера по дискуссиям, несмотря на то что его ребро не находилось в зоне внимания коварного беса. Но, может быть, пока... Кто знает, что будет потом?.. Ведь Сидор еще не так стар и, возможно, что-то в будущем его ждет... И его ребро будет все-таки атаковано...

Поводов для ядовитой критики у собеседников находилось множество, однако чудеса национального фольклора казались неисчерпаемыми, и к этой теме они возвращались чуть ли не ежедневно. Что такое, к пример, «правда глаза колет»? И почему именно глаза? Почему не «ухо режет»? Хотя правду чаще слышат, чем видят. Но в обоих выражениях есть общее: их роднит садизм!.. И выколотые глаза, и резанные уши несколько омрачают эстетическую сторону упрека в защиту правды, которая «колет и режет»... но временами, оказывается и ее, «правду-матку», опять-таки режут!

Джунгли наших словообразований и выражений все время предлагали дачникам углубиться в них, но с риском заблудиться, потому что ответы на поставленные вопросы не находились.

Поговорка «Волка ноги кормят» явно напрашивалась на дискуссию. Ну, волка — это понятно, а мы-то тут при чем? А другие люди, которых кормят вовсе не ноги? Ведь в поговорке подразумевается, конечно, не волк, а человек... Но мы знаем ведь очень многих, кого кормят руки... А есть еще некоторые, которых кормит,

страшно сказать, голова! У поговорки этой есть, разумеется, первоисточник, автор, но ему самому, наверное, и в голову прийти не могло предположение, что кормить могут не только ноги.

А это, скажите, пожалуйста, что означает, — «конь не валялся»? Употребляется повсюду, если нужно обозначить беспорядок, недостроенность, неготовность к чему бы то ни было.

— Вот у тебя, Васек, — упрекал Сидор соседа, — баня до сих пор не доделана! Решил, понимаешь, построить баню, и что? Конь не валялся! — И тут, естественно, завязывалось лингвистическое, научное, можно сказать, обсуждение этой народной загадки. При чем тут конь? Если он «не валялся» при воздвижении бани Бронштейна? А, наоборот, если, то как? Стало быть, если он, конь, валялся, значит, все в порядке? Значит, валяющийся конь символизирует, таким образом, порядок, в том числе и для строящейся бани непутевого Васька? «Непутевого» потому, что в строительном деле Бронштейн был, мягко говоря, не виртуоз, и Сидор по отношению к нему употребил еще одну оскорбительную поговорку, что, мол, у него «руки из жопы растут», хотя представить себе картину такой мутации — страшно. — Баню строить, Васек, — нравоучительно заметил Сидор, — это тебе не зубы сверлить.

Бронштейн не обиделся и сказал ему в ответ, что зато, мол, Сидор, «на все руки мастер».

— На все две, если у тебя их не больше... Как у осьминога, скажем...

— Все две, — повторил Сидор и добавил: — Вот еще одно идиотство! А уж вот это ублюдочное «бьет, значит — любит». Это какой же садюга родил такую «народную» мудрость? Уж нечего и говорить про такую неаппетитную для русского человека поговорку, которая явно пришла к нам с Корейского полуострова: «Он на этом деле собаку съел». Пришла эта поговорка и каким-то чудом осталась. И все ее употребляют.

— Да, собакам у нас досталось от народа, — раздумчиво и сострадательно добавил Бронштейн, — смотри, ведь «как собак нерезаных» — это значит очень много, перебор. Ну не гадость, скажи?! Значит, резанные собаки, стало быть, норма! Резанные, — с отвращением повторил Васек, — уши, собаки... Живодерня какая-то, а не фольклор!

Друзья помолчали, проводив мысленно всех несчастных собак из народных выражений в их последний путь.

— А я все же знаю, — прервал молчание Сидор, — по крайней мере одну пословицу, которая хотя бы понятна, вопросов не вызывает.

— Какую? — с живейшим интересом повернулся к нему Василий Иосифович.

— Язык до Киева доведет! — победно провозгласил Сидор Игнатьевич.

— Русский? — ехидно поинтересовался Бронштейн.

— Что — русский? — не понял Сидор.

— Язык русский! — с горечью повысил голос Василий Иосифович, у которого в Харькове и Киеве жили родственники, все Бронштейны, которые разговаривали исключительно по-русски, но это теперь было, деликатно говоря, не модно.

— Да, как-то не подумал, — признал поражение Сидор, — была да сплыла поговорка, изжила себя. — Они еще помолчали. — Кто бы мог предположить...

— А сказки наши! Ну не ужас?! — проснулся в Бронштейне гуманист и добряк. — Ну ты погляди! «Морозко», например. Злая мачеха приказывает мужу отвезти дочку в лес и там оставить! Зимой! А?! Каково?! Этот, с позволения сказать, мужчина ее слушается! — Негодование Бронштейна растет: — Этот мудака, прости господи, плачет, но везет! И оставляет! Надо бы сказку сегодня немного изменить. Отцу дать лет немного поменьше, рассказать о нем, и сказку назвать актуально — «Отморозко». Да? Ты как думаешь?!

Сидор об этом не думал, хотя соглашался с соседом в том, что сказка «Морозко» жестока и даже аморальна. Его мысли все возвращались к тому разделу наших поговорок, который освещал половую жизнь отечества. Он задумчиво смотрел на озерную гладь, озеро, на берегу которого они в этот раз вели беседу. Недавно мимо прошел толстый казахский мальчик в женских тапках. Сидор знал, что казахский, так как был знаком с его родителями, которых неизвестно каким ветром занесло пару лет тому назад в их поселок, и они тут обосновались. Их мальчик был настолько ленив, что, отплыв от берега десять-пятнадцать метров, повисал в воде и ждал, пока его не прибьет к берегу слабая озерная волна. Женские тапки мальчика вновь навели Сидора на злободневную для него тему женского вероломства. Да уж если на то пошло, любая теперь деталь, хоть пуговица от женской кофточки, могла его бросить в трясину переживаний, разбередить старую рану... Ох ты! Прям болезнь! Эта любовь проклятая! Вот и теперь решил поделиться с другом своими соображениями на этот счет.

— Вот скажи, Васек, — с выстраданной болью обратился он к Бронштейну, — скажи, откуда взялась эта хрень: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Бабы, которые слишком верят в эту поговорку, не понимают, что желудок — этап промежуточный, и удивляются потом, что их бросили. Главное место так и не сделали заманчивым и поплатились. И наоборот, Анька моя убежала к этому своему Ашоту сразу и без оглядки почему? Да потому, что они эти промежуточ-

ные этапы — желудки, цветы, разговоры — промахнулись сразу и сразу перешли к главному, к сексу. А я с ней эту часть жизни как-то упустил. «Интим не предлагать», — как в объявлениях пишут... Ни фиги! Надо было предлагать, и почаще!

Бронштейн понимающе кивал головой. Он ведь тоже был, как и сосед, одиноким. Они оба были своего рода «брошенки». Только Бронштейна жена не бросила, а умерла два года назад. То есть бросила, оставила, но по-другому.

В последние годы эта дама с косой разошлась не на шутку. Сделала для этого ближайшей помощницей онкологией. Та оправдала доверие дамы с косой и распоясалась окончательно, стала исполнительным и усердным палачом. Рак у жены Бронштейна — Веры — был вполне операбельным, и операция обещала успех на пятьдесят процентов. Однако Вера попала в другую половину. Василий Иосифович больше не женился и даже попыток не делал.

Так что оба, нельзя сказать что старика, остались на земле одни, и то, что они друг друга нашли, было для них большой удачей и лекарством от тоски и меланхолии.

Всем известно, что многие старики или даже просто пожилые люди все время оглядываются назад, в прошлое и серьезно полагают, что раньше все было гораздо лучше. Редкие из них пытаются жить сегодняшним днем и спокойно принимать все его реалии, понимая, что изменить ничего не могут, и руководствуясь одной из библейских истин, чрезвычайно полезным советом свыше: «Терпением вашим спасете души ваши».

И даже эти, самые продвинутые пенсионеры не застрахованы от типичного старческого брюзжания. Время от времени они впадают в типичное резонерство и ошибочную уверенность в том, что уж они-то точно знают, как лучше и правильнее жить. И тогда они роют фразы типа «а вот в наше время», и им при этом даже не смешно. Но потом чувство юмора, если оно у них все же сохранилось, заставляет взглянуть на себя со стороны, удивиться своей банальности (как?! И я туда же?!) и остановиться. Критика молодежи и окружающей действительности ничемна и только портит нервы. Бронштейн это давно осознал, и все его реакции были поэтому окрашены мягкой иронией и философским созерцанием брэнного мира, а также его несовершенной, а временами, даже неприятной части — человеческой популяции как неудавшегося опыта Создателя. Бронштейн все-таки по природе был теперь наблюдателем, а Сидор все еще не устал и возмущался. Его иногда взрывало то, к чему уже давно пора было привыкнуть.

Вот лишь недавно он заметил, что бандиты и мен-ты в чем-то очень похожи. Волею судеб они по раз-

ные стороны. Но природа-то одна, слова одни. В огороде, наблюдая за восходом редиски, он слушал радио «Шансон». И вот именно в день милиции, во время дневной борьбы с сорняками, он услышал, как полицейские и их жены заказывали исключительно блатные песни. Два берега у одной реки, которую переплыть — раз плюнуть! Да чего там! Во Дворце съездов, прямо перед бюстом Ленина (при рассказе другу об этом Сидор неожиданно для себя перекрестился), автор и исполнитель по фамилии (тут Сидор поморщился) Розенбаум пел «Гоп-стоп»! И весь зал, весь депутатский корпус подпевал! И все знали слова наизусть!

— Ну и что? — пожал плечами друг Васек.

— Да как ты не понимаешь! Бандитская песня! Во дворце съездов! Съездов КПСС! Сечешь!

— Ну и что? — опять не оценил абсурдность момента Бронштейн, сочтя его вполне привычным и недостойным такого возмущения, которое кипело в пролетарской груди его товарища.

— А-а! — махнул рукой Сидор. — Что тебе объяснять! Ты же такой же Розенбаум, только Бронштейн!

— Да!.. А народ наш при этом стонет... — увел Василий Иосифович Сидора от щекотливой антисемитской темы.

Любую пошлость Бронштейн воспринимал крайне болезненно. От пошлости его могло бы даже стошнить. И его воротило от любого проявления — что сионизма, что антисемитизма. Его представления о пошлости сюда, естественно, вписывались. Но ссориться с Сидором не хотелось. Поэтому он и перевел стрелку на народ, который стонет. В конце концов слово «сникерсни» не менее омерзительно, чем «антисемитизм» или, наоборот, «русофобия».

— Да что тебе наш народ! — продолжал Сидор заострять тему. — Дался тебе наш народ! Что тебе за дело до этого народа! Стонет он... Да он всегда стонет, народ наш! Он любит стонать! Не может не стонать! И даже если все будет хорошо, все равно будет стонать! Повод найдется и для стога, и для нытья, и для злобы.

— Ну... не весь же народ, — деликатно возразил Бронштейн, — кто-то зарабатывает, живет и не ноет.

— Ну да, кто-то. Только всех, блин, поделили! На тех, кто зарабатывает деньги, и на тех, кто «делает бабки».

— А кто поделил-то? — подталкивал Бронштейн друга к терпимости.

— Да кто-кто! Ясно кто! Кто власть взял! А при взятии власти надо вперед всего обосрать старую власть. У всех митингов задача одна — найти и облить помоями виноватых. Ну, тех, от кого, дескать, народ стонал. А теперь, мол, когда новые начальники придут, народ стонать пе-

рестанет. Вот как только они на выборах победят, тут же нытье и прекратится. Ага! Щас!

— Закругляемся, — подытожил Василий Иосифович. — Солнце заходит. Комары налетели. Итог один, я думаю. Все население, по-моему, состоит из трех групп: дельцы, идеалисты и народ. Идеалистов немного, но они верят. А руководить будут всегда дельцы. Идеалисты будут потом тихо сидеть на гуманитарных задворках и бунтовать, как всегда, на своих кухнях, а потом — на бессмысленных митингах. Потом пар выпустят и заживут по-прежнему.

— А народ? — уныло переспросил оппонент Кошмарюк.

— А народ как обычно... Кто-то будет продолжать стонать, роптать и ныть, — усмехнулся либеральный созерцатель Бронштейн, — а кто-то станет несомненным патриотом. Ладно, пошли домой...

Дискуссионный клуб на завалинке, а точнее, на бревне у озера закрылся. Дискуссия, чем бы она ни заканчивалась, неизменно вела друзей к столу и умеренному, интеллигентному (как бы ни возражал против термина Кошмарюк) выпиванию.

* * *

Деревня Свистуново, в которой жили и соседствовали Сидор Игнатьевич и Василий Иосифович, постепенно, как и многие другие, превращалась в коттеджный поселок. Да это и понятно: недалеко от Москвы, живописное озеро, и пока недорого. Аборигены сильно пили и терпеть не могли дачников. Крохотный пляж, на котором, сидя на бревне, иногда беседовали друзья, был чуть ли не единственным местом у озера, которое местные жители еще не успели загадить. Само озеро было прекрасно и в любом ракурсе подошло бы для рекламной художественной открытки, но... Не будем забывать, что штурм Зимнего дворца ватагой матросов и солдат продолжился тем, что залы и вся эта красота потом выглядели как заброшенная конюшня для списанных лошадей. И кто-то из некрикливых патриотов вскоре обронил горькую фразу: одно из любимейших занятий наших людей — это насрать в вазу. Вот так и здесь: озеро, эта жемчужина природы, и его берега были засраны так, что подойти к нему без угрозы во что-нибудь вляпаться было почти невозможно. Но местные пробирались, потому что по-своему тоже природу любили и любили на ней (на природе) выпивать и закусывать. Одному из них очень нравилось по пьяни не выбрасывать пустые бутылки, а разбивать их тут же об камень и осколки закапывать в песок.

— А чтоб поранились суки-отдыхающие! — говорил он от всей души. — Они сюда загорать едут, а мы тут живем!

Этот зыбкий аргумент служил неоспоримым подтверждением правоты местных любителей природы и таким образом оправдывал их классовую ненависть по отношению ко всяким там Сидорам и, особенно, Бронштейнам.

Бронштейн, кстати, был в душе отпетым романтиком. Его созерцательный цинизм не особенно прочно прикрывал нежную, ранимую и романтическую натуру. «Циник — это уставший романтик», — любил при случае повторять Василий Иосифович, зная, что это изречение — не его, а очень умного человека. Но это неважно. Если кто-то так сказал, значит, он не одинок и у него есть единомышленники.

Поэтому в его наблюдениях за гримасами окружающего мира была своя поэзия и лирическая печаль. В деревне (или теперь уже — коттеджном поселке) Свистуново все же сохранилось несколько старых домов, хозяева которых упирались и участки свои не продавали, то есть не сдавали позиций и не прогибались под рынок, держались гордо из последних сил. Они дорожили своими старыми, доставшимися по наследству домами и особенно хозяйством, в котором были и куры, и кролики, и, конечно, коровы.

— Куда ж я брошу свою Зорьку, — говорила хозяйка Галя всякий раз в ответ на очередное предложение продать дом и участок.

— Так продай и ее, уважаемая, — уговаривал очередной покупатель, — продай на мясо, — добавлял он, задевая тем самым хозяйку за святое, за незыблемые для нее деревенские ценности. Тем самым потенциальный покупатель отрезал сам себе путь к продолжению торга.

— Ты что, псих?! — сразу начинала грубить Галя. — На мя-ясо! Ишь чего в голову-то твою дурную приходит! Она нам родная, корова эта! Она нам — как мать! И кор-милица, и умница! А ты, урод городской, — на мя-ясо! Тебя бы, козла, самого на мясо! Да никто и не купит такое мясо гнилое! Последний людоед побрезгует!

На этом их неконструктивный диалог заканчивался, и скупщик деревенских домов под коттеджи уходил ни с чем.

Галя представляла собой довольно миловидную на лицо и фигуру женщину неопределенного возраста. Ей можно было дать и сорок, и шестьдесят. А все потому, что впечатление смазывал единственный зуб, нахально торчащий у Гали прямо спереди, в линии улыбки. Так что составить правильное представление о ее возрасте Бронштейн не мог. Он регулярно покупал у Гали парное молоко, высоко оценивая достоинства Зорьки — именно как коровы, а не близкой родственницы хозяйки.

В Галином дворе неспешно ходили куры, даже не думая уступать дорогу посетителю с бидоном. Двор, ка-

жется, не убирался никогда и был густо усыпан куриным пометом. И Бронштейну потом обязательно надо было дома мыть резиновые сапоги, в которых он ходил добывать молоко, а иногда и яйца. За эти яйца Василий Иосифович курам мог простить все, не только грязь и помет, но и презрение к каждому его визиту. Чудесные были яйца, не магазинные, что и говорить!

Там, в глубине двора у забора, неряшливый мужчина с испытанным лицом и всегда торчащей в углу рта папирской чинил шедевр отечественного автопрома — автомобиль «Ока». Он его все чинил, чинил, а тот никак не чинился и никуда не ехал. Вот сколько Бронштейн ни приходил (уже третий год!), а транспортное средство «Ока» как стояло в дальнем углу двора, так и продолжало стоять.

Еще из неперменных атрибутов этого двора была маленькая собачка с чудесным именем Беда.

«Ну почему, скажите, — обращался Василий сам к себе и к небу, — почему эту крохотную дворняжку размером с небольшого суслика и огромными, как у Чебурашки, ушами, зовут Беда? Кому и в каком состоянии пришло в голову так собачку назвать?!»

— Беда, — кричала иногда Галя на весь двор, — Беда! Ко мне! — При этом она вовсе не боялась накликать беду на свою голову.

Она звала собаку и вообще звала так собак обедать. «Собак» — потому что там была еще и вторая, с оригинальным именем Шарик. Шарик был псом большим, но подловатым и трусливым. Если он был не на цепи, то спокойно и равнодушно, даже не твякнув, пропускал всех, кто шел во двор через калитку. Но стоило ему окаться на цепи, как он готов был разорвать всех. Глаза у Шарика становились оловянными, он рвался с цепи и злобно лаял, даже хрипел в своем сторожевом экстазе. Такое же Бронштейн замечал у некоторых людей: мол, держите меня, держите, а то я за себя не ручаюсь! Но лишь стоило отпустить — они тут же скисали и делали вид, что погорячились...

Недавно выяснилось, что мужик, чинивший «Оку», — бывший Галин муж, который живет здесь же, на другой половине дома, потому что ему жить больше негде. Но они как-то, даже по-товарищески, общаются. Гришка (так зовут экс-мужа), если, будучи пьяным, застаёт пришедшего за молоком Бронштейна, непременно кричит ему через весь двор одно и то же:

— Йосич, бери мою Галку в жены! Бери! За два литра отдам!.. Ну, за полтора! Бери, не пожалеешь! И к тому же будешь ближе к народу! А ты ведь страшно далек от народа, — невольно повторял Гришка слова одного из идеологов марксизма.

Галя, стоя на крыльце, трогательно смущалась, прикрывая рот платком.

— Галь, а чего ты зубы-то не вставишь? — подходил к ней кандидат в женихи с бестактным вопросом.

— А-а! Че на это деньги-то тратить? — отвечала потенциальная невеста. — Денег-то жалко, — страшно улыбалась она. — А я уж как-нибудь так доживу.

И с невеселым лицом Бронштейн уносил молоко на свою дачу.

«А ничего не изменилось, — размышлял доморощенный философ Васек. — XX век, XXI, перестройки, социализм “с человеческим лицом”, а после капитализм с лицом бесчеловечным — все один черт! Сначала — радостная истерика революции (кстати, у всех революций радостная истерика, буза, анархия, веселое хамство, когда так хочется свободы, что нестерпимо тянет перевернуть какую-нибудь машину), а после — все одно — однозубая Галка, бухой мужик во дворе и собачка с говорящей кличкой Беда. Жаждали перемен воспаленные мозги революционеров... А потом...»

Потом то, что он увидел на днях в телерекламе: «Товары по бессовестно низким ценам». «Бессовестно» — какое подходящее слово, — подивился тогда Василий Иосифович. — Никто, кажется, — не сопоставил два слова, не порадовался их созвучию: олигарх и аллигатор! Блеск! Бесовестная, опять же, у них радость насыщения! Бесстыжее, я бы сказал, удовольствие!»



Философ и деревенский политолог Бронштейн размышлял и со своим личным бессовестным удовольствием думал о том, как вечером они с Сидором посидят дома, а не на озере, без комаров и слепней, хорошенько выпьют и вкусно закусят, а потом бессмысленно поспорят о дальнейшей судьбе России и ее неприятных взаимоотношениях с Америкой. Водка с пленительным названием «Ну что?..», привезенная ему в подарок приятелем из Смоленска, еще больше украсит их традиционный досуг. Да-да, водка именно так и называется: «Ну что?..» Истинно русское, наше название паленой, скорее всего, водки. Типа — ну че? Слабо меня хряпнуть?! «Да, интересные бывают у нас выражения, — додумывал Бронштейн. — Как и поговорки, так и поступки. На другой язык неприведимо... А друг Сидор, — усмехнувшись и чуть ли не вслух продолжил Васек, — сказал бы на это: “Ну и не хрена им нас понимать! Не их собачье дело с их вискарями и текилами разбираться — что для нашего человека значит водка “Ну что?..”»

Их крепкая, сцементированная общим отношением ко всякого рода несправедливостям дружба казалась нерушимой, уверенной и стабильной до тех пор, пока... Нет, конечно, дружба в принципе осталась, отношения не изменились, просто встречи стали реже, лишились, так сказать, приятной регулярности. Впрочем, обо всем по порядку...

Дело было так. Однажды Сидор Игнатьевич решил навести порядок в доме и выбросить все лишнее. «Лишним» оказались книги. Не особенные какие-то книги, а так, типичный набор хрестоматийной классики, который был у него на даче, кажется, всегда, вот сколько он себя помнил. То ли эти книги он сам когда-то покупал, то ли приносил кто-то или дарил Сидору в день рождения всякий раз со словами «Книга — лучший подарок». «Лучшие подарки» в большом количестве скопились в доме Сидора, занимали довольно много места и стали хозяина раздражать, особенно с той поры, как он возненавидел интеллигенцию. Полки нужны были для инструмента и для банок с огурцами и помидорами, которые Сидор по кличке Хрен сам закручивал и заготавливал. Книги, впрочем, были в основном хорошие — Пушкин там, Чехов, еще кое-кто, но кому они еще понадобятся в Сидоровом доме, кто их будет читать: детей нет и не будет, а сам Сидор уже давно довольствовался телевизором, хотя и в нем мало находил того, что не вызывало бы раздражения.

Итак, он собрал в два объемных черных мешка для мусора всех этих Пушкиных, Чеховых и Толстых и, напрягаясь от тяжести своей интеллектуальной собственности, понес к мусорному контейнеру. Контейнер располагался на центральной площади их поселка, которая часто служила местом встреч обитателей дач.

Тусовались жители, короче, прямо у мусора. Там же проходили еженедельные собрания членов этого садового товарищества. Жаркие споры о благоустройстве поселка проходили на фоне пищевых отходов и всякого хлама. Температура дискуссий, часто переходящих в скандал с взаимными оскорблениями, особенно во время перевыборов правления кооператива, отвлекала его членов от запаха из мусорки. Никто не обращал внимания на то, что вонь и скандал друг другу соответствовали по форме и содержанию. Постичь эту иронию было бы слишком изысканно для жителей садового товарищества. Для всех, кроме, разумеется, Бронштейна, но тот даже не пытался обратить внимание соседей на сочетание вони и склоки и призвать их жить дружно. Его бы не поняли, а может быть, даже побили.

Сгибаясь под тяжестью культурного наследия предков, Сидор пер свои мешки на центральную площадь. С противоположной стороны к площади приближалась стройная молодая женщина в очках. Они встретились прямо у контейнера. Прежде чем забросить тяжелые мешки в контейнер, Сидор поставил их на землю и поднял глаза на женщину. В их поселке, как и во всех деревнях России, было принято здороваться даже с незнакомыми людьми. Сидор и хотел поздороваться, но не смог выдать из себя ни звука... А не смог, потому что оцепенел, остолбенел, окоченел и потерял дар речи. Все, кто верит в любовь с первого взгляда, могли бы в эту минуту получить в лице старого хрена Сидора реальное подтверждение своей веры. Кто знает, откуда берется этот импульс, этот электрический разряд, то, что теперь отчего-то называют химией. Что это? Лукавый весельчак Амур, со своим луком и стрелами притаившийся в тени за мусорником и выпустивший свою коварную стрелу прямо в неготовое к этому, незащитное сердце Сидора Кошмарюка? Или же старому хрену Сидору, прожившему всю жизнь без всякой такой обременительной любви, судьба послала сегодня последний шанс — испытать еще хоть что-нибудь, помимо злости и недовольства с вечным отсутствием улыбки на лице. Зачем разбираться в этом? Главное, что это состоялось! Пока без ответа, в одностороннем порядке, но уже все! Этого поразительного и поразившего его чувства у Сидора уже никто и никогда не отнимет!

Девушка тоже остановилась, бросила свои скромные отходы жизнедеятельности в контейнер и поздоровалась. Сидор снова не смог ответить, но застывшая полуулыбка на его лице дала молодой женщине повод все же наладить минимальный контакт. Она сочла возможным первой протянуть руку и представиться.

— Энгелиса, — тихим и нежным голосом произнесла она.

— Сидор, — прохрипел в ответ наш погибающий герой. И добавил на случай, если понадобится, а ей-то наверняка понадобится, ведь он значительно старше: — Игнатьевич... — И пошатнулся, ибо эта встреча у мусорника обернулась для него настоящим стрессом.

— Вам плохо? — с неподдельным участием спросила Энгелиса.

— Да чепуха, сейчас пройдет, — успокоил Сидор, а она сняла очки и внимательно посмотрела на него — не обманывает ли, не нужна ли помощь? А еще при этом взяла его за руку. И Сидор понял в этот миг, что он пропал окончательно. У нее были длинные рыжие глаза, скрытые до этого за дымчатыми стеклами очков с сильной диоптрией. И когда она их сняла, Сидор успел там заметить этакую, знаете ли, застенчивую чертовщину, а это совмещение, как правило, фатально для мужчин старшей возрастной категории.

— Подождите, — продолжала она заботиться о здоровье нового знакомого. — Вам, наверное, стало плохо оттого, что мешки тяжелые, да? Давайте я помогу вам их туда забросить.

Она взялась за один мешок и не смогла его даже оторвать от земли.

— Что же там у вас? — засмеялась она. — Кирпичи, что ли?

— Книги, — простодушно ответил Кошмарюк, самостоятельно берясь за мешок.

— Что, что? — вдруг потрясенно переспросила она.

— Книги, — повторил Сидор.

— Какие?

— Да всякие... фантастика, там, классика вот тоже...

— Да? И что за классика?

Сидор перечислил тех, кого помнил.

— И вы... это хотите выбросить?!

— А что, мне уже не нужно... — почти оправдывался Сидор, почувствовав в ее вопросах и интонации горячее осуждение его намерения выбросить на помойку гордость отечественной литературы. Он был растерян, а Энгелиса это почувствовала и пожалела его.

— Вы знаете, что у нас тут есть маленькая библиотека?

— Да вроде слышал, — смущенно пробормотал он.

— Я работаю там. Я библиотекарша! — почти с вызовом произнесла она. — Почему бы вам не отдать свои книги нам, в библиотеку, вместо того чтобы их выбрасывать?

— Да я с удовольствием. Только мне почему-то и в голову не пришло... Хорошо хоть вас встретил... Повезло мне, — продолжил он, думая о везении иного рода. По всему, и он тоже был ей не противен, несмотря на его дикое бескультурье. Он почему-то знал это, почув-

ствовал... — Давайте я прямо сейчас отнесу все в вашу библиотеку.

Его энтузиазм, продиктованный зародившимся влечением, был ею так же воодушевленно поддержан. И они понесли мешки в библиотеку. Один мешок Сидор нес сам, а другой они несли уже вдвоем, держа его за разные углы. Но они уже с этим мешком были вместе.

— Простите, — по пути не удержался грубый Сидор от прямого вопроса, но спросил все же застенчиво: — А откуда у вас такое имя странное, Ангелиса?

— Это отцу моему спасибо, — засмеялась она. — У него был кумир — Фридрих Энгельс. Вот в честь его и назвали.

— Это тот, который с Марксом? — проявил Сидор осведомленность и эрудицию.

— Вот-вот, именно он, — продолжала смеяться она.

Они шли к библиотеке, о существовании которой в их поселке Сидор даже не подозревал. А потом они стали видаться часто, потому что с этого дня Сидор Игнатьевич Кошмарюк стал регулярно наведываться в библиотеку. И вовсе не для того, чтобы почитать и обогатить свои знания. Интересно еще и то, что Ангелиса, которую он, испросив разрешения, называл теперь просто — Геля, видела, что этот мужчина с внешностью старого солдата робеет и стесняется, не знает, как с ней говорить, не теряя при этом осанки и выправки. Ее это поначалу забавляло, но постепенно она стала привыкать и внимательнее присматриваться к Сидору. Она стала догадываться, что за ней ухаживают. Старомодно, наивно, но — ухаживают! И если Сидор по какой-то причине не появлялся в библиотеке пару дней, она чувствовала, что ей уже чего-то не хватает. Словом, до симпатии с ее стороны было рукой подать. А там, глядишь, и до любви недалеко...

* * *

Сидор Игнатьевич никогда не задумывался о том, что жизнь идет к концу: зачем, если и так все ясно. Чего настроение-то портить?! И так понятно, что старость и смерть — ближайшие подруги. Старость готовит человека к неизбежной встрече с подругой. А когда та по какому-то странному капризу, нелогично, до срока расправляется с молодым человеком, — подруга и деловая партнерша, — старость даже обижается немного: что ж ты не дала над человеком поизгаляться? Поогорчать его? Ну, в смысле здоровья, потерь, возрастных неудач, крепнущего маразма и т. д. Для чего? А чтоб погрузил, стишки какие написал об ушедшей молодости, о том, как быстро жизнь прошла, о том, как быстро время бежит, и прочую тоскливую лирику. Пусть тоскует, пусть

привыкает... А тут, понимаешь, смерть его забирает, не отдает старости, и она смиряется с тем, что молодые — это любовники смерти, а потом забудет, и снова живут в согласии две подружки-вострушки, старость и смерть. Живут дружно, работают в паре, не ссорятся.

Тем не менее есть некоторые индивидуумы, которые старости сопротивляются, живут под девизом «Никогда не сдавайся!». Эта их борьба со старостью, в которой заранее известно, кто одержит победу, саму старость даже не беспокоит и тем более не злит. Конец ведь все равно один. Но уважение все-таки вызывает.

Коснемся, пожалуй, мужского сегмента таких индивидуумов, женщины в этом плане — особая тема... Такие мужчины думают, что молодая жена или подруга, любовница, — это своеобразная инъекция от старости. А на самом деле — лишь иллюзия продления молодости. Да, действительно помогает... Но ненадолго. Сперва он и правда «молодеет», живой такой становится, глаза блестят, движения резче, одевается в спортивную одежду, худеет, а потом смотришь — еще хуже стал, чем был. Впрочем, и противники таких связей — такое беспощадное дерьмо, что тех из них, кто молод, становится даже жаль, так как они, обличая и ругая чужой «мезальянс», неосмотрительно плюют в свое собственное будущее: ведь и у них может приключиться такое, и будущее им оплатит той же монетой. Ну а люди в возрасте, гневно осуждая, выглядят при этом попросту банальными и глупыми. Им хочется, чтобы все было по правилам, чтоб все «как у людей», чтобы «как положено». А кем положено, чтобы люди женились на ровесницах, чтобы разница в возрасте была «пристойной»? Зачем положено? Никто не знает... Но не хочет ответственность избегать банальностей, большинство хочет жить по правилам, так спокойнее, ничто не возмущает. А кто вырывается за рамки «правил», не хочет жить как все, тот почти враг... И общественность начинает все время долбить такого возмутителя спокойствия «разницей в возрасте». В лучшем случае, когда долбят в щадящем режиме, пишут что-нибудь вроде «Несмотря на колоссальную разницу в возрасте... год и три месяца» и т. д.

Сидор Кошмарюк давно поставил крест на своей личной жизни, но с появлением в этой личной жизни библиотекарши Ангелисы он начал мечтать. Раньше, давно, он тоже мечтал, а потом перестал. И надолго. А теперь, думая об Ангелисе, он свою главную мечту прежних лет присоединял к ней. Перспективы, как говорят, «ведения совместного хозяйства» с Ангелисой были весьма (вот опять выплыло это мерзкое «интеллигентское» слово, но вот приходится употребить), именно «весьма», туманны, если были вообще. Но все-таки — а вдруг! Помечтать-то можно... Так вот,

главной лучезарной мечтой Сидора было побывать когда-нибудь в Венеции. А теперь эта мечта соединилась с волшебным образом Энгелисы. Прежде, когда у Сидора спрашивали, есть ли у него мечта, он не отвечал, потому что стеснялся, мол, где он и где Венеция? Не знал, как можно вслух произнести слова про заветную мечту и как вообще можно озвучить мечту. Теперь знал.

Несмотря на внешнюю грубость и скупость в выражениях, Кошмарюк, как мы уже и намекали читателю, обладал тонкой и нежной душой, но она была в нем глубоко запрятана и наружу не высывалась. Теперь ее время пришло. Скрытая сущность и потому никогда не употребляемые в жизни слова противоречили сегодняшним его принципам, жизненной, можно сказать, концепции. Не дай бог, кто-нибудь увидит или догадается, что брюзга и склочник, вечно всем недовольный Сидор, тоже, как и его сосед, в сущности — нежный романтик, чье сердце теперь вдруг стало открытым для любви. Спавший мертвым сном поэт в Сидоре Кошмарюке проснулся и стал рождать слова, никогда не произносимые вслух и существующие только в мыслях и тайных желаниях. «Клубились мечты», — сказал бы сегодня тот поэт внутри нашего героя, если бы ему позволили высказаться. А уж его, Сидора, школьные знания о Венеции в молодости рождали лишь смутные предощущения музыки, сказки, недостижимого счастья и, может быть, даже красивого и короткого романа с какой-нибудь итальянкой. Романа, окрашенного томительным счастьем и тоской, потому что неизбежно расставание. И пусть бы они с этой итальянкой ни слова не понимали на языке их стран, но язык любви был настолько понятен и мелодичен, что слова только помешали бы. Осень. Венеция. Запах моря и водорослей. Крохотные пустые кафе по берегам каналов. Они вдвоем в гондоле с крытым верхом. Целуются. Гондольер поет «О соло миа». Дворцы венецианских дождей проплывают мимо. И всем известный патриот Венеции, но русский поэт Бродский пройдет по набережной, увидит Сидора в гондоле и небрежно взмахнет своей круглой панамой-котелком. И все возможно, все впереди: Венеция, любовь или томление в орудии, которое легко можно принять за любовь. «Все, все еще возможно», — думал Сидор в ту пору, лет еще десять тому назад. Он надеялся, зная, что жизнь уже почти прошла. И какая жизнь! Не то что без Венеции, а вообще без всего, что можно было бы вспомнить, улыбнувшись и вздохнув. Ну ничего не было в жизни Сидора Кошмарюка, кроме Советского Союза и связанных с ним привычек, страхов и комплексов, намертво укоренившихся в нем с тех времен. Мечта его тихо угасала, и он вместе с ней...

Словно заморозил себя. И денег на поездку не было, и уже не так хотелось, и Венеция уплыла куда-то в ту-

манную даль. Сидор решил больше не дергаться, работал охранником до пенсии, продал городскую квартиру, купил домик на берегу озера и больше уже от жизни никаких сюрпризов не ожидал. Сын давно уехал с женой на Дальний Восток. Один жил Сидор Кошмарюк, по прозвищу Старый Хрен, а в последнее время — просто Хрен, совсем один, до появления по соседству бывшего стоматолога, Бронштейна, ставшего потом его единственным другом.

Но теперь... Теперь вообще все по-другому! Дряхлеющая душа Сидора вновь ожила. Прежде, давно главную роль в его мечтах играла какая-то придуманная, эфемерная итальянка, а сейчас ее место заняла вполне реальная библиотекарша Геля. Но она об этом пока ничего не знала. Да и он о ней ничего не знал. Не знал даже, замужем ли она, не совсем ли в таком случае его мечты беспочвенны. А спросить об этом еще время не пришло. Но потом она ему все расскажет. Ведь не может же быть, чтобы их отношения прервались, едва начавшись. Это было бы совершенно негуманно и несправедливо со стороны судьбы, а также автора, который большинству людей желает счастья и покоя, добра и удачи. Ведь Сидору не молодость была нужна, ему нужно было подержать жизнь в себе. А Геля была той, которая могла этому помочь, и, значит, и нам пора что-нибудь узнать о ней, еще до того, как ее узнает влюбленный Сидор Кошмарюк.

Молодая женщина 35 лет была, по счастью для Сидора, абсолютно свободна от матримониальных обязанностей и более того, замужем она не была никогда, так уж получилось. В жизни несовременной Энгелисы был всего лишь один мужчина, но и он по большому счету оказался тупым, невежественным, не тонким, нечутким, недушевным, в смысле — бездуховным и грубым человеком, иногда склонным к хамству. А она, окончившая в свое время институт культуры, начитанная девушка, воспитанная на лучших образцах мировой литературы и сама, втайне от всех, пишущая стихи... да что там говорить! — характеры, как видите, диаметрально противоположны. И надо же было ей, с ее тонкой и ранимой душой, напороться на такого мужлана, как Вадим Петрович. Она оказалась жертвой случайной, а с его стороны — преднамеренной — связи.

Вадим Петрович, крупный предприниматель с абсолютно бандитской рожей, был сказочно богат. До того богат, что прямо скучно. Однако принципы у него были. Были принципы у Вадима Петровича! Как же без принципов-то?! И без основных заповедей? «Не убий», например. Он никого и не убивал сам... А мог! И хотел! Но сам — ни-ког-да! Или вот, например, — «Не прелюбодействуй!» Вадим Петрович был женат, но у него, как и у всех людей его круга, была подруга. Так было

принято, у всех же были подружки или любовницы для, как говорили в старину, «натурального удовольствия». Так какое же это прелюбодеяние?! Не грех это, а, типа, режим дня!

В женщинах Вадим Петрович был глубоко разочарован. Когда однажды официантка в баре дала ему свой телефон, он почти плакал и говорил, размазывая по своему широкому лицу пьяные слезы: «Вот! Ради таких минут!.. В первый раз не за деньги, а так!..» То есть обделен был женским вниманием Вадим Петрович. И вдруг, на беду Ангелисы Сидоровой, он ее повстречал, увлекся, и в конечном итоге она и стала его подружкой-любовницей. И, опять же, на беду Ангелисы он ее страстно полюбил.

Она же, несмотря на имя, доставшееся ей по наследству от одного из основоположников научного коммунизма, была глубоко верующим человеком. Она регулярно посещала храм не только как примерная прихожанка, но и потому что она пела на клиросе. Ангелиса, обладавшая хорошим голосом и слухом, была одной из церковных певчих. А Вадим Петрович, нахватавший уже солидную денежную массу разными, и в том числе криминальными, путями, был человеком предусмотрительным и осторожным. И, как и многие другие наши простые предприниматели, решил позаботиться заранее об устройстве своей загробной жизни. Мало ли... А вдруг там... Надо приобщиться все-таки... И стал посещать храм, где пела девушка, которая ему шибко понравилась. То есть по его понятиям получилось, что он эту чувиху склеил в церкви. Ну, не внутри, конечно, а снаружи, на улице, перед своим «мерсом» познакомился. И она с ним. Сначала из простого женского любопытства. Она читала в газетах и про бандитов, и про олигархов, а тут представилась возможность узнать поближе. Ангелису повлекло любопытство, и она попала. Вадим Петрович довольно долго, не спеша, ухаживал за ней и старался изо всех сил понравиться. Подарки, прогулки, рестораны, ближе и дальше зарубежье, курорты скрашивали серые будни недавней выпускницы института культуры, которая пока еще нигде не работала. В результате она привыкла к нему и его богатству, и они стали встречаться на снятой для нее шикарной квартире. Она стала его постоянной подружкой. Замуж не звал, и так все было хорошо, но и ей не давал даже подумать о замужестве. Она могла ведь появляться где угодно, была совершенно свободна, лишь время от времени она должна была отдаваться Вадиму Петровичу. И все! А так — ходи где хочешь, делай что хочешь... Она же не в тюрьме. Она, эта романтическая девушка, и не заметила, как стала банальной содержанкой. И за ней вроде никто не следил, но как только у нее появлялся реальный кандидат, претендент на ее руку и

сердце, он почему-то через некоторое время исчезал. То ли его убивали или, для начала, избивали, то ли он за деньги куда-то уезжал.

Она об этом ничего не знала. Но однажды ей все-рез понравился один парень, пианист, студент консерватории. И вскоре юношу мало того что избили у нее на глазах, но еще молотком переломали ему все пальцы рук, моментом обрушив навсегда карьеру музыканта. Жестокость расправы потрясла Ангелису, и хотя Вадим Петрович, фальшиво улыбаясь, говорил, что он ни при чем, она не поверила. Собрала вещи, вернулась к маме в их родной поселок, порвала навсегда с Вадимом Петровичем и устроилась на работу в местную библиотеку. Тот попытался пару раз вернуть «былое», но все-таки скоро понял, что если и вернет, она в лучшем случае будет его только терпеть, но при этом все равно бояться и испытывать отвращение. А ему нужна была от нее хотя бы симпатия. Поэтому он успокоился и отстал.

С тех пор Геля Сидорова жила одна, и так уж вышло, что за все это время ей никто не понравился.

И вот тут-то как раз на ее жизненном пути и возник одинокий и суровый мужчина с нежной душой — Сидор Игнатьевич Кошмарюк. Как пел в свое время Вахтанг Кикабидзе, «вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер...».

Всю ее нехитрую биографию Сидор узнает чуть позже, а пока... Пока он усердно ухаживает. Навыки в этой области давно забыты, но он старается...

* * *

Если Сидор Игнатьевич почти обрел свое счастье, то есть было такое ощущение, что вот-вот, еще чуть-чуть, еще немного усилий — и ему на склоне лет повезет в личной жизни, то его другу Бронштейну пока ничего не светило. Требования у Йосича были высокими, его бывшая жена Вера обладала такими качествами, которые превзойти, или хотя бы сравняться с ними, было почти невозможно. Ну куда идти, где искать, чтобы потом приходить не в пустой дом и есть не консервы, но и что-нибудь еще для разнообразия. Не по дискотекам же шляться, не по клубам или концертам! В клуб не пустят по возрасту, а, допустим, на приличный концерт симфонической или камерной музыки, где был бы шанс встретить ближе всего подходящую к идеалу женщину — это ведь надо собраться, уехать в Москву и попытаться попасть. А потом искать среди публики какое-нибудь одинокое существо с широко открытыми, красивыми глазами, которое способно заплакать от музыки. Шансы призрачные, что и говорить.

Но у Бронштейна, как и у Сидора Игнатьевич — Венеция, тоже была своя мечта, которая сформировалась

не в виде умирающего города, а в образе вполне определенной женщины — идеала. Встретить такую было бы счастьем. Он когда-то в телевизоре увидел молодую ленинградскую певицу, которая не метила ни в какие звезды, а пела так, что не была похожа ни на кого. Нежным голосом, про Карелию; о том, что ей будут сниться «остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер». Просто волшебство, полное красоты и надежды! Потом он узнал, что она в ту пору, когда пела, умирала от лейкемии и вся была — словно уходящее лето, которого не вернуть, и надежды нет. Она ушла из жизни так же, как проходит бабье лето — тихо и солнечно. Вот такую Василий Иосифович полюбил бы сейчас. Безоговорочно, беззаветно и жертвенно. Но не было такой. Однако... может, еще не все потеряно?.. Уготовила же судьба другу Сидору такой подарок! Но он пока не знает о зародившемся романе друга, замечает только, что они все реже встречаются, все реже проводят вместе вечера, а когда все же сидят у озера или за столом, он замечает, что у друга сияют глаза, и мысли путаются, что он иногда вроде рядом, а на самом деле где-то далеко-далеко... А все потому, что у одного в это время мечты исполнялись, а у другого на горизонте не было еще ничего.

Все же пора бы приступить и к физическому сближению двух тянущихся друг к другу душ Сидора и Ангелисы. Веками существует такое общественное правило, перешедшее даже в тяжелую замшелую традицию, — правило взаимоотношений полов, согласно которому инициатива перехода от платонической любви к менее целомудренной должна непременно принадлежать мужчине. В наше время, когда количество женщин значительно превышает количество мужчин, это правило теряет свою актуальность. Особенно если речь идет о мужчинах сравнительно здоровых, умеренно пьющих, не извращенцах и вообще натуралах, ибо остальные не могут предложить женщинам ничего, кроме дружбы.

А Ангелиса уже довольно долго жила без мужской ласки и уже стала опасаться, что оставшаяся часть жизни так и пройдет в этом безрадостном режиме. А у Сидора ведь было то же самое, тоже изрядный стаж упорного и даже принципиального воздержания. Вот ведь как удачно совпало! И неудивительно, что в это пустое у обоих пространство, в этот безлюбный вакуум проникло настоящее и сильное, я бы сказал — всепожидающее чувство. Не страсть какая-то банальная, свойственная юности, перенасыщенной тестостероном, не так, как пелось в старой песне: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», а напротив — во все не «нечаянно» и не тогда, когда «совсем не ждешь», а ожидаемо и закономерно. У Сидора она уже окон-

чательно сформировалась и уже пребывала в некотором тупике: визиты в библиотеку, цветы и шоколадки «Аленка» себя уже как бы исчерпали, а что дальше-то? Что дальше делать? Теоретически он об этом что-то знал и некоторый, пусть скромный, но все-таки опыт у него был, но как сейчас действовать, какие шаги принимать по направлению к объекту своей крепнущей любви, он пока не понимал и был в явной растерянности, которую Ангелиса находила тем не менее очень милой и привлекательной. Она тоже совсем не была ослеплена страстью, однако Сидор ей очень нравился, и она твердо знала, что если ей и пора замуж, если надо обрести своего мужчину в обозримом будущем, то лучше и порядочнее Сидора Игнатьевича ей не найти. Да и искать-то не очень хотелось, а Сидор и сам как-то нашелся. И Ангелиса окончательно решила взять управление процессом в свои руки. А то милая робость, нерешительность и даже застенчивость старого солдата могли привести к застою, к стагнации их отношений. Ангелиса составила серьезный план действий и стала его постепенно осуществлять. В кино они пару раз сходили и посмотрели сначала «В джазе только девушки», а потом старый фильм «Возраст любви». В их единственном кинотеатре по субботам показывали старинные мелодрамы и комедии. И вот во второй раз он случайно коснулся ее руки, и она руку не только не отвела, а наоборот — придвинула ее ближе. И тогда Сидор, чуть осмелев, взял ее маленькую руку в дрожащую большую свою, окаменел и так, в положении истукана, пялился в экран, на котором уже ничего не видел. Геля его смущение оценила и в этот момент поняла, как давно у Сидора не было женщины, что тоже, в свою очередь, добавляло к его образу честность и порядочность, то есть качества очень даже привлекательные для женщины, строящей брачные планы в соответствии со своими понятиями о семейном счастье. Надо было бы тем же вечером пойти куда-нибудь на танцы, чтобы не только руки, но и тела оказались в нужной близости, но в их поселке не было ничего подходящего для них. Был молодежный танцпол с механическими, однообразными ритмами, в которых не было даже намека на мелодию. Словом, для души — ничего, и Геля решила, что торопиться не следует. К чему? Так или иначе все пойдет по ее сценарию. В следующий раз он проводит ее до дома, и она у подъезда позволит себя поцеловать. Несерьезно, неглубоко... А еще через неделю пригласит его к себе, на чай, а там уже — по обстоятельствам...

Когда пришло время «чаепития», Геля подумала, что пусть на всякий случай у нее будет бутылка вина и бутылка коньяка. Оба вроде непьющие люди, но вдруг те самые обстоятельства потребуют, кроме чая, чего-то крепче.

Итак, вечеринка состоялась и прошла почти точно по намеченному Ангелисой плану. Когда, лукаво, таинственно и многообещающе улыбаясь, она пригласила его зайти испить чайку и отведать собственноручно приготовленное печенье, Сидор, конечно, приглашение принял, но при этом смутился и потупился. Он ведь предусматривал и раньше возможность физической близости, то есть соития с обожаемой Гелей, но не был уверен в своих способностях — потенциальных, если вы меня правильно понимаете, конечно... Сидор в свое время не без отвращения посмотрел фильм «Ночной дозор», и название врезалось ему в память. «Как бы не получился у меня с Гелей “ночной позор”», — мрачно пошутил он про себя, поднимаясь вслед за ней по лестнице.

Однако, по счастью, все обошлось. Когда все же, помимо чая, выпили по бокалу вина, Геля вдруг бодро провозгласила: «Дамы приглашают кавалеров» и моментально включила проигрыватель с заранее вставленным туда диском группы «Абба» на вполне определенном треке № 4 с нежной и проникновенной мелодией *Narrou new yeag*. С Новым, стало быть, годом (в переводе) и, значит, с прямым намеком на то, что следующая ночь, начиная с сегодняшнего числа, может оказаться для них обоих подлинно новым и счастливым. Ангелиса таким образом сразу очутилась в объятиях Сидора. Грубые, солдатские руки Сидора Кошмарюка сомкнулись на фигуре Ангелисы, удивительно гибкой и податливой. Ее тонкая талия под правой рукой Сидора ритмично покачивалась в такт мелодии. Медленный, волнующий танцевальный этюд двух людей, обреченных на счастье, который в молодежной среде зовется просто и доходчиво — «медляк», все продолжался. Сидор ощутил прилив давно забытой эрекции и от этого еще больше смутился и даже слегка покраснел. «Она это почувствует, — с легкой паникой подумал он, — и что тогда? Неудобно ведь».

Оказалось, она почувствовала, и это было не только неудобно, а даже необходимо. Геля взяла руку старого солдата и нежно положила ее себе на грудь. Сидор издал звук, похожий на рычание изголодавшегося льва в зоопарке, которому принесли наконец тазик свежего мяса. После чего Геля отняла его руку от груди, взяла ее в свою — мягко, но властно — и под ту же музыку повела в спальню к своей сиротской до этой поры и одинокой постели. Они упали на нее почти в такт все еще звучащей мелодии, а дальше... Дальше что? Да все как обычно, за исключением того, что Геля все сделала сама. Она сама раздела Сидора, обалдевшего от того, что все происходит не по правилам. Ведь это он, по идее, должен проявлять активность в этом вопросе, а тут — наоборот! И вовсе не потому, что Ангелиса была

какой-то распутной или развратной, нет, упаси бог! Все было потому, и Сидор это почему-то знал, что она просто хотела ему помочь, хотела, чтобы они вместе победили его робость, вызванную слишком долгим воздержанием, то есть элементарным отсутствием практики. Целомудрие и долгая невинность Сидора Кошмарюка лопнули под напором накрывшего его чувства и желания обладать Гелей, хотя мы-то с вами видим, что это еще большой вопрос, кто тут, как и кем обладает в действительности. Короче, Сидор тем вечером ночевать к себе не пошел. Все! У него началась совершенно новая и прекрасная жизнь.

Настало время поведать о своем новом счастье другу Бронштейну, тем более что тот все больше беспокоился о том, что их совместные посиделки становились все реже и реже, а в последнее время и вовсе сошли на нет. И тогда в самый ближайший вечер обновленный и сияющий Сидор Игнатьевич явился на дачу к другу Василию и рассказал, как он познакомился, полюбил и собирается даже жениться, а теперь, дескать, хочет познакомить его со своей невестой, и она сейчас ждет их обоих в соседнем доме, в котором живет, как вы помните, новоявленный жених Сидор Кошмарюк. Геля действительно ждала, что ее представят. Но заслужит ли она одобрения, или можно даже сказать, благословения со стороны единственного близкого Сидору человека?.. Нельзя сказать, что она ждала, трепеща от волнения, но все равно знакомство это напоминало первый визит жениха и невесты к родителям жениха.

Когда Сидор рассказал Бронштейну о своей любовной истории, тот слегка взгрустнул, полагая, что он вновь окажется совсем один. А потом, когда знакомство состоялось, Ангелиса прочла в глазах Василия безусловное одобрение выбора товарища. А потом, когда друзья, извинившись перед ней, вышли на крыльцо, она, конечно, поняла, что ее сейчас обсудят и вынесут окончательный вердикт, что первым делом ее избранник спросит Бронштейна: «Ну как?» И тот должен будет честно ответить. Она ошиблась. На крыльце не было произнесено ни одного слова по ее поводу. В ответ на безмолвный вопрос Сидора глазами и бровями Бронштейн просто показал большие пальцы на обеих руках. А потом наивно и смешно для своего возраста сказал, как в те далекие студенческие годы: «Слушай, старик, спроси у своей Ангелисы, а подруга у нее есть? Ну, примерно такая же, как она? Там у них, в библиотеке? Или похожая на нее? Пусть в следующий раз придет с подругой, а?»

Следующий раз наступил не скоро. Пока Василий Иосифович в одиночестве коротал время у телевизора и на своем огороде, его друг Сидор Игнатьевич и Ангелиса Григорьевна готовились к свадьбе. Скажем

по-другому, и это будет точнее: Василий не просто сидел у телевизора и копался в огороде, он ждал своего шанса, поворота судьбы, улыбки фортуны, счастливого случая. Ведь выпал же такой случай его соседу и другу. Вдруг, например, Ангелиса приведет подругу — красивую, нежную, добрую и одинокую, которая будет соответствовать его идеалу. Какое-то неясное предчувствие теплилось в глубинах подсознания Василия Иосифовича и рождало несмелую и скромную надежду на финальное в жизни счастье. Можно, конечно, думать, что только лишь случай свел Сидора с Ангелисой у помойки, а дальше все покатило к соединению судеб, рук и сердец. Однако это будет наивное и даже глупое предположение. Какой-то очень умный и прозорливый человек сказал, что случай — это плановая акция вашего ангела-хранителя. Видно, у сурового Сидора и интеллигентной библиотекарши было по ангелу на каждого или же один на двоих, но с одним намерением. И все состоялось, срослось. Так что, возможно, и Бронштейну выпадет счастливая карта... Хотя, наверное, не стоит путать игральную карту с Божьим промыслом.

На свадьбу через месяц Бронштейн был, разумеется, приглашен в качестве свидетеля со стороны жениха, а со стороны невесты — оказалась та самая одинокая, красивая и добрая подруга, на чье появление Василий так рассчитывал.

И он ее увидел... Он не был предупрежден, что его просьба о подруге вот таким образом исполнится, и познакомился со свидетельницей в ЗАГСе районного центра как с совершенно случайным человеком, не входящим в круг его интересов и планов на будущее.

— Катя, — представилась она.

— Василий, — ответил он и, чуть помолчав добавил: — Иосифович...

— И можно без отчества? — спросила Катя.

— Конечно, — обрадовался он.

Катя была из той редкой породы женщин, которых с первого взгляда никто не полюбит, не оценит. Но внимательный и неглупый мужчина очень скоро поймет, что чем больше всматриваешься в лицо такой вот Кати, тем больше оно начинает нравиться. Все больше и больше... Бронштейн пока еще не въехал, но после скромного, без фейерверка и белых голубей бракосочетания все вчетвером поехали отметить это событие обратно в их родной поселок. В их, уже знакомом вам, поселке была одна библиотека, один кинотеатр и, естественно, один-единственный ресторан с названием, претендующим на юмор, — «Усталый дачник».

На юмор претендовал владелец этого, всегда полупустого, а подчас и вовсе пустого заведения Андрей Нянькин. Он построил дом здесь же; были у него, как говорят,

свободные деньги после того, как он оставил (или продал) свой московский бизнес и захотел тихой, спокойной жизни. И вложил эти свои «свободные» деньги в ресторан. Ни на какую прибыль он в этой тихой гавани совсем не рассчитывал, так что это было чистой воды меценатством, или даже — забавой. И Андрей Нянькин, как мог, развлекал себя сам. Сам составил меню и придумал названия напитков и блюд. К примеру, было у него «сердце в сметанном соусе», что вполне отвечало названию заведения. Усталому дачнику надо ведь дать отдохнуть своему сердцу. А где же это сделать, как не в сметанном соусе?.. Названия закусок тоже были заманчивы, наивны и по-своему милы. Например, «Блуждающие креветки в розовом море». А как, наверное, тянет отведать «грустного лосося у зеленого причала» и узнать заодно, чего это он там загрустил? Что опечалило лосося на этот раз? А еще «заблудшая осетрина с фенхелем на берегу Красного моря». «Заблудшая»... Видно, у нее тоже, как и у лосося, судьба не сложилась. Ах, да что там! Я уже не говорю о десерте под обворожительным названием «Мечта Винни-Пуха».

Итак, друзья явились в кафе-ресторан «Усталый дачник», чтобы отметить важнейшее событие в жизни Ангелисы и Сидора. По пути Геля воспользовалась популярным народным выражением, чтобы пошутить. Доверчиво прижавшись к каменному плечу старого ветерана, она прошептала ему в ухо: «Сидор, ты понимаешь, что я теперь стала Сидоровой козой».

— Почему же «козой»? — не принял он каламбура. — Ты моя... Ну не знаю, самая... — Он все искал подходящее слово, наиболее точно выражающее его отношение к любимой, такое, чтобы сердечно, но не банально, как на открытках, и все не находил.

— Молчи, — пришла на помощь та, у которой запас слов был значительно больше, — лучше поцелуй...

Ресторатор и хороший знакомый всех четверых Андрей Нянькин тоже был здесь. Он решил лично поздравить и создать здесь сегодня какое-то подобие праздника. Он вообще в этом плане был молодец и старался транслировать добро при каждом удобном случае. А уж тут — сам Бог велел. И официант при входе вынес и поставил у ног Ангелисы огромную корзину цветов. И по его знаку сразу же заиграла музыка. Нянькин избежал варианта, который сам напрашивался, и Мендельсон в этот раз оказался не у дел. По залу разлилась старая волшебная мелодия ансамбля «Абба», которую так любила Ангелиса и под которую они с Сидором танцевали в их первую ночь, и Нянькин, как ни странно, об этой ее слабости знал. И цветы, и музыка эта наполнила близорукие глаза Ангелисы за очками с толстыми стеклами — благодарными следами, и она поспешила обнять доброго ресторатора

Нянькина со словами: «Ох, Андрей, какой же ты... Как я тебе благодарна».

— Тихо, — сказал тоже растроганный Нянькин, который, как мало кто, понимал, что дарить подарки — гораздо большее наслаждение, чем их получать. — Спокойно! Прошу к столу.

И выпито, и съедено было немного, не те люди собрались, но время, проведенное вместе, позволило Бронштейну пристальнее разглядеть подругу молодожки Гели.

«Ну надо же, — постепенно вникал он в самую суть происходящего с ним, — бывают же такие милые лица! Именно милые, а не вызывающе яркие. И потом, эта Катя, кажется, вовсе без макияжа! А какие большие, красивые и добрые глаза у нее!.. Не могу понять, какого цвета, серые или зеленоватые... Надо будет рассмотреть поближе...»

И чтобы поближе посмотреть, а еще обнять и почувствовать, есть ли какое-то чувство, он дождался медленной музыки и пригласил Катю потанцевать. А медленные танцы, как известно, — легальный повод к сближению. Как было и у Ангелисы с Сидором. Ресторан был почти пуст, и никто почему-то не танцевал. Жители поселка предпочитали сидеть по своим дачам и отдыхать там.

Василий Иосифович совсем не думал о Кате как о возможной претендентке на его руку и сердце, до этого было еще далеко, но познакомиться поближе уже тянуло. И уж совсем смешно было то, что в Бронштейне неистребимо жил стоматолог, поскольку бывших стоматологов, как, говорят, и бывших чекистов, не бывает. Почему смешно? А я объясню: Бронштейн во время танца решил ознакомиться с Катиной полостью рта, какие у нее зубы, есть ли кариес, о чем свидетельствует запах и проч. Катя улыбалась, поэтому он смог оценить ее зубы по высшему разряду и осознал, что Катя таким образом стала ему еще больше нравиться, тем более что и фигура ее во время танца нешуточно взволновала стоматолога. Но главным было другое: он вдруг осознал, что Катя удивительно напоминает ту самую ленинградскую певицу из его юности, которая пела про Карелию, — Лидию Клемент. И когда его осенило это открытие, он аж остановился во время танца и зажмурился, не поверив в такое внезапное «дежавю». Когда они вернулись к столу, узнали, что молодожены собрались уже уходить.

— В чем дело?! — почти возмущенно поинтересовался Василий. — Ведь только начали! — И тут (свои же

люди, можно и сказать) они сказали, что Ангелиса в «интересном» положении, уже три месяца. Она себя неважно почувствовала, а ее надо беречь и поэтому пора уходить.

— Она понесла... — с солдатской прямоотой добавил Сидор, а Геля укоризненно, но ласково взглянула на суженого.

— А вы, пожалуйста, оставайтесь, — попросила она Катю и Василия. — Еще ведь горячее не подали.

— И десерт намечается особенный, — подхватил подошедший Нянькин, — пожалуйста, мы вас очень просим.

Бронштейн и Катя переглянулись смущенно и согласились...

И мы с вами оставим эту пару в неясной перспективе чего-то очень удачного, судьбоносного и хорошего... Мы же надеемся, что и у Василия с Катей случится внезапное, но потом — долгое — счастье... И не потому, что так уж хочется эдакого сусально-ванильного хеппи-энда, а потому что у нормальных людей теплеют глаза, когда у других происходит что-то хорошее, и они радуются за них. Вот чего хочется вашему автору, тем более что он вплотную приблизился к финалу и мечтает об улыбке напоследок.

Молодожены вышли из ресторана. Прошли несколько шагов, и тут неожиданно их окликнули сзади. Точнее, окликнули его.

— Сидор! Ты, что ли?

Сидор обернулся и узнал своего бывшего товарища по работе, тоже охранника, Федора.

— Привет, — поздоровался он, — познакомься, моя жена Геля, — не без гордости представил он ее, опасаясь при бывшем коллеге произнести полное имя жены. Вдруг тот еще удивится и придется объяснять.

— Федор, — в свою очередь представился тот, — бывший сослуживец мужа вашего.

— А ты как тут оказался? — спросил Сидор.

— Да, короче, дачу тут присматриваю, — ответил Федор, — в натуре, знаешь, Москва надоела. Сам-то как? Как жизнь?

Быстро не расскажешь. Но Сидор ответил.

Вы, конечно, помните, как наш герой вначале ненавидел интеллигенцию и особенно их интеллигентские словечки. Но вот сейчас на вопрос Федора «Как жизнь?» он ответил для себя странно. Осторожно, словно пробуя это необычное слово на вкус и привыкая к нему, он с некоторым усилием произнес:

— Весьма...



Рубрику ведет
Евгений Никитин



Мик Стернер СЕНТ-ПОЛ



Мик Стернер Сент-Пол (1894—1972) — американский полковник и писатель. Автор рассказов для детей, научно-фантастических произведений, в том числе сборника рассказов «В Замбоанге у обезьян нет хвостов», романов «Барабаны Тапайоса» и «Трояна». В «Юности» (№ 10—12 за 2016 год) печатался его рассказ «В космос». Рассказ «Ужас морей» был опубликован в журнале *Astounding Stories of Super-Science* за декабрь 1930 года.

Евгений Никитин родился в 1992 году. Заведует отделом зарубежной литературы журнала. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года. Лауреат премии зеленого листка в номинации «Начинающему автору» журнала за 2013 год. Печатался также в «Независимой газете», журнале «Плывущий мост». Выпускник Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета по специальности «перевод и переводоведение», учится в магистратуре Российского государственного гуманитарного университета.

Продолжение. Начало в № 3, 4, 5, 6 за 2018 год

УЖАС МОРЕЙ

На следующий день в 9 часов утра Карнс с доктором Бердом сидели в офисе лейтенант-командера береговой охраны Миндена и внимательно слушали его рассказ о контрабандном деле. Лейтенант продолжал:

— Суда контрабандистов берут груз на борт и делают вид, что их пункт назначения — Рио-де-Жанейро или другой южноамериканский порт. Но в Атлантическом океане они моментально меняют курс и плывут к побережью Масачусетса. Естественно, в нейтральных водах мы не имеем права их задерживать, а они никогда не приближаются к береговой линии ближе чем на 50 миль. Достигнув черты охраняемой зоны, они несколько дней курсируют поблизости, а потом плывут на юг, в порт, который якобы и являлся их целью. Само собой разумеется, туда они прибывают уже пустыми.

Пока контрабандисты окопачивались поблизости, мы непрерывно патрулировали береговую линию, однако не заметили никаких признаков вы-

садки на берег. И, тем не менее, мы достоверно знаем, что она состоялась. Мы так тщательно прочесывали воды, что и поплавков не проскользнул бы незамеченным. Мы даже организовали патрулирование самолетами — все безрезультатно. Но, в конечном счете, именно благодаря воздушному патрулю нам удалось напасть на след.

Дела контрабандистов шли так успешно, что их сгубила беспечность. Очередную партию отгрузили поздно ночью, и к рассвету она еще не достигла берега. Самолет ВМС пролетал приблизительно в двадцати милях от берега, когда заметил субмарину, плывущую параллельно береговой линии на север. Она не походила на корабль ВМС США, так что патруль связался по радио со штабом в Вашингтоне и выяснил, что в этом районе нет ни одного нашего судна. Тогда они продолжили патрулировать, следуя за субмариной. Та проплыла еще миль тридцать-сорок и повернула к берегу. Местность в том районе скалистая, а как раз там, куда направлялось судно, есть утес, его

подводная часть уходит вглубь саженной на двести. Субмарина взяла курс прямо на него и скрылась из виду.

Лейтенант сделал многозначительную паузу. Взволнованные Карнс и доктор Берд даже привстали со своих мест, ожидая развязки.

— Когда летчики доложили об увиденном, мы поняли, как контрабандисты добирались до берега. Зная, где исчезла субмарина, мы приблизительно вычислили местонахождение их базы, поставили в той зоне кордон и начали прочесывать. Также в тот район была послана флотская субмарина. Она доложила, что в скале приблизительно в ста саженях под водой есть тоннель неизвестной протяженности, ведущий к берегу. Субмарину оставили сторожить проход, а мы нанесли контрабандистам визит на суше. Чтобы найти их базу, потребовалась неделя, но благодаря нескольким отслеженным грузам у нас все получилось. Как выяснилось, подводный тоннель длиной в милю выходит в большую подземную пещеру. Там партия молодых лейбористов организовала хранилище. Контрабандисты высаживаются с субмарины, разгружают ее и спустя день-два грузовиками под покровом ночи отправляют все в Бостон или другой город.

Подземная пещера не имела выхода на поверхность, но они сделали искусственный проход с помощью взрывчатки. Мы отправили туда отряд и без проблем взяли всех тепленькими. Груз был конфискован, а проход надежно замурован камнями и цементом. Этим все и закончилось.

— Благодарю за подробнейший рассказ, командер. Скажите, при необходимости вы сумеете снова найти запечатанный проход?

— Без проблем: я возглавлял группу захвата. Забыл еще упомянуть один наш промах. Пока мы готовились к операции, по-видимому, произошла утечка, так как охранявшую тоннель субмарину отозвали приказом по радио, который якобы исходил от Военно-морского министерства. Но субмарина не успела уйти далеко: капитан почуял неладное и вернулся. Но опоздал —выплывшая из тоннеля подводная лодка уже уходила в открытый океан. Капитан попытался догнать ее, но та оказалась слишком быстрой и скрылась из виду. Должно быть, предводитель группы контрабандистов находился именно на ней, так как в пещере мы его не нашли.

— Кто этот предводитель?

— Судя по захваченным документам, его зовут Иван Саранов. Никогда раньше не слышал о нем.

— Саранов? — задумчиво протянул доктор Берд. — Что-то мне это напоминает... Где я мог слы... О господи! Знаю! Он одно время преподавал в Петербургском университете. Один из лучших биологов. Карнс, мы нашли того, кого искали.

— Если вы про Саранова, то, боюсь, ошибаетесь насчет «нашли», доктор, — заметил Минден. — С тех пор не обнаружено никаких следов ни его самого, ни его судна, так что, скорее всего, он утонул. Как раз после его выхода в море разыгрался сильный шторм.

— Подводные лодки не слишком боятся штормов, командер. Смею надеяться, что Саранов именно тот, кто нам нужен. Как бы то ни было, хотелось бы взглянуть на выход из того тоннеля.

— К вашим услугам, доктор.

— Карнс, командер Минден сообщит вам координаты тоннеля. Передайте на «Миннеконсин» приказ следовать туда и держаться поблизости в ожидании новых распоряжений. Я же позвоню в Воздушный корпус, чтобы нам прислали самолет. Нельзя терять ни минуты.

Самолет с громким ревом зашел на посадку. Карнс, доктор Берд и Минден выбрались из кабины и огляделись. Они приземлились на ровном поле у подножия утеса — настолько массивного, что его впору было называть горой. Неподдалеку стояли трое, один подошел к новоприбывшим.

— Доктор Берд, верно? Я Том Хэррон, федеральный маршал, а это мои заместители. Как я понимаю, я должен следовать вашим указаниям.

— Рад знакомству, мистер Хэррон. Это агент Секретной службы Карнс и лейтенант-командер Минден из береговой охраны. Мы собираемся осмотреть расположенную здесь подземную пещеру.

— Вы про ту, через которую два года назад возили контрабанду? Она замурована. Я лично руководил процессом и могу заверить, что она закупорена надежней бочки.

— Можете показать вход?

— Конечно. До него меньше мили.

— Тогда отведите нас туда. Мы хотим его осмотреть.

Маршал направился по уходящей вверх тропе, которая привела к ущелью. Там он на мгновение остановился, припоминая дорогу, после чего резко повернул налево и взобрался на край ущелья.

— Вот здесь, — объявил маршал. Вдруг на его лице проступило изумление; он внимательно посмотрел на бывшую пещеру: — Ей-богу, док, го-

тов поклясться, что с тех пор, как я здесь побывал, ее вскрывали!

Продолжение следует.

Перевод с английского Евгения Никитина



ОТ РЕДАКЦИИ

Дать пеструю картину мира несколькими штрихами пытались многие. Иногда удачно, часто — не очень. Хотя есть в жанре этом и свои классики... Писатель Татьяна Медиевская вступает на трудный путь, а мы попробуем поддержать похвальные стремления, отдавая ее зарисовкам целую рубрику.



Татьяна МЕДИЕВСКАЯ

Татьяна Медиевская — член Союза писателей России, москвичка в четвертом поколении. Окончила МХТИ имени Д. И. Менделеева, Патентный институт, Высшие литературные курсы Литературного института имени А. М. Горького. Работала тренером по фигурному катанию, инженером на строительстве Токтогульской ГЭС, патентоведом в научно-исследовательских институтах и на часовом заводе. Публикуется в журнале «Юность», альманахах и коллективных сборниках. Автор книг стихов, прозы и пьес. Дипломант международных литературных конкурсов.



ТАЙНА ПРИКОСНОВЕНИЯ

Все началось в самолете Любляна — Москва. Леха удобно устроился в кресле, просмотрел последние сообщения, убедился, что все путем: предварительные согласования по контракту подписаны. Через неделю он с Никитой и Иркой отправится в Гаагу на выставку, а через месяц запланирован Назаре в Португалии — лучшее место для серфинга. Никита с Иркой — его друзья, лучшие друзья, вернее, Никита. Они дружат с детского сада, а им уже по тридцать лет. Друзья все делают вместе, то есть сначала Никита, а за ним — Леха. Вместе поступали в университет, вместе женились, вместе разводились, вместе открыли фирму — Никита главный, а Леха его заместитель. Никита — голова, генератор идей, а Леха — исполнитель, мотор.

Всего месяц назад Никита женился на Ирке. Молодожены неделю как вернулись с Канарских островов. «Эх, и я бы мог, но друг оказался решительнее. Ну ничего, я уже почти нашел свою Ирку — тоже высокую, голубоглазую блондинку», — размышлял Леха, когда самолет готовился ко взлету.

Он выключил телефон, закрыл глаза, решив подремать, и тут он услышал голос соседки:

— Вы когда-нибудь болели?

Леха с удивлением уставился на дамочку-интели-

гентку кресле, лет за сорок-пятьдесят, кто их разберет, в дорогом серо-розовом прикиде.

— Что за глупый вопрос! — резко и грубо ответил Леха.

— Еще Лев Толстой про врачей говорил: «Не смотря на то, что они его лечили, больной выздоровел», — не обратив внимания на реплику Лехи, изрекла соседка.

— Смешно, — вяло отреагировал Леха.

— Вот-вот, и я об этом! — подхватила назойливая дама.

— Что вы имеете в виду? О чем? Если про болезни, то извините, я вам не собеседник, — резко перебил ее Леха.

— Нет, в обсуждении болезней я сама никогда не участвую. Я хочу рассказать историю, — ответила дама мягко и властно тоном, не допускающим возражений. — Ну что нам мешает жить и радоваться жизни? Только две вещи. Это болезни и плохой характер.

Ну, со своим характером мало кто сражается, а с болезнями все — и по-разному.

Можно, как я, не обращать на них внимания, но, обидевшись, они вскоре так достанут, что взвоешь. Я не оригинальна в своих проблемах: то голова болит, то спина, то бессонница мучает.

Ну подумаешь — глотнешь таблетку, намажешься мазью, ну если припрет, то укол обезболивающий можно сделать. Но когда все эти средства перестали помогать, я решила кардинально решить проблему. Обшарила Интернет и нашла нейрохирургов, которые готовы за очень круглую сумму сделать операцию, разные виды массажей от классического до китайского. Все эти массажи оказались пыткой, особенно китайский. Доктор из Пекина полтора часа пытал меня иголками, банками и давил на самые болезненные точки на теле. После я ходила вся в синяках. И все врачи — и европейские, и восточные — уверяли, что если больно, то это хорошо, и значит, они достали до правильных точек. Поспрашивала знакомых, оказалось, что они время от времени мучают себя разными видами лечения от болей в спине, и все они с удовольствием и со знанием дела давали мне рекомендации. Главный невролог нашей поликлиники, посмотрев мой магнитно-резонансный снимок позвоночника, посоветовал мне купить корсет и «ползти на кладбище». На курорте в Карловых Варах мне процедурой вытягивания позвоночника в бассейне чуть не сломали шею. В Пекине после подъема на Великую китайскую стену услужливая экскурсовод, чтобы снять усталость, вызвала в номер гостиницы тайских массажистов. Муж надеялся, что к нему придет фарфоровая куколка — китайская принцесса, похожая хотя бы на официантку из чайной церемонии, а я так устала и хотела спать, что мне было все равно, кто. Пришла парочка: она — квадратная коротконогая тетка, он — мальчишка лет восемнадцати. Пытка длилась полтора часа. Мальчик вцеплялся мне в волосы, выдавливал глаза, отрывал руки и ноги, над спиной я ему не дала издеваться. Когда эта парочка убралась, получив немалый гонорар, я зашла в ванную, сняла халат и в зеркале вместо себя увидела медицинский атлас акупунктурных точек на теле, и каждая горела красным электрическим светом. Как я выжила, не знаю!

— Послушайте, вы же обещали не рассказывать про болезни. А сами? Где же история? — взмолился Леха.

— А история в том, что я нашла чудесный способ исцеления! — гордо ответила назойливая дама.

В этот момент объявили, что борт совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Назойливая собеседница включила мобильник. Ей позвонили, и она, не оглядываясь, быстро, пока еще никто не успел встать с кресел, направилась к выходу.

Леха достал свои вещи с верхней полки и ждал, когда проход освободится. Он осмотрелся, не забыл ли чего, и обнаружил в кармашке переднего кресла очки и папку с бумагами. Пришлось звать стюардессу, та посоветовала все забрать и попытаться догнать хозяйку вещей у паспортного контроля, где ее можно наверняка найти

в длинной очереди. Но там ее не оказалось. Разговорчивая незнакомка исчезла, а у Лехи остались ее очки и папка. По приезде домой он все убрал в шкаф и за неотложными делами забыл и о находке, и о незнакомке.

За день до вылета Никита позвонил Лехе и убитым голосом сообщил, что он не может лететь в Гаагу, что у Ирки болит спина, она лежит пластом и не может пошевелиться. Он долго рассказывал, как она упала со скейт-борда, как ее лечили, какой диагноз. В общем, хана, подытожил друг.

И тут Леха внезапно вспомнил про очки и бумаги словоохотливой мадам. Может, в них есть какие-нибудь ее координаты, подумал он. Кажется, она болтала про какую-то тайну исцеления. Ирка свалилась так некстати. Что делать? Леха достал из шкафа папку назойливой дамы. В ней лежало несколько листов, написанных от руки.

О наслаждении.

Общезвестно, что у нас пять видов чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. С их помощью мы познаем мир, и искусства созданы человеком для развития и услаждения живописью, скульптурой, музыкой, танцем, ласковыми голосами родных, пением птиц, ароматом цветов, духов, изысками кулинарии. А осязание? Погладить по головке ребенка, киску, шелковую или бархатную ткань. Литература! Когда мы читаем книжку талантливого автора, попавшего в резонанс или диссонанс с нашим сегодняшним мироощущением, мы сквозь страницы внутренним взором можем и видеть, и слышать, и чувствовать запахи и вкус.

А осязание? Как и какой вид искусства может воздействовать на наши тактильные чувства?

Что услаждает осязание? Автор книги говорит один на один с читателем, а повар — с гурманом. Музыка, запахи пронизывают все пространство, а осязание? Есть ли искусство прикосновения?

Радостный трепет тела, когда мы погружаемся в ванную, море, речку, стоим под струей душа, водопада, нежимся на солнышке, греемся пуховым платком, приятные ощущения от тонких тканей шелка или бархата. Что знают европейцы об искусстве прикосновения?

Индия знает! Аюрведа — знание жизни. Доктор аюрведы дарит счастье, прикасаясь к телу пациента. Это как танец ангелов с вашим телом. До встречи с доктором Х. я ощущала свое тело как заброшенный в чулан и забытый дорогой музыкальный инструмент, на котором никто не смог сыграть правильно даже простой гаммы. А доктор Х. смог бережно и терпеливо настроить инструмент и исполнить для меня симфонию — ликующую симфонию моего тела.

И после того, как «ангелы улетели», тело сохраняло память радости ощущения. Лечение наслаждением — вот

девиз аюрведы. И главное, что этим искусством обладают только избранные — гении. Он так знает тело любого человека, так его любит, что и силой этой любви изгоняет болезни и вдыхает силу и счастье. И человек вдруг понимает, что тело ему дано Богом не только чтобы заниматься спортом, и голову носить, и наряжаться, а само может быть источником наслаждения. Но это не сексуальное наслаждение, а что-то другое... Что? Оно не требует ответных ласк, как в любовных играх с партнером. Нет, тут что-то другое, необъяснимое словами, поскольку как нельзя передать мистический или сексуальный опыт, так невозможно и тактильный.

Shakti Ayurveda Centre Portoroz

«Никакой конкретики, — все ахи и вздохи», — решил Леха.

Он приехал к Никите. Ирка лежала в постели. Она уверяла, что у нее ничего не болит, но пока пошевелиться не может, но завтра ей станет лучше, и что должна приехать ее мама, и что Никита может спокойно лететь в Гаагу. Друг отказывался ее оставлять в таком состоянии. Спорили они, но в конце концов решили, что Никита полетит в Гаагу.

Леха, чтобы развлечь Иру, рассказал ей про назойливую даму в самолете и отдал очки и папку. Ирка рассмотрела их и сообщила, что очки дорожные, от Louis Vuitton, и папка тоже фирменная, не хилая — из натуральной змеиной кожи.

Утром друзья вылетели в Гаагу, где окунулись с головой в работу. Трудные шли переговоры. Вечером просто валились с ног. На вопросы Лехи про здоровье Иры Никита отвечал, что все путем: теща приехала, Ирке лучше, но предлагают операцию на позвоночнике. Жуть!

Вернулись друзья через неделю с очень выгодными контрактами.

По прилете Леха принял ванную, вырядился в фирменный костюм, рубашку и галстук, купленные недавно по совету жены друга. Он собирался на свидание с новой знакомой — тоже Ирой.

В этот момент позвонил Никита и деревянным, каким-то не своим голосом попросил срочно приехать к нему прямо сейчас. На вопрос: «Что случилось?» — слышалось нечленораздельное: «У-у-а, Ирки нет!» и рыдания.

Леха так испугался, что, забыв о свидании, тотчас поехал к другу. Вошел в квартиру. Никита сидел за столом и пил водку.

— Что случилось? — спросил Леха.

— Видишь, жена ушла! — трезвым деревянным голосом ответил Никита.

— Куда ушла? — спросил Леха.

— Вон, прочти записку! — обреченно ответил друг.

Леха взял листок бумаги и прочел: «Ники, я не хочу делать операцию на позвоночнике, а потом, возможно, остаться инвалидом на всю жизнь. Я решила найти этого индийского доктора. Вылечусь и вернусь к тебе здоровой! Люблю тебя!»

— А подробности есть? — спросил Леха. — Когда написано письмо? Когда ты с ней последний раз разговаривал по телефону?

— Два дня назад, — ответил Никита. — Но она мне ничего не говорила ни про какого индийского врача. — Тут он задумался, будто что-то припоминая, и, злобно взглянув на друга, завыл: — А-а-а! Это ты рассказывал какую-то байку про дамочку в самолете!

Никита вскочил из-за стола, бросился к Лехе, то тряс его, то пытался душировать. Леха отбивался, а друг выкрикивал:

— Куда она уехала?

Леха рассказал, что помнил из письма: этот доктор работал в Словении в каком-то отеле, но в каком, не помнит. Он объяснял, что все отдал Ирке. Леха как мог успокаивал друга, что жена вернется, как написала в записке, что надо набраться терпения и ждать, что прошло слишком мало времени.

Ирка не отвечала на телефонные звонки мужа целую неделю. Ни мать ее, ни подруги ничего не знали. Никита взял отпуск и полетел искать свою жену. Он мотался из отеля в отель, пока не набрел, как ему казалось, на след доктора. Спустя два месяца после безуспешных поисков по Словении и Индии Никита вернулся домой. В почтовом ящике он нашел конверт с такой запиской: «Дорогой Ники, прости! Я не вернусь. Остаюсь в Индии навсегда с доктором. Не ищи меня. Жизнь моя без доктора не имеет смысла. Прощай, прости, Ирина!»

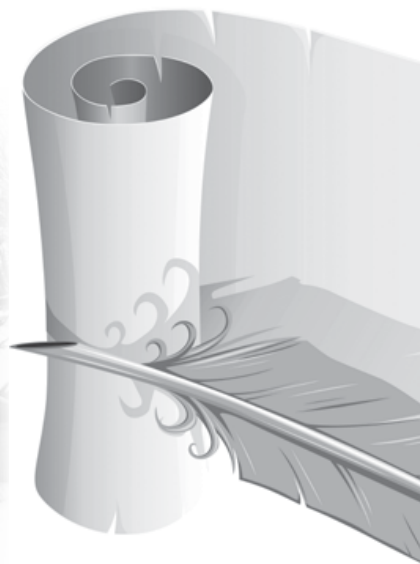
Никита на работу после отпуска так и не вышел. Запил. Он почти спился. Леха стал генеральным директором фирмы, женился. Жену его зовут Ирина. Они систематически лечат Никиту в разных наркологических клиниках.

Есть в Словении небольшой отельчик в горах, где практикует один индийский доктор. Он приезжает нечасто. К нему надо записываться загодя. Говорят, у него красивая ассистентка. Русская, зовут — Ира...





Надежда ЛЕБЕДЕВА



ИЗ ПИСЬМА

Доброе утро, «Юность»! Меня зовут Надежда. Я родилась в 1984 году в прекрасном городе Пскове. До девяти лет жила счастливой жизнью в пригороде на улице Моховой. После смерти папы мы переехали в город. Там я окончила школу и педагогический университет. Моя основная деятельность связана с детьми с ограниченными возможностями здоровья (расстройство аутистического спектра и ментальные нарушения). После окончания вуза переехала в Санкт-Петербург, дабы отыскать работу по специальности. В родном городе места

не нашлось, к сожалению. Уже тринадцать лет помогаю детям и их родителям. В настоящее время работаю в Региональном центре аутизма Василеостровского района Санкт-Петербурга. Люблю открывать новое и оказывать помощь, интересуюсь наукой о душе. В свободное от помощи людям время читаю, путешествую, разрабатываю методическую литературу и пособия для детей. Когда эмоции переполняют, могу написать несколько рифмованных строк.

23 июля 2018 года Пскову исполнится 1115 лет. Написала строки, посвященные городу.

С уважением, Надежда Лебедева

Пскову — 1115 лет!

«Россия начинается здесь»:
Так буквы твердят над рекой.
И я начиналась сама
На тихонькой Моховой.

Мой город прекрасен и чист,
Герой, хоть и не великан.
И охраняют его две реки —
Великая и Псковá.

Стоит, возвышаясь, собор,
Что Троицей благословлен.
Его божественный звон
Душе открывает простор.

И улиц неспешная даль,
Сирени немые кусты.
Они, как легкая шаль,
Как мысли людей, чисты.

Псков для меня — мой друг,
Печальный и непростой.
Любой мой душевный недуг
Излечит святой водой.

Псков — Санкт-Петербург



Вита ЛИХТ



Продолжение. Начало в № 6 за 2018 год

УРОК ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ

Вроде бы особенно тяжелой работа не была, но всякий раз я покидала этот дом обессиленной. Мой же родной двор, как обычно, встречал материнской заботой.

— Что, выжали все соки из тебя, да? — спросила тетя Лида, соседка по этажу. — Садись, отдохни.

— Да уж! Ну и парочку вы мне подкинули, — устало ответила я, устраиваясь рядом с ней на скамейке.

— Ничего, ничего! На безрыбье и рак рыба. Потерпи. Вот найдем тебе хорошее место, тогда и бросишь этих упырей.

— Мы сегодня с Додиком целый ящик баклажан с рынка принесли, вам завтра тоже будет чем заняться, — усмехнулась я.

— Нет, ну что за человек! — всплеснула руками тетя Лида. — Ну зачем ему столько баклажан! Сонька их на дух не переносит, а сам столько в жисть не съест!

— Так ведь, тетя Лид, халява — слово сладкое. Бесплатно же, как не взять!

— Ладно, пойдем. Я тебя обедом накормлю, — сказала тетя Лида.

— Да нет, не надо, — ответила я. — Дома что-нибудь поем.

— Дома она поест! Там твой братец ненаглядный своих друзей-алкашей привел. Уже сожрали, наверное, все запасы!

У меня все похолодело внутри.

— Как привел? Опять! Он же обещал..

— Обещать — еще не значит жениться, — ответила тетя Лида. — Ох, девочка! Ну кто ж обещаниям алкоголика верит. Это пока похмелье давит, он и клянется, что ни капли в рот не возьмет, а как на пробку наступил... и все! Понеслась душа в рай! Пошли ко мне обедать.

— Спасибо, тетя Лид! Но я сначала домой зайду, посмотрю, что там и как, — ответила я. — И это... вы деньги мои возьмите, положите у себя. Если Руслан пить начал, то все до копейки спустит.

— Давай, — сказала тетя Лида, убирая в карман мой дневной

заработок. — Я в твою шкатулочку спрячу, как всегда. И недолго там, — добавила она мне вдогонку. — Все горячее, на плите ждет.

Неприятный запах наотмашь ударил с порога. Эту жуткую вонь всегда приносил с собой Китаец. Сегодня водка так по-хозяйски разлеглась на мозгах моего брата, что он запросто ел с одной сковородки вместе с этим бомжем. Китаец к Китаю не имел никакого отношения. Звали его все так, потому что от беспробудного пьянства черты этого еще молодого мужчины совершенно потеряли свой первозданный вид. Отекшее лицо и набухшие, дряблые веки превратили глаза Китайца в узенькие, вечно слезящиеся щелочки. Китаец уже давно разучился складывать отдельные слова в простые выражения, а потому лишь ел, пил и время от времени вытаскивал из всех отверстий своего организма продукты переработки съеденного и выпитого.

Брат мой хоть и уходил в недельные запои, но пока еще со-

хранял человеческий облик. Под водочку, как соленый огурчик, ему нужен был собеседник. Сегодня им оказался Морпех. Он был старше Руслана и Китайца лет на пятнадцать, когда-то служил во вневедомственной охране, где и приобрел привычку много читать и пить каждый день. Морпех не бомжевал, всегда был выбрит и наглажен, пил только хорошую водку и никогда не приходил с пустыми руками.

Видимо, застолье уже было в самом разгаре, потому как от политики и женщин разговор перешел к боевым заслугам Морпеха.

— Я никогда не был сволочью! Никогда! Я не подставлял своих ребят под пули! — громыхал Морпех. — Это наши штабисты ради звездочек готовы были молодых пацанов положить! Я капитан советской армии, я — морской пехотинец! В этих гребаных горах взвод моих ребятешек остался! В клочья разодранные... А эти суки канцелярские!.. — Огромный кулак Морпеха пытался отомстить нашему кухонному столу за всех погибших.

— А потише нельзя? — спросила я.

— Ой, Верунчик! Верунчик, для тебя все что угодно. — Морпех галантно привстал и припал к моей руке.

— Верка, молодец, что пришла. — Руслан по-братски взял меня за плечи. — Садись с нами.

— Нет уж, спасибо, — ответила я, уворачиваясь от его объятий.

Мне хотелось поскорее смыть с себя сегодняшний день и переодеться.

Пока я стояла под душем, водка на кухне закончилась. Морпех из капитана стал майором, а затем и подполковником. Боевые потери от стопки к стопке тоже росли — рота, полк, дивизия.

Лишь Морпех выходил из боя живым и лично хоронил каждого боевого товарища.

Дальше тоже все как обычно. Руслан робко скребется в мою дверь и виновато скулит:

— Вер, а Вер! Денег дай... А?

— Отстань, — раздраженно обрываю его я.

— Вер, неудобно ж перед людьми! Ну, у Морпеха внук родился. Он, как человек, пришел с бутылкой, а я как хозяин тоже должен угостить, обмыть мальчика, — канючит Руслан.

— У него каждую неделю то внук, то внучка рождается, — ответила я. — Тоже уже, наверное, целая дивизия. Всех не обмоешь! Да и нет у меня денег. Не работала я сегодня. Старики уехали куда-то, — вру я. — Пусти, мне идти надо.

Крошечная однокомнатная квартира тети Лиды — такая же чистенькая и уютная, как и ее хозяйка. Маленькая, худенькая, она напоминает мне мою куклу, играя с которой я строила свой домик. Кукла эта была только моя, а не общая, как все остальные игрушки в детском доме. Именно ее я взяла с собой, когда вскоре, после похорон родителей, Руслана забрали в армию. Длинные волосы своей куклы я заплетала в косу, а тети-Лидина коса короной лежала на ее голове.

— Женя мой сегодня поздно придет. Вдвоем обедать будем, — сказала тетя Лида, ставя тарелки на стол. — Ну, как там дома?

— А... как всегда, — отмахнулась я.

— Гнала бы ты его.

— Вы чего, тетя Лид? Куда я его выгоню? Брат ведь, да и некуда ему идти. Одни мы с ним. Больше нет никого.

— Тебе замуж надо выходить, детей рожать. Сейчас самый возраст. Все надо вовремя делать, —

вздыхнула тетя Лида. — Я вот своего Женьку в сорок лет родила. Знаешь, как он мне достался?

— От кого рожать? От алкашей этих? — спросила я.

— Ну, не все мужики алкаши. Ты глаза-то открой — чем тебе мой Женька не пара?

— Женя? Да он же старый! Ой! — спохватилась я. — Я хотела сказать, что старше меня намного.

Виновато опустив глаза и не смея поднести ложку ко рту, я стала перемешивать ею борщ.

— Ну, что ты затихла? Ешь, — сказала тетя Лида, усаживаясь за стол. — Вот и хорошо, что старше. Значит серьезный, надежный. Опять же, женат не был, детей на стороне нет. Никаких там алиментов и прочих хвостов за ним не тянется.

— Вкусный у вас борщ, — сказала я, стараясь перевести разговор на другую тему.

— Ох, хитрюга! — усмехнулась тетя Лида. — Ешь давай... Скажешь тоже, старый! Тебе что, его варить? Тридцать пять всего. Для мужика самое то.

— Замуж по любви надо выходить, — попробовала возразить я. — А я пока не люблю никого.

— Вот и хорошо, что никого не любишь. Пусть тебя любят. Чего так смотришь на меня? Все так живут. Привыкните друг к другу, притреться, а там, глядишь, и любовь появится. Опять же, живем рядом. У тебя вон хоромы трехкомнатные. Пусть по ним лучше дети ваши бегают, чем алкаши вонючие. А с детишками я всегда помогу.

— Те-е-ть Лид, ну не надо... — взмолилась я. — Не хочу я об этом говорить сейчас.

Телефонный звонок стал моим спасителем и прервал наконец этот не очень приятный для меня разговор.

— Да, Костик, это я, — ответила тетя Лида. — А что случилось? Когда? О боже мой! Да, Верочка сейчас у меня. Мы минут через сорок будем.

Вернувшись в кухню, тетя Лида сказала:

— Давай закругляться.

Ехать надо. — Она стала складывать в сумку очки, паке-тик с лекарствами и прочую мелочь. — Додика в больницу увезли. Камни у него там в желчном пузыре зашевелились. Сын его звонил. Не знает, на кого Соньку оставить.

— Да, конечно, — ответила я. — Сейчас только посуду помогу убрать и домой на минутку за-скачу.

— Иди уже, — сказала тетя Лида. — С тарелками я сама разберусь.

Из открытой настежь двери на весь подъезд воняло Китайцем. От гостей на кухне остались пустые бутылки и гора окурков в сковороде. Магнитофон надрывным хриплым голосом Высоцкого, пытался выяснить, почему ж все таки аборигены съели Кука... А я, вынимая тлеющую сигарету из руки уснувшего брата, подумала: «Кто знает, может, тетя Лида в чем-то и права».

— Нет, что значит — он заболел? — возмущалась Сонечка. — А как же я? Он подумал об этом?!

— Мама! Ну как ты так можешь?! — с болью в голосе сказал невысокий, полный, уже начавший лысеть мужчина, очень похожий на Додика. — Отцу же операцию сделали! Ты понимаешь это?

— Но ведь сделали же уже! Так скажи ему, пусть немедленно возвращается домой! Нечего там разлеживаться, санатории себе устраивать, — гремела на весь дом Сонечка.

— Mam, ты в своем уме? — взмолился клон Додика. — Ему после операции нужно будет не меньше двух недель находиться в больнице. Отцу врачи нужны, уход хороший.

Сонечкины глаза вылезли из орбит:

— Две недели?! Значит, пока твой любимейший папашка под присмотром будет в больнице прохладиться, я тут одна сидеть должна?! Так, по-твоему?

Сын опустил перед Сонечкой на колено и попытался взять ее руки в свои:

— Mamочка, ну почему же одна? Вот тетя Лида будет каждый день к тебе приходить, а Вера вообще будет здесь и днем и ночью, пока я из командировки не вернусь.

— Эта?! — взвизгнула Сонечка и просверлила меня ненавистным взглядом. — И слушать ничего не хочу. — Она выдернула свои ладони из рук сына.

— Знаешь что, Костик... — со вздохом сказала тетя Лида, до сих пор молча сидевшая на дорожном антикварном стуле. — Ты поезжай в аэропорт, делай свои дела, а мы тут сами разберемся.

— Ой, тетя Лида! Я вам так благодарен, вы просто не представляете! — воскликнул Костик. — У меня самолет через три часа. Я не могу не лететь. Я не могу сейчас что-то перенести или отменить. Понимаете?

— Ну, сказала же, поезжай, — успокоила его тетя Лида. — А Соня пошумит и успокоится. Куда ей деваться.

— И про папу не забудьте, пожалуйста, — напомнил Костик уже на пороге квартиры.

— Не забудем. Лети уже, — напутствовала его тетя Лида. — Лети, сынок.

— Чего это ты раскомандовалась? — попробовала возмутиться оставленная без внимания Сонечка.

— Сонь, все. Зрители ушли. Заканчивай свои концерты, — неожиданно резко оборвала ее тетя Лида.

По-хозяйски, словно на своей собственной кухне, она начала накрывать на стол, совершенно не интересуясь при этом прихотями Сонечки.

— Ты сейчас по-еешь — и иди к своему телевизору. Не мешай тут, — сказала она. — У нас с Верой куча дел.

Сонечка было набрала полную грудь воздуха, но тетя Лида спокойно и твердо остановила рвущиеся на волю новые проклятия и возмущения:

— А если будешь выступать, то мы разворачиваемся и уходим. Все, тему закрыли.

К моему огромному удивлению, Сонечка в одну секунду сдулась, как воздушный шарик, и из злобной ведьмы превратилась в маленького, растерянного, обиженного ребенка. Она послушно съела поставленный на стол обед и так же послушно поплелась в зал к своему плюшевому трону. Ее неизменное «О, Хоссспади, Хоссспади, Хоссспади!..» звучало уже шепотом.

— Пока варится бульон для Додика, мы тебе комнату приготовим, — сказала тетя Лида.

Привстав на цыпочки, она стала что-то искать на дверном косяке одной из комнат, которая всегда была заперта. Вскоре в ее руке оказался ключ. Она дважды повернула ключ в замке, и едва заметное волнение промелькнуло на ее лице, прежде чем открылась дверь.

В отличие от квартиры, просто заваленной мебелью и веща-

ми, в комнате не было ничего лишнего. Тесно прижавшись друг к другу, стояли рядом детская кроватка и узкая металлическая кровать с круглыми шариками на спинках. Небольшой шкаф для одежды, письменный стол и старый венский стул. Вот и все. Но видно было, что вещами этими когда-то пользовались, что когда-то они жили жизнью своих хозяев, а теперь, исполнив свой долг, покорно приняли забвение.

С первых секунд было ясно, что в комнату эту не заходили уже много лет. И дело даже не в толстенном слое пыли, которым было покрыто все. Здесь, как в гербарии, давно не было жизни. Я просто не осмеливалась прикоснуться к чему-либо, боясь, что все сразу же рассыплется в прах.

— Девочка моя, не стой столбом. Давай-ка делом заниматься, — строго сказала тетя Лида, уже совершенно овладевшая собой.

Уборка не заняла много времени. Мебель была совершенно пуста, а на стене висели лишь две фотографии. На одной я сразу же узнала молоденькую тетю Лиду, которая в то время еще ни для кого не была тетей. На руках она держала пухленького Костика, лысенькая головка которого была покрыта младенческим пушком. Костик беззубо улыбался и тянул к кому-то свои ручки. Со второй фотографии на меня смотрела волоокая красавица с толстенной косой и комсомольским значком на пышной груди.

— Узнаешь? — спросила тетя Лида, тоже разглядывая фотографии.

— Конечно, — ответила я улыбаясь. — Это вы с Костиком.

— А это Сонечка, — добавила тетя Лида, указывая на волоокую девицу.

— Сонечка?! — переспросила я, не веря своим глазам.

— Сонечка, Сонечка... а кто еще, — сказала тетя Лида, задумчиво глядя на фотографию. — Ты что ж, думаешь, она всегда была такая, как сейчас? Не-ет... Сонька наша была как в том фильме — студентка, комсомолка и просто красавица. Лучшая на курсе, умница... все везде успевала, на все ее хватало... Да... Кто бы мог подумать... А все любовь ваша виновата! Через нее Сонька и сломалась.

— Сломалась? Почему? — удивленно переспросила я. — Ведь Додик служит ей как собака, каждое слово ловит.

— А при чем здесь Додик? Любила-то она не его, — сказала тетя Лида, застилая для меня постель. — Ты воду в ведре поменяй и еще раз все обойди. Тогда и порядок будет.

— А кого она любила? — спросила я, вернувшись с чистой водой.

— А кого мы, бабы-дуры, любим? — усмехнулась тетя Лида, расправляя цветастое покрывало на теперь уже моей кровати. — Пустобрехов смазливых. Вот и она себе такого же выбрала. Ну, как ведется, поигрался он с ней, а замуж не взял. Не подошла она ему по фасону. Сонька обыкновенная, с рабочего поселка, а у него папа из бывших, который и при нынешней власти хорошо прижился. Дом как Третьяковская галерея, весь в картинах, коврах и старинной мебели. Больше всего его родителей выводило из себя, что Соня говорила неправильно. Ну, не барского рода, в общем. А... — махнула рукой тетя Лида. — Все старо, как мир. Красавчика этого вскоре женили, а Сонька на себя руки решила наложить. Вот и вся любовь, — подытожила тетя Лида.

— А что потом? — спросила я.

— Что потом... — задумчиво произнесла тетя Лида. — Пока Соню в больнице выхаживали, приехала ее мама. Женщина она была малограмотная, но по-житейски очень мудрая. Огляделась она вокруг и сразу, в отличие от Сони, заметила Додика. Мы ведь все втроем — Соня, Додик и я — еще на рабфаке вместе учились, а потом и в институте в одной группе оказались. Додик за Сонькой как тень ходил. В комсомол из-за нее вступил, общественные поручения всякие выполнял, чтоб всегда рядом с ней быть. Вот Сониная мама их и свела. Как говорится, клин клином вышибают. Сонька согласилась выйти за Додика, но условие ему поставила, чтоб жили не хуже, чем ее павлин распрекрасный. Нос ему хотела утереть. Вот Додик всю жизнь и корячится, чтоб жене угодить. Видишь, весь дом захламил.

Додик лежал на больничной кровати бесформенным сморщенным комочком. Из-под одеяла выглядывала лишь голова, покрытая мужским носовым платком. Щеки его ввалились, а потухшие глаза, не мигая, смотрели на муху, сидящую на оконной раме.

— Как вы себя чувствуете? — спросила я.

— Что? — встрепнулся Додик.

— Как ваше самочувствие? — повторила я.

— Не знаю, — растерянно ответил Додик и с какой-то надеждой посмотрел на дверь за моей спиной. — Я не знаю, как я себя должен чувствовать. Я ведь никогда в своей жизни в больнице не лежал. Нет. Я болел, конечно, но все это как-то на бегу, на ногах, а тут вот такое... Шо там Сонечка? Наверное, места себе не находит, бедная... Кушает? Ты ее корми хорошо, следи за этим, ей силы сейчас нужны. А меня вот не

кормят здесь совсем. Бок болеть перестал, а кормить не кормят, мерзавцы.

— Да нельзя вам пока кушать, — успокоила его я. — После операции только бульон можно. Вот вам Лидия Яковлевна сварила. Пейте, пейте, он теплый еще.

Додик приподнялся в кровати, и носовой платок упал с его головы.

— Вот ведь, — сказал Додик, поднимая платок, — на улице жара страшная, а у меня голова мерзнет. И всю жизнь так, сам не знаю почему. Сонечка почему-то злится всегда, когда я на голову платок ложу. Ой, господи! Кладу! И чего злится — непонятно. И какая разница — ложу или кладу? Главное, чтоб тепло было.

Додик отпил бульон и прислушался к тому, как он расположил-

ся в его желудке. Потом сделал еще один осторожный глоток.

— За жену свою вы не беспокойтесь. Я у вас поживу, пока вы в больнице, и присмотрю за ней. А вам завтра шапочку лыжную принесу. Выглядеть будет лучше, и теплее к тому же, — сказала я, и мне показалось, что в глазах Додика мелькнуло что-то похожее на благодарность.

Додик появился в доме через десять дней. Он перешагнул порог, неся в вытянутой руке прозрачный пластиковый стаканчик, до половины заполненный зелеными круглыми камешками. Додик прямым ходом отправился к плюшевому трону и, преподнеся Сонечке свои трофеи, торжественно произнес:

— Вот!

Сонечка, до этого момента мирно дремавшая в своем кресле, некоторое время рассматривала содержимое стаканчика, а затем, подняв глаза на Додика, спросила:

— Это что?

— Это мои камни! — гордо ответил Додик.

— Какие еще камни? Зачем мне твои камни? — спросила Сонечка, постепенно повышая тон.

— Ну, доктор мне вырезал желчный пузырь, а там камни, — пояснил Додик.

— Я-то здесь при чем? — закипающим от раздражения голосом спросила Сонечка. — Убери от меня эту гадость! И... и руки вымой, немедленно! — кипятком плеснула она в лицо мужу.

Продолжение следует.

Петропавловск-Камчатский — Франкфурт-на-Майне





София АГАЧЕР



Продолжение. Начало в № 6 за 2018 год

ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРИ СЕБЯ

Коллаж Настасьи Поповой

— Ничего-то ты не знаешь, Пропажа, давно тебя не было, это у нас так траву косят, — очень серьезно стала мне объяснять Люся, назвав меня старым детским прозвищем.

Наш разговор прервал звонок в дверь. Это пришла Наталья. Она бережно внесла огромную сумку, достала из нее плоскую форму, завернутую в фольгу, и поставила свою «летающую тарелочку» на стол. И оттуда потек давно забытый запах детства. Перед глазами сразу предстал мой дедушка, вернувшийся с рыбалки и принесший два десятка сопливых ершей, которых потом бабушка жарила на большой чугунной сковородке в печи. Как маленькая женщина умудрялась держать ухватом эту тяжеленную конструкцию над углями, не роняя ее, для меня по сей день остается загадкой.

— Наташка, не может быть, неужели это жареные ерши?! — воскликнула я.

— Да, девчонки, это ерши, сын сегодня на зорьке наловил, а я поджарила, правда, не в печи, но все равно хрустят, как семечки.

Ну что, удивила я вас, подружки?! — довольно сощурилась Наталья. — Что, Галка, как всегда, опаздывает?

— А вот и не опаздываю, — звонко закричала с порога Галина. — Что это у вас дверь нараспашку? Пахнет, как пахнет, можно с ума сойти! Приготовить я ничего не успела, зато принесла наше любимое полусладкое шампанское! Маму твою видела, хозяйшюка, на скамеечке сидит у подъезда, ножками болтает, прямо как баба Фира сорок лет тому назад. Помните бабу Фиру, девчонки?

— Да, баба Фира была потрясающей старушенцией. Всегда с прищечкой, ярко накрашенными губами и янтарными бусами на шее, — пустилась вспоминать Люся. — Если не сидела на скамейке возле подъезда, то смотрела в окошко своей квартиры на первом этаже. И любой прохожий мог попросить у нее воды или просто пустой стакан, чтобы пивка попить с другом, а нас, детей, она кормила латкес и пирогами с рыбой. А сейчас даже посту-

чать в окна первого этажа нельзя, везде решетки стоят, подъезды закрыты на кодовые замки. Даже если убивать будут, никто окно не откроет и не отзовется. Водичку только в магазине купить можно или из лужи попить. Помните, как баба Фира подвыпивших и загулявших мужиков, которых жены домой не пускали, накрывала стареньким одеяльцем, когда те засыпали на скамейке у подъезда? А потом подымалась в квартиру к строптивой жене и уговаривала ее забрать мужа, потому что так поступать приличная женщина не должна, да и другая подобрать может, поскольку завалящих мужиков не бывает, а случаются глупые и одинокие женщины.

— Какие потрясающие люди жили в этом доме, шутить умели. Уехали многие. Из нашего класса в городе осталось всего человек десять, а остальные кто в России сейчас обитает, кто в Европе, кто в Америке, кто в Канаде, ну и, конечно, в Израиле много нашего народу, — сказала Галка и вдруг озорно рассмеялась. — Помните, подружки, когда на зимние

каникулы на втором курсе к бабе Фире внук Илья приехал из Ленинграда?

— Конечно, помним, — расхооталась Наталья. — Это когда мы на танцульки у нее собрались?

— Как сейчас вижу, — утирала от смеха слезы Галина, — натапцевались мы, сидим за столом, чай пьем с пирогами. Морозище тогда на улице стоял, наверное, градусов тридцать. Поздно уже было, но расходиться не хотелось. И тут баба Фира выходит из своей спальни и говорит так ласково: «Ильющенька, помоги мне достать из шкафа дедушкино габардиновое зимнее пальто на ватине!» Мы чуть не подавились от смеха, а Илья ей отвечает: «Зачем тебе, бабушка, пальто, ведь его даже с места сдвинуть нельзя, а можно лишь использовать в качестве доспехов ратника?!» — «Какие вы недобрые и глухие дети! Мороз страшный, в подъезде холодно, а там пара молодая разговаривает, а если в это время, под лестницей есть парень и девушка, значит, они там стоят и целуются и им очень неудобно и зябко! Поэтому, Ильющенька, возьми дедушкино габардиновое пальто и пойди отдай им, чтобы они могли постелить его и сесть на подоконник площадки между первым и вторым этажами», — выговаривала нам баба Фира.

— Да, потрясающая была женщина — все слышала и замечала. От многих бед она людей спасла, особенно молодых. Ведь своих папу и маму расстраивать не будешь, а ей можно было все рассказать, совет получить и помощь, — очень грустно закончила Галя свой маленький смешной рассказ.

— Ох, девчонки, через два года будет сорок лет, как мы окончили школу, может, соберем своих

одноклассников со всего мира, накроем столы и вспомним свое замечательное детство, — предложила я, изменив тему разговора.

— Не думаю, что это удастся сделать, и потом встреча получится очень грустная, — перебила меня Наталья. — Не только потому, что мы почти все уже бабушки и дедушки. Весь мир с тех пор стал иным, страна другой, да и дворов нашего детства больше нет. Помните, как все мы весело, лет с пяти-шести, с ключом на шее, гоняли в казаков-разбойников, в штандера, в вышибалу? Сейчас же я провожаю свою младшую двенадцатилетнюю дочь в школу и забираю ее оттуда. И общается она со своими ровесниками не сидя в беседке и слушая брелчание гитары лохматого неуклюжего мальчишки, а переписываясь непонятно с кем в чате.

— Помню, у нас в классе только Андрюшку Равиковича дедушка провожал в школу, тихонько идя за его спиной, и то лишь лет до восьми. И как только Андрюху за это не дразнили! А теперь... Вчера иду с работы и вижу здорового парня лет двенадцати, за которым бабушка несет в школу тяжелый портфель. Прорвало меня чего-то, остановилась, стала стыдить мальчишку, так такого от его бабушки наслушалась, что немудрено понять, почему дети сейчас растут инфантильными эгоистами, — со вздохом добавила Люся.

— Ладно, девочки, хватит о прошлом, расскажите, как сейчас живете, может, повеселее станет, — постаралась я как-то оживить обстановку.

— Как живем? Живем — не тушим, — сказала Галина, наполняя наши бокалы пенящимся шампанским. — Видишь, все у нас есть: еда, работа, мир, и все это нахо-

дится в коридоре между тем, что положено, и тем, что не положено.

— Что значит: положено и не положено? — удивленно, чуть не подавившись, воскликнула я.

— Как же тебе объяснить это, человеку, приехавшему в свою родную страну, прости, как турист. Ты видишь вокруг себя ярко и красиво раскрашенные здания, цветущие кусты роз, чистые улицы, аккуратно постриженную траву и деревья, ешь вкусную еду. А я вот четыре месяца занималась здоровьем своей старенькой мамы. Слепнуть она стала, надо было сделать операцию — удалить катаракту глаза. Месяц мы с ней вдвоем собирали анализы. Она у меня плохо ходит, возраст, передвигается с помощью двух палочек. К семи утра я шла за номерками в поликлинику, потом везла ее на прием к различным врачам. Каждый день один врач или один анализ. Потом с этой кипой документов надо было встать на очередь на операцию, а когда время госпитализации подошло, пройти повторно врачей и анализы, поскольку они действительно только десять дней, — терпеливо и как-то обреченно стала объяснять мне Галка.

— Разве нельзя записаться на операцию, а когда подошло время, за десять дней до нее, сдать все анализы и пройти врачей? — ошеломленно спросила я.

— Не положено, — каким-то чужим голосом ответила мне Галина. — Хотя головой в стену бейся, не положено!

— Но ведь это издевательство над людьми! — сорвалось у меня.

— Это еще не издевательство! Издевательство началось дальше, когда мы попали в больницу, в палату на шесть человек с туалетом в коридоре. Куда пожилые люди после операции просто не могут войти. Когда же я узнала,

что в отделении есть двухместные, благоустроенные палаты с санузлами, я стала врача просить положить туда маму. На что мне ответили, что палаты платные. Причем на все мои предложения заплатить мне отвечали: «Не положено, ваша мама старше восьмидесяти лет, и ей положено бесплатное лечение. Вы понимаете разницу между положено и не положено?!» Теперь поняла, в чем разница между туризмом и жизнью в этой стране!

— Поняла. Проблема, которую можно решить за деньги, — это не проблема, а проблема — это когда денег не берут и ничего не делают, — решила я пофилософствовать вслух.

Стол ломился от вкусовностей: картошечки с салом, беяшей, салатов, заливного, солений и мочений, а мы сидели притихшие и грустные, понимая, что невозможно вернуться в мир нашего детства, как, впрочем, и существующий не переделывать.

Мои бывшие одноклассницы разошлись по домам, благо идти было недалеко, а я, убрав посуду, вышла подышать свежим воздухом. Вокруг цвели сады, и сочился в душу, принося покой, аромат сирени.

И тут я услышала веселый смех и радостный возглас:

— Привет, Пропажа, где тебя носило? Рот закрой и лучше дверь подъезда поддержи, а то сейчас меня ожидает та же участь, что и старушку из старого анекдота. Эта дверь серьезный охотник. Знаешь, сколько бабушек она уже подранила?

Мне навстречу, держа под мышками два картонных чемодана с окованными краями, выходил старый добрый дядя Рафа. Он пытался протиснуться в подъездную дверь, придерживая ее ногой.

— Что стоишь, как статуя Свободы, держи это, — сказал он, и повернувшись боком, умыдрился плюхнуться мне огромный чемодан на руки.

— Дядя Рафаил, но ведь его невозможно держать без ручки, — наконец-то рассмеялась я, балансируя с неудобным чемоданом, пытавшимся ежесекундно выскользнуть у меня из рук.

— Конечно, без ручки. Если бы у этого чемодана была ручка, разве бы я тогда сбросил его тебе. Шагом марш на помойку, выброси этот ящик. И возвращайся за другим, а я еще принесу, — произнес он шутливо и вернулся в подъезд.

Перетащив восемь чемоданов без ручек, мы с дядей Рафаилом присели на скамейку передохнуть и поболтать.

— Почему такая грустная, Пропажа? Зуб, что ли, болит? Так я тебе дам телефон чудного дантиста, хоть наш город и далек от Чикаго, где ты проживаешь, но зубы тоже умеют лечить прилично! — пытался меня рассмешить Рафаил Маркович.

— Понимаете, дядя Рафаил, вот я добралась до своего родного города и обнаружила, что люди практически не улыбаются. Все мои попытки рассмешить друзей или просто незнакомых людей, пошутить с ними, вызвать их ответную улыбку провалились. Не улыбаются медсестры, врачи, не улыбаются продавцы, таксисты, парикмахеры, проводники, официанты и прочий люд из сферы обслуживания, которому положено быть приветливыми и улыбкивыми, хотя бы в силу их профессии. Но, самое страшное, я сама тоже перестала смеяться, и мне от этого холодно и неуютно как-то. Улыбка исчезла с моего лица, поскольку я четко поняла, что при очередной попытке пошутить с продавцом или с дворником

меня просто сдадут в дурдом, — стала я слегка растерянно объяснять ему свое состояние.

— Знаешь, Пропажа, а ведь, кажется, это я отправил улыбки из нашего города! — начал он свой чудный рассказ. — Это было тридцать пять лет тому назад, когда сотни тысяч евреев уезжали из Советского Союза. В стране ничего не было, всего не хватало, в том числе и чемоданов. Я же, будучи начальником отдела снабжения одного из заводов, узнал, что в соседнем районе на фабрике кожгалантереи скопилось большое количество брака — чемоданов без ручек. Тогда наш завод по моей заявке купил их по копеечной цене как тару для рабочих инструментов. И, о чудо, на заводской склад пришел вагон чемоданов без ручек. Потом два моих друга, Бенья и Изя, два прекрасных сапожника, шивших такие мягкие сапоги, что в них можно было спать и не только, начали приделывать к этим чемоданам ручки. Потом отъезжающие евреи обменивали у них в мастерской свои деревянные ящики на уже отремонтированные чемоданы. Деревянные ящики приводились ко мне на склад, где я их оприходовывал как тару для хранения инструментов, а чемоданы развезжались по всему миру.

— Наверное, это было золотое время для такой умной головы, как ваша, дядя Рафаил? — спросила я его лукаво.

— Что ты, Пропажа! Я делал это весело и абсолютно бесплатно, — ответил Рафаил Маркович, продемонстрировав мне свои пустые ладони.

— Но зачем? И при чем здесь улыбки? — удивилась я, отгоняя раннюю надоедливую мошкату от лица.

— Ну, ты же родилась в Гомеле, неужели забыла бородатый

анекдот о том, как старый еврей покупал яйца, отваривал их и потом продавал по цене покупки. Когда же его спрашивали, зачем он это делает, он смеялся и отвечал: «А бульон от яиц?!» Понимаешь, у меня появилось тысячи друзей в разных странах мира, со многими из них я общаюсь до сих пор. Иначе я бы давно уже умер без общения и шуток в нашем «мрачном королевстве». И кстати, если ты сходишь на местный железнодорожный вокзал, то увидишь чудную скульптуру еврея в шляпе и длинном пальто, что сидит на «моем» чемодане без ручки с надписями «Гомель — Париж — Лондон — Тель-Авив — Рио-де-Жанейро». И заметь, многие из моих чемоданов стали семейными реликвиями, а ручки, приделанные Беней и Изей, представь себе, держатся до сих пор. Иногда я думаю о том, что мои предприимчивые и неунывающие ни при каких обстоятельствах соплеменники-евреи увезли в этих чемоданах нечто большее, чем книги. Да, да, забирали в основном в иммиграцию книги: Достоевского, Шолохова, Булгакова, Пастернака и других великих русских писателей, — продолжил Рафаил Маркович свой удивительный рассказ.

— Так что же они увезли еще? — воскликнула я.

— Они увезли свою культуру, анекдоты, неповторимый колорит, математику, атмосферу. Они увезли улыбки, ведь ручки от чемоданов очень напоминают улыбки. Я знаю, ты много путешествуешь, Пропажа, встречаешь различных людей, у меня к тебе просьба, рассказывай им эту смешную историю про чемоданы без ручек, и если люди будут смеяться — собирай их улыбки в бабушкин рушник, привози их обратно и разбрасывай здесь.

Кто знает, может быть, собранные и возвращенные тобой улыбки прорастут опять в этой болотной земле, — с надеждой и совсем по-мальчишески произнес дядя Рафа.

— А при чем здесь рушники? — окончательно обалдев от его логики, спросила я.

— Так ты ничего не знаешь про рушники и корни своего рода? Ну, это поправимо, здесь, километрах в двадцати от Гомеля, есть небольшой городок староверов — Ветка. Там находится потрясающей музей. Поезжай, многое узнаешь о тайнах старых рушников, а потом еще больше захочешь узнать! Хотя хватит мечтать, порядок должен быть, порядок — это положено, а это не положено, — неожиданно серьезно свернул свой монолог дядя Рафаил. — Знаешь, мой отец всю жизнь проработал корреспондентом, даже во время войны он выпускал подпольную партизанскую газету, единственную во всем крае. Был весельчаком, балагуром и неустанно мне повторял: «Сынок, надо потерпеть, дальше будет лучше. И только когда он уже умирал, он поднял на меня свои грустные еврейские глаза и прошептал: «Прости меня, сын, я тебя обманывал, дальше будет только хуже!»

Дядя Рафаил встал, согнулся и шаркающей походкой старика двинулся к подъезду.

И тут я четко поняла, что надо начать встречаться со старыми людьми, помнящими еще тот Гомель: с его смехом, шутками, рынком и многонациональной культурой, поскольку тот город семидесятых уже, увы, потерян навсегда. Мне захотелось поехать в Ветку и, возможно, начать оттуда самое увлекательное путешествие в моей жизни — пу-

тешество внутри себя к своим корням и предкам.

КАРТИНКА 3. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.

МАРШРУТ: ВЕТКА — КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ — ИГНАТИЙ ЛУКИЧ — ИСТОРИЯ ГОРОДА — ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ — ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО — СИМВОЛЫ И ОБЕРЕГИ

Небольшой городок Ветка расположился в двадцати километрах от Гомеля на высоком берегу реки Сож. Был он весь как нарядный румяный ребенок, одет в разноцветное кружево деревянных наличников, ворот с изображениями оленей, медведей, райских птиц, с яркими петухами на коньках крыш и столбах заборов. Капли только что прошедшего дождя умыли город и радугами еще больше расцветили его старинные и не очень деревянные резные дома с окнами и веками-наличниками, башенками-кокошниками и воротами-улыбками. То ли из-за того, что на улицах почти не встречались железобетонные многоквартирные коробки, то ли благодаря густому, напоенному ароматами цветущих садов и сирени воздуху, то ли от блеска маленьких радужных капель-солнышек создавалось стойкое ощущение присутствия в иной реальности. Как будто с картинки семнадцатого века сошел кусочек Французского квартала Нового Орлеана или купеческого московского посада.

Машина остановилась, таксист повернулся ко мне и пробубнил:

— Все, хозяйка, приехали, вот музей, где хранятся старые рушники и прочая рухлядь. Выходи на Красную площадь. Когда закончишь байки слушать, позвони, я тебя обратно в Гомель отвезу.

Я вышла из такси, подняла глаза и на трехэтажном купеческом доме с тяжелыми бревенчатыми воротами прочла: «Красная площадь, 5» — это был Ветковский музей народного творчества. Ильич рядом тоже присутствовал, правда, не в мавзолее, а в виде памятника.

Войдя в вестибюль музея, я увидела широкой кости среднего роста пожилого мужчину с окладистой седой

бородой и копной непокорных стального цвета волос.

— Здравствуйте, что привело вас в наше захолустье? Желаете послушать экскурсию? — обратился он ко мне.

— Да, очень хочу узнать побольше о коллекции старинных рушников, — несколько растерянно ответила я.

— Отлично! Сейчас подойдет сотрудница нашего музея, зовут ее Анна Григорьевна, и она с удо-

вольствием покажет наши экспонаты, — продолжил разговор незнакомец, несколько нараспев растягивая слова. — Зовут меня Игнатий Лукич, я, как сейчас принято называться, краевед, ожидаю учеников местной школы для проведения факультатива по истории края, — представился мой собеседник.

Продолжение следует.

США





Владимир КЛЮЧНИКОВ



Продолжение. Начало в № 2, 3, 4, 5, 6 за 2018 год

ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ТОГО СВЕТА

Вернулся Элдфорт обратно минут через десять, в руке он держал вырванный из блокнота листок.

— Преступник обнаружен. Вот адрес. Рязанская колония-поселение строгого режима. Там он сидит, голубчик.

Роберт положил перед Вольдемаром листок с адресом, сел обратно за стол и закурил еще одну сигарету.

— Завтра, в 15:00, тебе надо будет там быть. Ни в коем случае не опаздывай. На все про все у тебя будет полчаса.

— Будь за меня спокоен, буду на месте тютелька в тютельку.

— А что у тебя со школой? Как же уроки? Дети?

— Сейчас карантин в городе. Все классы эту неделю не учатся. Грипп, эпидемия.

— В школе грипп, а ты со скуки едешь в тюрьму. Так, выходит? При этом я напряг всех, чтобы устроить тебе эту встречу.

— Роберт, да не переживай ты так. Я с ним просто поговорю — и все. Обычная беседа. Просто надо кое-что проверить. Есть у меня одна догадка...

— Я и не переживаю.

— Без обид?

— Без обид, желаю удачи.

— Спасибо, друг.

Два закадычных товарища крепко пожали друг другу руки.

ГЛАВА 6. ЕСЛИ НЕ ОН, ТО КТО?

Дорога до рязанской колонии оказалась сложнее, чем это могло показаться на первый взгляд. Вроде бы ничего особенного, а из мелких деталей складывается общая картина происходящего и атмосфера вокруг. Все началось с билета. Прибыв на автовокзал и узнав, что ближайший автобус до Рязани будет через

час, Вольдемар пошел перекусить в неподалеку расположенный фастфуд. Изрядно зачитавшись одной очень увлекательной книжкой, он чуть не опоздал на автобус. Когда двери автобуса закрывались и длинный «Икарус» вот-вот должен был тронуться в сторону Рязани, выяснилось, что Вольдемар потерял посадочный билет, а за неимением одного его отказывались принять в качестве пассажира и пускать в автобус. Делать нечего, пришлось покупать билет заново. Новый билет не сулил ничего хорошего. Место оказалось настоящим стулом пыток. Двухметровый Вольдемар не знал, куда себя деть и как лучше отпилить себе ноги, чтобы более или менее комфортно доехать до пункта назначения. Слева от него сидел огромных размеров толстяк. Прежде чем сесть на свое место, толстяк снял с себя замызганную дубленку и остался в одной клетчатой рубашке, на которой виднелись крупные пятна пота. Особенно пятна проступали в области подмышек и в районе живота. Толстяк достал носовой платок и принялся использовать его по назначению, то и дело высмаркиваясь, а иногда утирая им потовые выделения на шее и лице. Общую картину завершала киноиллюстрация, что мелькала на небольшом экранчике посередине автобуса: сегодня в очередной раз показывали пошлый фильм про любовь.

Автобус проехал указатель с названием Константиново. Значит, скоро подъедем к Рязани. Село Константиново — родина поэта Сергея Александровича Есенина. Эх, Анька, Анька! Знала бы, как все это件жело... А может быть, ты помнишь?

Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате

И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.

Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...

Простите мне...
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кушей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей Есенин.

— Парень! Эй, парень! — Толстяк дергал Вольдемара за плечо своими пухлыми жирными пальцами. — Ты не помнишь случайно, Есенин повесился или убили его?

— Точно неизвестно. Ходят слухи, это было убийство. Хотя когда я учился в институте, мы на первом курсе по психологии разбирали его стихи, и конечно же, их написал человек, склонный к суициду.

— Вот и я думаю. То ли повесился, то ли подвесили, — ухмыльнулся толстяк.

— Да убили его, — влез в разговор пьяный мужик, сидящий сзади.

— Повесился он! — опровергла тетка сбоку.

— Вот вы не знаете! Сидите и молчите тогда! Убили его, это точно! Я в газете читала!

— А я по телевизору видел, и там показывали, как убили, а потом повесили.

— Так это сериал был.

— Неважно. Главное, я сам лично видел.

— Да я тебе щас в морду дам за Серегу нашего!

— Ты на кого баллоны катишь?! Да я тебя сама сейчас здесь угандошу! — визжала круглая баба в пуховом платке.

— А я говорю, повесился.

— Нет, убили.

— Да-да! Убили! Ей-богу, убили! — затрещала обрюзгшая женщина с ведром квашеной капусты в руках. — Что ж я, разве балаболка какая? Разве я у кого-нибудь хоть лишний рубль украла? Разве я что сказала не так? Вот чтоб мне пусто было на этом самом месте. Убили. Как его? Этого поэта?

— Есенина, — подсказал Вольдемар.

— Во-во... Ясенин этот, Александр Сергеевич.

Женщину дружно обсмеяли, но затем продолжили жаркий спор. Перепалка по поводу загадочной смерти Есенина охватила весь автобус. Равнодушных не было. Каждый считал долгом внести свою лепту и высказать мнение об истинной причине смерти классика. Ситуация обострилась до предела, но голос водителя объявил в микрофон: «Граждане, наш автобус прибывает на автовокзал города Рязани. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Хорошего вам настроения и здоровья». Градус дебатов спал, пассажиры засуетились, стали собираться, доставать вещи с полок. Двери автобуса открылись, и Вольдемар одним из первых покинул салон. Но по-прежнему за спиной слышал недоуменные голоса:

— Есенина убили, вот тебе на! Не знал.

— Старая ты калоша! Вот как можно быть таким идиотом и верить во всю эту чушь? Вот скажи, чего ему вешаться?! Самоубийство это было! Самоубийство!

— Да знаю я! — отмахивался от назойливого голоса тетки дед.

— Уж вы бы замолчали! Что вы врете?

— А вы не лезьте, это наше с ним семейное дело.

— Ошибаетесь. Убийство народного поэта — дело общественное и государственной важности.

— Отвяжись, сатана! Тьфу на тебя!

— Ах, ты плевать на меня?! Негодная!

— Ну что ты стоишь, как столб?! Твою жену оплевали всю с ног до головы, а он стоит! Старый башмак...

«Очень жаль, что я не имею дурной привычки снимать разные жизненные ситуации на мобильный телефон. Получилось бы неплохое видео и собралось бы оно минимум миллионов десять просмотров в Интернете: "Рязанские страсти поэта Есенина, новые подробности смерти". Но оставим пошлые подробности для желтой прессы...»

А пока Вольдемар тихо побрел в сторону автобусной остановки, чтобы доехать на маршрутке до железнодоро-

рожного вокзала, а там на электричке до станции, где и располагалась колония-поселение строгого режима.

* * *

Здание за колючим забором олицетворяло серость и угрюмость этого мира. Острая стальная проволока витиевато, подобно ядовитому плющу, опоясала острыми шипами верх забора, местами цепкие колючки поблескивали на морозце. На улице было ветрено, особенно если стоять на открытом пространстве перед огромными воротами тюрьмы. Дорога в другой мир со своими порядками, устоями и обычаями. Войдя в здание, Вольдемар передал дежурному специальное заявление, составленное и заверенное предварительно Робертом во избежание лишних вопросов и эксцессов. Заявление одобрили, и Вольдемара провели в небольшую комнатку, где из предметов мебели находился стол и два стула. Стулья стояли у стола друг напротив друга, вся мебель плотно прикручивалась массивными болтами к бетонному полу. Вольдемар присел на один из стульев, оказавшись спиной к небольшому квадратному окну. Из окна тускло шел свет. У Вольдемара отобрали часы и телефон на время свидания, поэтому он не знал, сколько прошло времени ожидания, но по внутренним ощущениям предполагал, что достаточно много, так как свет, проступавший сквозь единственное окно в камере, сменился на тьму. В помещении тускло горела лампочка. Дверной замок жалобно лязгнул, и конвоир доставил в камеру осужденного, предыдущего жильца и владельца квартиры, где теперь проживает хозяин оккультного салона, маг и волшебник Аристарх Владленович Лгунов. Заключенный имел болезненный вид, исхудавшие черты лица; впалые скулы свидетельствовали об отсутствии зубов. В глазах наблюдались признаки безумия и чертовщины, но, несмотря на неоднозначные внешние характеристики, в руках убийца жены сжимал томик Евангелия.

— У вас на все про все ровно двадцать минут, — командным голосом сказал конвоир.

— Подождите, — заспорил Вольдемар. — Мы договаривались на полчаса.

— Еще раз повторяю, у вас ровно двадцать минут, — невозмутимо отчеканил конвоир.

Он препроводил заключенного до стола, освободил от наручников, усадил на стул. Предупредил, что время пошло, и вышел из камеры.

Вольдемар долго смотрел в глаза убийце, замечая за собой странное чувство, что не испытывает ненависти к данному человеку. Даже наоборот, Бархоткину стало казаться, что осужденный вовсе не убивал свою жену и находится здесь по нелепой ошибке. Что это?

Шестое чувство? Условные рефлексы? Профессиональные навыки? Какие еще навыки, что за бред! Есть факты, а нелепые домыслы и подозрения яйца выеденного не стоят. К тому же не затем он сюда приехал, чтобы поиграть в ромашку. Кажется, он, а может, и не он... Беседовать надо по существу.

— Здравствуйте. Меня зовут Бархоткин.

— И что дальше?

Дикий зэк явно не планировал задушевную беседу и сердито щетинился, как еж.

— Я вот, собственно, по какому вопросу. В деле убийства вашей жены выяснились новые обстоятельства, — соврал Вольдемар. — Поэтому я сюда специально и прибыл. Насколько я знаю, вы до сих активно отрицаете, что это вы убили.

— А ты кто? Мент, что ли?

Вольдемар молча кивнул и показал в раскрытом виде поддельное удостоверение сотрудника полиции.

— Мент, получается? — недоверчиво переспросил зэк.

— Ага, вроде того... Сотрудник по особо важным делам.

— И чего тебе надо? Сотрудник.

— Задать пару вопросов, не более того.

— Опять вопросы, допросы... А что толку? Когда я здесь сижу. А ведь я не убивал. Понимаешь ты, не убивал!

— Так, спокойно. Я здесь для того, чтобы во всем разобраться. Расскажите, пожалуйста, по минутам весь ваш день, когда произошло это убийство. Что делали, куда пошли? Может быть, что-нибудь необычное? Это очень важно. Интересует каждая мелочь.

— Значит так, пришел я с работы.

— А кем вы работаете?

— Работал! — недовольно поправил зэк. — Дворником на мебельной фабрике. Значит, пришел с работы. Поужинал и отрубился. Устал. Понимаешь? Очнулся — труп лежит. Танечка вся в крови, кишки наружу! Нож рядом валяется с моими отпечатками. Я вызвал ментов. Они меня и приняли! Ты говоришь, сучье отродье, жену свою убил! А мне и возразить им нечего, не помню ни хрена! — Зэк заплакал.

— Подождите, подождите... Давайте поподробней. Вы пришли после работы? Насколько я знаю, у вас есть один ребенок, он где был?

— Ну, говорю же, после работы. А Степка у бабушки в деревне был. У матери жены. Лето было, каникулы.

— Так, так, так...

— Слушай, у тебя сигареты есть?

Вольдемар достал из кармана целую пачку дорогих элитных сигарет и протянул зэку.

— Берите всю. Это единственное, что не отобрали при обыске.

— А зажигалки нету у тебя? Дай огня! — Зэк распаковал пачку и захотел прикурить.

— А вот этого нет, извините.

— Жаль... — Зэк спрятал сигарету обратно в пачку, но сам подарок ему понравился, и заключенный стал более откровенен.

— Это было вечером, в будни? Правильно? — продолжил расспрашивать Вольдемар.

— Да-да... Практически сразу после работы.

— Практически?

— Выпили мы с ребятами по сто, — зэк осекся, — ну, по сто пятьдесят граммов водяры. Обычное дело после работы, традиционно.

— Где пили? На улице?

— Не... Есть там одно место возле работы. «Бар сук» называется.

— Знаю такое, приходилось бывать.

Зэк улыбнулся.

— В баре только водку пили?

— Ох... Не помню.

— Вспоминайте, вспоминайте, — простиимулировал Вольдемар. — От этого зависит, будете ли вы сидеть здесь или гулять на свободе.

— Вроде водку одну — и все... Да-да-да, точно. Одна водка была.

— А потом?

— Потом пошли домой, там поужинал, и рубануло меня в сон. — Зэк взвыл. — А проснулся... Проснулся, а там... Там...

— Только поужинали? — перебил Вольдемар. — Водки не было больше?

— Нет, точно не было. У меня Танечка насчет этого строгая была. Ни капли не разрешала, ругала. По праздникам иногда разрешала, конечно. Так что выпил только кофе и пошел спать.

— Кофе? Какой кофе? — зацепился за слово Вольдемар.

— Ко мне в «Бар сук» подошел один человечек. И говорит: братан, выручай! Купи банку кофе, из дому стибрил. Выпить хочу, трубы горят. А денег нет. И главное, стоит недорого.

— И вы купили?

— Помог коллеге по несчастью.

— Что стало с этой банкой?

— Ну, пришел домой и заварил его. На вкус такая гадость... Оказалось, это и не кофе вовсе, а какой-то кофейный напиток для худеющих баб. Представляешь? Обманул, сучонок! Втюхал какую-то хню.

— Приметы, у кого покупал, запомнил?

— Хрен знает, какие у него приметы. Мужик как мужик.

— М-да...

— В подобных местах много таких мужиков.

— Вспоминай, вспоминай.

— А, это! У него наколка в виде молнии была на руке, вот здесь, на пальце. — Зэк сжал руку в кулак и указал на место, где обычно носят кольцо. — Как перстень, такая печатка у него была, точно. Рисунок молнии.

— А сам он какой себя?

— Да не помню я! Пьяный был, темно там было...

— Худой и длинный?! Давай вспоминай!

— Ага, худющий такой фраерок. А рост... Так сразу не скажу. Ну да, вроде тебя, высокий такой он был. У нас с ним еще разговор зашел, мы собирались свою трешку разменивать.

— Это еще зачем?

— Дорого платить за коммуналку. Так вот, слово за слово, он обмолвился... И дал мне визитку одной фирмы, которая занимается недвижимостью.

— Название фирмы, какая указана на визитке, не запомнил? Хотя бы примерно.

— У меня она с собой, я вместо закладки ее использую. — Зэк раскрыл Евангелие и протянул визитную карточку.

На одной стороне визитки находилось изображение агентства по продаже недвижимости, оно загадочно называлось «УЮТ-terra». Причем латинское слово terra употреблялось здесь в значении «земля». Оно и понятно, так уютней звучит. Ближе к могиле... Но что интересно, на другой стороне визитной карточки находилась совершенно другая информация. А именно контакты оккультного агентства Аристарха Владленовича Лгунова. Стрела попала в яблочко!

— Ну что? Когда меня теперь освободят? Я вроде все рассказал, — перебил раздумья Вольдемара взбуревший зэк.

— Не знаю, — огрызнулся Вольдемар. — Как только, так сразу. Я что, судья, что ли? — Остудив порыв зэка немедленно очутиться на свободе, он вновь погрузился в раздумья.

Но воздух свободы защекотал зэку ноздри, будто бы приход от неразбодяженного колумбийского кокаина. Сладостное чувство, когда ты находишься вне четырех стен, а стоишь в чистом поле. Вокруг тебя колышутся спелые колосья ржи, и красное солнце садится за линию горизонта, а за спиной шуршит зелеными ветвями хвойный лес.

— Когда меня освободят?! — бешено крикнул он на Вольдемара. — Ты обещал! Меня сынишка на воле дожидается!

— Спокойствие, только спокойствие. В ближайшее время.

— Ты можешь сообщить сынишке, что папка скоро приедет?! Папка скоро будет!

— Конечно, могу.

— Записывай адрес! Луховицкий район! Деревня Зягзюлино! Второй дом от моста!

— Угу.

— Ты почему не записываешь?! Обмануть меня хочешь! — Зэк выпучил от бешенства глаза.

— Ни в коем случае. — Вольдемар выставил руки ладонями вперед, создавая искусственную стену и отгораживаясь от бешеного заключенного. — Просто у меня очень хорошая память, я все прекрасно запомнил.

— Ты меня обманываешь! — взвыл зэк. — Зачем ты меня обманываешь?! Ты бы побыл на моем месте, ты бы понял тогда! Как это тяжело — потерять все в один момент! И жену, и сына, и оказаться здесь! А я не хочу! Слышишь?! Я не хочу! Меня здесь бьют каждый день! Я не хочу! Я не хочу! Не хочу! — Зэк взревел, словно раненая белуга. Захлебываясь в слюнях и соплях, он продолжил выть с утроенной силой: — А-а-а-а!

Вольдемар схватился одной рукой за голову, а зэк продолжил спектакль. Набирая в грудь воздуха, заключенный в робе делал синхронные паузы, чтобы получалось более театрально.

— А-а-а-а-а! Мама родная! А-а-а-а-а!

Для пущей правдоподобности резким движением зэк разорвал полосатую робу и обнажил скучную волосатую грудь. На крик в камеру спокойно зашел надзиратель и хладнокровно нанес оружием актеру оздоровительный удар дубинкой. Представление сиюминутно прекратилось. Зэк тяжело запыхтел, заохал, захлебываясь на холостых оборотах, сник.

— Уходите отсюда, — приказал Вольдемару надзиратель, застегивая за спиной у зэка наручники. — Ваше время давно истекло. Вы что тут устроили!

— Да я чего... Это он сам как с катушек слетел.

— Покиньте территорию исправительного учреждения. И передайте своему дружку Элдфорту, что это последний раз. Больше здесь чтобы ноги никого постороннего не было!

— Извините, — вежливо произнес Вольдемар. — Все, я уже ушел.

Положив закладку из Евангелия в карман, с новой уликой он направился к выходу.

* * *

На выходе Вольдемару устроили настоящий шмон в лучших традициях тоталитарного режима. Обыскивали

всего с головы до ног, даже залезли в трусы. Обыскивала молодая девушка, форма немного старила ее, но даже такое непривлекательное одеяние ничуть не умаляло ее красоты. Она споро выполняла свою работу, от чего становилась еще более привлекательнее.

— Обыск закончен, посторонних предметов не обнаружено.

— Если что, меня Вольдемар зовут. Вольдемар Таранович Бархоткин.

— А меня Пелагея... Пелагея Ефросьевна Помпидур.

— Я же серьезно.

— И я серьезно. — Девушка показала Вольдемару свое удостоверение.

— Ничего себе, вот ведь как бывает.

— Это жизнь... — Улыбаясь, Пелагея протянула Вольдемару листок с номером телефона.

— А это чей номер? — с непониманием поинтересовался Вольдемар.

В коридоре появился надзиратель, он приближался к флиртующим неспешно, спокойными и уверенными шагами.

— Не чей! Да идите вы! Какой глупый...

Вольдемар быстро спрятал листок и наигранно спросил:

— А я вот никак в толк не возьму. Где у вас здесь принято трапезничать? Весь день во рту ни крошки.

— А ты как выйдешь, сразу сверни налево, — сказал подошедший надзиратель. — И иди вот так прямо через кладбище. Как пройдешь до конца, увидишь здание с табличкой «В светлый путь». Это столовая. Вот там тебя и накормят, пальчики оближешь! — добавил надзиратель, усмехаясь.

— Спасибо. Ну я пошел, не смею больше задерживать. Всего вам доброго.

— Ага. И вам не хворать.

— Так ведь это же!.. — попыталась окликнуть Вольдемара девушка.

— Тихо ты! Дура! — остановил надзиратель и приложил указательный палец к губам.

Пелагея расплылась в лучезарной улыбке и сказала:

— Хорошая шутка.

* * *

На улице давным-давно стемнело, отсутствующие фонари лишь усугубляли обстановку. Темно, скользко, мрачно, черная мгла окутала собой все пространство возле колонии. У Вольдемара было ощущение, что он попал в государство Мордор из нетленной саги Толкина «Властелин колец». Тусклый свет от бледной луны осветил покосившиеся кресты и железные прутья

могильных оград. Вольдемар, преодолевая навалившийся страх, шагал по указанному пути, но чувство приближающийся опасности не покидало его. Все предвещало беду. Вверху на ветках каркали вороны, по сторонам раздавались неизвестные шорохи и звуки, кое-где поскрипывали незакрытые дверцы могильных оград, жуткая атмосфера довлела над происходящим. Вольдемар увидел, как что-то ярко полыхает в самом конце кладбища, красные языки костра на фоне почерневших деревянных крестов напоминали ад из «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

Вольдемар приблизился к очагу возгорания, и огромное пламя обдало лицо горячим жаром, в нос шибанул вонючий едкий дым, исходивший от горящих резиновых покрышек. Рядом стоял колышек с табличкой «Свалка мусора строго запрещена! Штраф!». Все понятно, кто-то поджег местную помойку. Если у нас в стране делают подобные знаки, чтобы граждане не сваливали здесь мусор, вот именно на этом месте, то именно здесь они и устроят мусорную свалку. А какие-то уроды возьмут и обязательно подожгут, забавы ради. Совершенно не понимая, что здесь покой и уют усопших душ. Вольдемар увидел две тени, они приближались к нему. Впоследствии тени переросли в темные силуэты, но ужасало в этих безликих персонажах то, что они шли с вытянутыми перед собой руками. «Что за бред?! Не может этого быть?! Это все кофе! Но я сегодня не пил никакого кофе... Что я несу, мамочка... Так, все, возьми себя в руки. По законам здравого смысла и конкретной логики этого просто не может быть». Черные персонажи с вытянутыми вперед руками приближались.

«Я мужчина или нет?! В конце концов». Вольдемар двинулся робкой поступью на двух оживших зомби, которые двигались на него. Бархоткин медленно шел им навстречу с целью первым нанести победный удар, который бы сокрушил отъявленных вурдалаков. Случайно Вольдемар узрел овальную фотографию на одной из могил, его привлекла не столько крошечная малоразличимая фотография, сколько фамилия и имя покойника, лежавшего здесь. Покойника звали Максим Шевельков, и, посмотрев на годы его жизни, можно было сделать вывод, что умер он в девятнадцать лет, скорее всего, не своей смертью. Горячий воздух обжег Вольдемару лицо, он перевел взгляд на парочку ведьмаков, они находились совсем близко. Чертовщина какая-то! Господи, помоги! Вольдемар

начал усердно креститься, моля святого Михаила Архангела о покровительстве и защите. «О, святой Михаиле Архангеле, светлообразный и грозный Небесного Царя воеводо! Прежде Страшного Суда ослаби ми покаяться от грехов моих, от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к сотворшему ю Богу, селящему на херувимех, и молися о ней прилежно, да твоим ходатайством поедет ю в место покойное...»

Когда ожившие зомби подошли совсем близко, стало ясно, это вовсе никакие не монстры с того света, а два еще совсем юных сатаниста, которые, видимо, и подожгли помойку. Одного поджога им было мало, тогда они решили зафиксировать полыхающее пожарище на камеры своих мобильных телефонов. Вот почему они шли с вытянутыми вперед руками: потому что снимали все происходящее вокруг на видео. Ну, слава богу! Можно спокойно выдыхать, ситуация разрядилась. Но не тут-то было. Один из сатанистов убрал в карман смартфон и достал из голенища длинного кожаного сапога острый нож.

— А ну стой, дядя! — приказал первый сатанист.

А второй добавил:

— Попалась, православная свинья.

Вольдемар достал из кармана удостоверение сотрудника полиции и в раскрытом виде протянул сатанистам.

— Ты нам эти бумажки не суй, понял!

— В задницу себе их засунь! Свои писульки левые! — закричали сатанисты, вырвали из рук Вольдемара удостоверение, выбросили фальшивый документ в полыхающий огонь и запрыгали бесами вокруг огромного костра. Закончив дьявольские пляски, они переключили все внимание на Вольдемара.

— Вот ты и попался, — начал угрожать первый сатанист, водя перед лицом Вольдемара острым ножом. — Это ты удачно ночами по кладбищам ходишь. Сейчас мы тебя прирежем и сожжем... Трупику меньше, трупику больше. Кто их считает на этом богом забытом кладбище. А? Давай ты, Саймон, режь его. — Он протянул нож второму сатанисту.

— А чего я сразу? — запротестовал тот. — Ты же главный у нас по статусу, ты и режь.

— Я сказал, режь, — злобно прошипел первый сатанист.

— Да не буду я, сказал. Сейчас вообще развернусь и домой пойду.

— Ничего вы мне не сделаете, — влез в спор Вольдемар.

— Это еще почему? — удивились сатанисты. — У нас такие поступки очень приветствуются и особо поощряются.

— Как почему... Вы же ведь умные ребята?

— Поумнее тебя будем! Дебил!

— Тогда сами подумайте, если вы меня сейчас убьете, кем я тогда стану?

— Не знаем... Кем?

— Наверное, мучеником, судя по всему.

— Ну да.

— Если я стану мучеником, то где я тогда окажусь, в аду или в раю?

— Э-э-э... В раю.

— Значит, получается, что я в ад не попаду?

— Нет, не попадешь.

— А вот тогда скажите мне, пожалуйста, похвалили вас тогда ваш хозяин владыка ада, что благодаря вашим стараниям еще одна душа избежала его жарких объятий? И благодаря вам оказалась в раю.

Сатанисты переглянулись, косо посмотрели друг на друга.

— Я пошел домой, — не выдержал второй сатанист. — Хватит, надоело все.

— Эй! Ты куда?! Погодь! — Первый сатанист выбросил в огонь ножик и пошел вслед за вторым.

Так первые стали последними, а Вольдемар направился дальше. Кладбище подходило к концу, за спиной догорала самопроизвольная помойка, а где-то издали раздавался залистый и протяжный лай бродячих собак.

Пройдя через все кладбище, Вольдемар обнаружил, как и говорил надзиратель, небольшое одноэтажное строение. Рядом с входной дверью висела табличка «В светлый путь». Дернув за ручку, он вошел вовнутрь. В нос ударил резкий запах псины. Нащупав выключатель, он включил свет, и грушевидная лампочка осветила комнату. В помещении находились клетки с собаками. Мерцающий свет разбудил дремавших песиков, и те, учуяв постороннего, агрессивно обнажили белые клыки и хищно зарычали на чужака. Дикое рычание продолжалась недолго, в самом углу клетки один пес поднял оглушительный лай, вся свора подхватила мотив, и комната наполнилась громкими звуками собачьего лая. В дверном проеме Вольдемар увидел горбуна маленького роста, он стоял в заляпанном кровью белом фартуке. Человечек поманил Вольдемара к себе.

Вольдемар сначала растерялся и не понял, кого зовет этот маленький уродец, но горбун четко указал пальцем на Бархоткина и снова поманил рукой. Пройдя вдоль клеток с дико лающими собаками, Вольдемар вошел в другую комнату, где его поджидал горбун. Это была разделочная, в руках у горбуна находился увесистых размеров тесак.

— Ой, я, наверное, дверью ошибся... Я, пожалуй, пойду.

— Стоять! — скомандовал горбун. — Ты чего здесь вынюхиваешь, а?

— Мне сказали, что у вас тут столовая. Я сам не местный.

— Ха! Столовая... — Горбун усмехнулся и положил тесак на стол. — Ну, в общем, тебя не обманули, здесь, можно сказать, что-то вроде столовой. Видишь собачек? — Горбун кивнул в ту сторону, откуда доносился стихающий лай.

— Да уж видел, — поддакнул Вольдемар. — Свирепые они у вас.

— Вот и кормлю. Это собаки сторожевые.

— Хорошо питаются собачки. — Вольдемар покзал глазами на изрубленную говяжью тушу.

— Это спонсоры у нас хорошие, — улыбнулся горбун.

— Благотворительный фонд, любители домашних животных?

— Не совсем. На этом кладбище много братвы похоронено. Вот кореша, кто живой остался, решили завести здесь питомник. И выращивать сторожевых псов, кладбище охранять от сатанистов. Их тут знаешь сколько? В былые дни до ста человек собирается. Ничего их не берет, а собак все-таки боятся. А ты какими судьбами здесь?

— Да так... Одного кореша приезжал в тюрьму навещать.

— Понимаю. У самого здесь брат сидит. А ты сам откуда будешь?

— Я из Коломны.

— О, далековато! Жрать, наверное, хочешь с дороги?

— Признаться честно, очень хочу.

— Ну, пойдем ко мне в каморку, чаю попьем. Я все равно сегодня один всю ночь дежурю, вдвоем веселее будет. Электричка до Голутвина теперь, поди, утром будет?

— Да, в четыре утра, — подтвердил Вольдемар.

Плотно поужинали: к чаю Бог послал кусок отварной говядины и бутерброды с сыром. Вольдемар улегся на топчане, накрылся старым полушубком, да так и проспал до утра. Проснувшись утром, он отблагодарил горбуна за ночлег и еду, пожертвовал небольшую сумму денег на нужды приюта для бездомных собак. Дошел до платформы, сел в электричку и поехал в сторону дома. Дело можно считать закрытым, преступник очевиден. Владелец оккультного салона скоро окажется за решеткой.

Продолжение следует.



Игорь УСАНОВ



Игорь Усанов родился в 1970 году в г. Петровске. Кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Саратовской государственной юридической академии. С начала 2010-х годов работает в научном, научно-популярном и художественном жанрах. Автор книг «Двадцать лет на одной ноге, или Менестрель на галере» (2011), «730 дней в сапогах» (2012), «СА», «8/6» (2013), «Фантазмагорицкия пиески не для постановки; Протубертатный период», «Многoэпизодные посягатели России и СССР (XVIII—XXI век)» (2014), «Следствие ведут Жеглов и Шарапов» (2015), «...пресловутая “Черная кошка” забоится наших ребят!» (2016), «Шесть правил Глеба Жеглова» (2017), «А теперь — “Горбатый”!» (2018). Организатор Саратовского клуба любителей юмора «Сатиреконец» имени А. Т. Аверченко.

РАССКАЗЫ

ПРИЩЕМЛЕННЫЙ НОС

Сидору Матрасычу однажды прищемили нос. В лесу. Трамваем. Точнее, трамвайной дверью. Вот вы не верите, а это вполне реальная штука. Что же — правильно. И трамвай у нас по лесу не ходят, и дверей в лесу нет. А все-таки...

Случилась эта история на «колокольчиках». Фестиваль такой есть. Акустической музыки и авторской песни. Приехал туда Сидор Матрасыч несколько случайно. Жена обычно не отпускала Сидора Матрасыча на такие мероприятия, а тут — раз! — и отпустила. Зря она это сделала, потому что Сидор Матрасыч сразу и немедленно начал совать свой нос куда не следует.

На речку пошел — а там девушки... В основном в купальниках. Была даже одна дама в стрингах. Отвернулся Сидор Матрасыч от греха подальше — а в кустах... еще одна дама! И совсем без ничего... И такая, знаете, — ух! Окончательно смешался Сидор Матрасыч. «Если, — думает, — в речку быстро залезу — то,

может, того... остужусь!» Разбежался Сидор Матрасыч и сиганул в воду прямо в штанах. Потому что плавок не взял. А для верности еще и нырнул. И вот плывет себе под водой Сидор Матрасыч и вдруг натывается на какое-то препятствие. И пытается Сидор Матрасыч его обогнуть, а не получается. Вынырнул он на поверхность и видит, что препятствием оказалось нечто объемное в синем купальнике и с женским лицом. Женское лицо носило очки, курило и приветливо улыбалось не в меру накрашенными губами. «Мужчина, — сказала женское лицо, — вы, наверное, хотите со мной познакомиться?» Сидор Матрасыч не нашелся что ответить. Женское лицо сочло молчание Сидора Матрасыча согласием и сказала: «Мужчина, а хотите, я вас поцелую?» Сидор Матрасыч что-то промямлил и тут же ощутил, как губы женского лица охватили пол его лица, включая подбородок и нос. Откачка воздуха произошла так стремительно, что Сидор Матрасыч по-

терял сознание. Очнулся Сидор Матрасыч в каком-то тесном замкнутом пространстве. Он чуть шевельнулся, и на него тут же обрушилась дама в синем купальнике...

Двое суток несчастный нос Сидора Матрасыча находился в атакованном состоянии. Потом дама ушла по каким-то надобностям, и Сидор Матрасыч потихоньку покинул гостеприимное место... Нашедши свои пожитки, Сидор Матрасыч первым делом достал крохотное зеркальце, чтобы ознакомиться с состоянием своей физиономии. Все было хорошо, здорово и замечательно — кроме носа. Глядя на него, Сидор Матрасыч вспомнил актера Юрия Никулина в роли Балбеса. А в особенности нос этого персонажа — после употребления алкоголесодержащего продукта под названием «самогон». Добрые люди подали Сидору Матрасычу пакетик кефиру — для придания носу исходного состояния. Но это не помогло... Вдруг из-за

соседних кустов послышалось: «А где мой мужчина?» Это дама в синем купальнике разыскивала своего пропавшего друга. Сидор Матрасыч срочно ушел в песок. Наверху остался торчать его нос. Дама в синем купальнике немедленно на него наступила. Сидора Матрасыча нигде не было видно. Нерешительно потоптавшись и оглядевшись по сторонам, дама в синем купальнике ушла. Сидор Матрасыч вылез из своего укрытия и понял, что дела его совсем плохи. Еще раз взглянув на себя в зеркальце, Сидор Матрасыч увидел, что его нос представляет собой большую давленную сливу. Показаться в таком виде домой означало верную смерть. Сидор Матрасыч решил задержаться на «колокольчиках» еще на одни сутки, однако через сутки нос не прошел. И Сидору Матрасычу по дороге домой пришлось сочинять грустную историю про свой нос, трамвай и трамвайную дверь и как они втроем сошлись в неурочный час в некоем глухом месте...

КАК У НАС КОТ ЛИТР МОЛОКА УПЕР

На дачу мы всегда берем литр молока. А что? Литр — не пол-литра, а также вкусно и питательно. Работали мы как-то на участке, а пакет с молоком на перильцах верандочки положили, чтоб в случае чего под рукой был. А на даче работы — помирать не надо: и прополоть, и жука обобрать, и капустку полить, и самосев вырвать — словом, всего не перечтешь. Углубились мы в работу. И самое досадное — шесть часов вечера, а солнышко включилось на всю мощь, как будто этого нельзя было днем сделать, и жарит на полную катушку. Пот аж в три ручья льет. А я все думаю: надо бы молочко-то, того-с, оприходовать, а то скиснет на жаре. Только разогнулся — и тут сры-

вает кран. Давление в трубе, что ли, усилилось. Ну, ничего, пока кран на место устанавливал — весь искупался. Просвежел малость, в себя пришел. И вдруг за спиной — чух! Через кусты кто-то ломится. Присмотрелся я — а это местный котяра уцепил зубами пакет с молоком и во весь мах несется в сторону забора. Тут все наши работу побросали. «Стой, — кричим, — стой, микротигра полосатая!» Куда там — кот уже на соседнем участке! Пока бежали да через забор перелезали — его уж и след простыл! Постояли мы, попереживали — да что толку! Махнули рукой и пошли по своим местам. Работать почему-то стало веселее...

МАЙОР АДМИНИСТРАТИВНОЙ СЛУЖБЫ

Николай Николаевич Николаев прошел всю войну рядовым писателем и стал майором административной службы в конце ее по личному распоряжению товарища Сталина.

Николай Николаевич вышел на пенсию и получил дачный участок в Дубках. Обустроившись там, Николай Николаевич получил в соседи бывшую райкомовскую уборщицу и ее сына в придачу — любителя посиделок, пьянок-гулянок и прочих танцев-шманцев-обжиганцев.

Сынок соседки днем любил медсестру, а ночью устраивал кое-что похуже. Ближе к ночи он пригонял машину, полную парней и девиц, и врубал на

полную громкость музыку. Потом начинался полный кильдим...

Николаю Николаевичу, майору административной службы, вскоре все это надоело. Он стал ждать удобного случая, чтобы поставить зарвавшуюся молодежь на место. Случай не замедлил себя ждать, поскольку у кого-то из молодежи случился день рождения.

Ночью, после длительного употребления алкоголесодержащих продуктов, вся молодежь полезла купаться в Волгу. (Некоторые очевидцы потом утверждали, что купалась молодежь исключительно в костюмах «фиговый лист», но сама молодежь утверждала, что купалась в negligee.)

Выкупавшись, молодежь приступила к поиску приключений. Сначала долго искали золотую цепочку медсестры. Не найдя оной, стали выдирать колышки из соседских изгородей. Ими удобно было шурудить по кустам. Внимательно следивший за развитием событий майор административной службы решил появиться на сцене и внести в процесс необходимые коррективы. Он отправился домой, зарядил там двуствольное охотничье ружье жаканом, затем, не таясь, в полный рост, приблизился к суетливой молодежи и поставленным командирским голосом подал команду: «Все на землю, твою мать!..» После чего, не дожидаясь исполнения команды, спустил оба курка. Раздалось громкое «трах-трах».

Молодежь, все семнадцать человек, временно бросила свои занятия и послушно ткнулась носами в землю, стараясь не дышать и унять алкогольный перегар изо рта. Дальше наступило временное затишье. Молодежь подумала, что грозный майор, сделав дело, удалился допивать медицинский спирт. Возникло некоторое шевеление. Но майор никуда не уходил. Он перезарядил ружье и, как только услышал шорох, опять подал ко-

манду: «Лежать, мать вашу за ногу и об угол!..» При этом он опять спустил оба курка. Раздалось громкое «трах-трах».

Молодежь перестала шевелиться и задумалась о бренности жизни.

И тут на сцене возникло новое действующее лицо. Это была соседка майора по дачному участку, бывшая райкомовская уборщица. К началу инцидента она мирно спала у себя в домике и проснулась от выстрелов. Она бросилась к Николаю Николаевичу с какими-то путаными объяснениями. Николай Николаевич выслушал объяснения, ничего не понял, но решил оставить о себе добрую память. Он зарядил ружье в третий раз и подал команду: «Всем встать!..» И спустил оба курка. Раздалось громкое «трах-трах»...

Довольный собой майор, не дожидаясь исполнения команды, удалился.

Молодежь на всякий случай полежала еще немного, подняла головы, огляделась, привстала — сначала на четвереньки, потом на корточки, потом в полный рост — и возобновила поиски золотой цепочки. Нашлась она только к утру, на иве, ее чуть тревожил ветер...

г. Саратов



В конце концов / ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ



Памяти замечательного Человека и великого

Поэта Андрея Дементьева посвящая



«Не смейте забывать»... поэтов!
Они пророки в нашей жизни.
Покинул нас Андрей Дементьев —
«Поэт и гражданин» Отчизны.

И «времени вираж» его прервался.
Но не прервется никогда талант.
Ведь жить он долго собирался,
Но вдруг ушел от нас атлант.

Атлант Поэзии и Музы,
Редактор «Юности» бессменный.
Старался он скреплять все узы
Любви, надежды, веры — несомненно.

Красив поступками, стихами,
С открытым сердцем и душой:
Узнав его, все затихали,
Он — отклик получал большой.

Как много песен прозвучало —
Пронзительных, красивых, вечных.
В сознание нашем откликались
Добром, отзывчивостью, честью.

...
Прервалась музыка красивая,
Уходят птицы в небеса...
Но на Земле осталось диво:
Созвучья Солнца, голоса.

Тот «вечный зов» чудесной песни,
Что восхищать всегда нас будет.
И Бог возрадуется, если
Стихи сердца наши разбудят.

Нина Юрьевна Кулакова,
учитель русского языка и литературы,
обладатель Почетного Знака Святой Татьяны,
г. Кириши Ленинградской области

Дорогая Нина Юрьевна, хотя рифма «поэтов — Дементьев» — довольно сомнительного качества, мы все же решили опубликовать пронзительный крик Вашей души.

Андрей Дементьев, к сожалению, ушел, но правила орфографии, грамматика и стиль, которым Вы так ревностно служите, что удостоились Почетного Знака Святой Татьяны, с его уходом, очень надеемся, отменены не будут.

Первое: атлант Андрей Дементьев не был одиноким и бессменным. До него были атланты: Валентин Катаев, Борис Полевой. И после него: Виктор Липатов, Валерий Дударев.

Второе: строка «узнав его, все затихали», нуждается не в прямом, но все же дополнении, чтобы Ваши ученики в городе Кириши, и мы вместе с ними, смогли понять, отчего затихали люди, «узнав» Андрея Дмитриевича.

Ведь ежели, он, к примеру, был человеком открытым и добрым и это не могло не «откликнуться в сознании», то люди должны были, наоборот, поверять ему самое свое сокровенное, потому что, кто же еще, как не он, выслушает, поймет, даст мудрый совет, поможет, поддержит?

Он ведь — не памятник!

Нина Юрьевна, в нашем сознании Ваши строки пробудили «вечный зов» непреходящей печали. Стихи Ваши, слов нет, потрясающи. Но все же если бы Андрей Дмитриевич писал подобное, то, думаю, не был бы он столь велик и лучезарен. Потому как поэзия, Нина Юрьевна, и Вам это известно не хуже нашего, не манная каша из слов, а еще и благозвучие, которому Вы, как мне кажется, наступили на горло собственной песней.

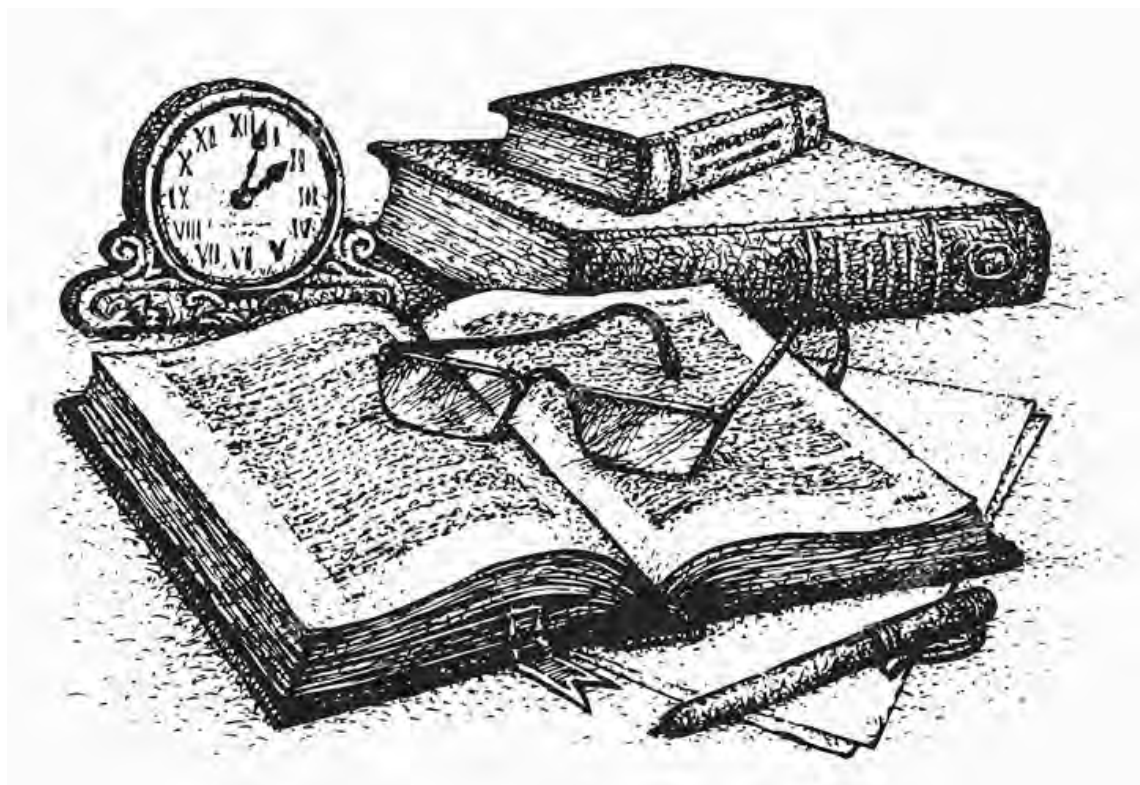
И хотя Ваши стихи разбудили сердца, мозг поклонника творчества Андрея Дмитриевича как может сопротивляется такому волюнтаризму.

Не будите, Нина Юрьевна, воспоминания минувших дней.

Однажды счастье в жизни этой
Вкушаем мы, вкушаем мы,
Святым огнем любви согреты,
Оживлены, оживлены.

Но кто ее огонь священный
Мог погасить, мог погасить —
Тому уж жизни незабвенной
Не возратить, не возратить!

Аминь!



ПРОКАЗНИК ГЕО, ЧЕЛОВЕК-КРИТИК



В ПОИСКЕ
СОВЕСТИ



ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых безвестных литераторов, одновременно являясь литературным власовцем, литературным трутнем и литературным пигмеем. Пастернака он по-прежнему не читал, но по-прежнему осуждает. Иные признаки биографии практически отсутствуют или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского края не доехал пока. На этом пока и остановимся.



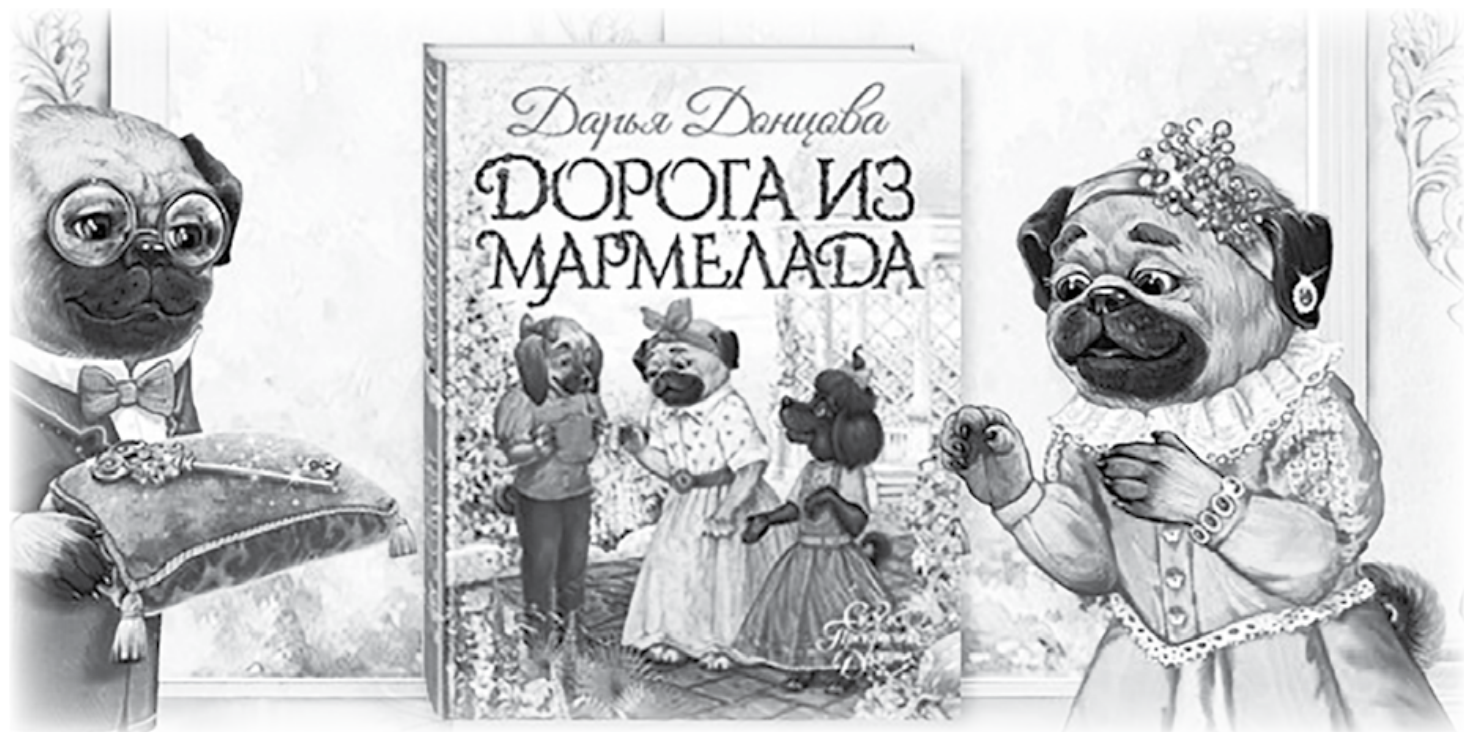
Дарья Донцова. «Дорога из мармелада» (Эксмо, 2018)



Мопсиха Марсия сама не своя от обиды: ее, лучшего парикмахера в Прекрасной Долине, променяли на пуделя-стилиста с множеством медалей и громкой славой. Разве это честно? У ее сестер давно есть свои ателье и магазинчики, а у нее, Марсии, нет ничего! И никто ей не сочувствует. Все ясно: ее никто не любит. Обидевшись на весь мир, Марсия поддается на уговоры новой подружки, собачки Норетты, и отправляется на поиски волшебника Малума, который исполняет все желания. Младшая сестра Марсии, Мафи, подслушивает их разговор и тайком идет следом.

Первым испытанием на пути к всемогущему Малуму становится... птичье гнездо, в которое нужно кинуть камень. Но собачки быстро забывают об этом, ведь их взору открывается настоящая Дорога из мармелада! От такого зрелища захватывает дух. Дальше больше: невидимый пока Малум приготовил им самые немыслимые сюрпризы, изысканные яства, подарки и множество бесплатного добра. Ну,

почти бесплатного: чтобы получить понравившуюся вещь, нужно что-нибудь разбить, подражаться, сказать неприятное про близкого или засмеяться над упавшим. Марсия, Мафи и Норетта не замечают, куда ведет их Дорога из мармелада, а когда понимают — становится слишком поздно. Сумеют ли они выбраться из страшного места, в которое пришли по своей воле?



Проказник Гео, человек-критик:



Считается, что дети глупы и нелюбопытны. И что до того, как сесть за Донцову, они не заглядывали в книгу Александра Волкова, не знали Фрэнка Баума, Стивенса, Льюиса Кэрролла, Аксакова, Ершова, Маршака, Чуковского и т. д.

Иначе получается, что вся детская литература началась с мопсихи Марсии и вот этой пошлости:

«Глубоко под землей в грязном и мрачном замке живет Зло. Оно желает захватить в плен как можно больше жителей Прекрасной Долины. Но Зло не способно сделать свой замок красивым и уютным. А кто отправится в гости в неприятное холодное место?.. Но хитрое Зло нашло выход, к ужасному замку ведет дорога из настоящего, очень вкусного мармелада...»

На самом деле Агриппина Аркадьевна, в девичестве Васильева, конечно, не так глупа, как хочет ка-

заться. Она производит продукт, поставляет его на рынок, как честный предприниматель, продающий пластмассовый ершик для унитаза. И все бы ничего, пушай ее!

Но вот ежели бы был у нас литературный Роскомнадзор, то он бы не преминул заметить, что продукт у Агриппины Аркадьевны — нелегальный, левый. Чистый Китай! Из книги «Сказки мировой литературы» гражданка, в девичестве Васильева, «заимствовала» множество мотивов и сюжетов, выдав их за свои. А «Доктор Зло» и вовсе сбежал из бондианы «Живешь только дважды» или пародийного фильма «Остин Пауэрс».

Совесть надо иметь, Агриппина Аркадьевна, а если нет совести, то вышивайте крестиком. А в детской литературе как-нибудь и без Вас обойдутся!

